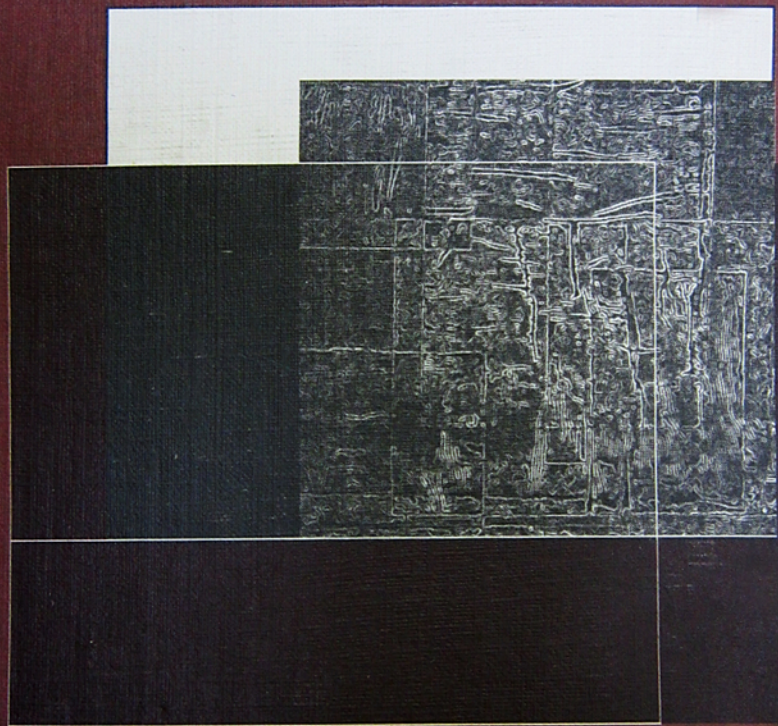


*Г. И. Мирский*

# Жизнь в трех эпохах



ББК 63.3(2)6  
М64

**Мирский Г. И.**

М64 Жизнь в трех эпохах. — М.; СПб: Летний сад, 2001. - 368 стр.

ISBN 5-94381-014-5.

Эта книга — не мемуары, а зарисовка жизни нашего общества на протяжении 70 лет. Автор, начинавший свою трудовую деятельность в пятнадцатилетнем возрасте грузчиком, впоследствии получил международную известность как профессор-историк, преподавал в университетах США и Англии. Со страниц его книги встают образы довоенной Москвы с ее атмосферой страха и энтузиазма, страшные детали войны, картины изменения жизни, быта, психологии наших людей. Много внимания уделено Сталину и сталинизму, Хрущеву, Горбачеву, Ельцину. Автор размышляет о русском национальном характере, взаимоотношениях наций и пытается дать ответ на вопросы: была ли неизбежна гибель Советской власти и почему после ее падения все пошло не так, как люди надеялись...

На эти вопросы отвечает человек неординарной судьбы, живой, наблюдательный, всегда имевший свое «особое мнение» и свой особенный ракурс.

ББК 63.3(2)6

ISBN 5-94381-014-5

© Г. И. Мирский, 2001

© Летний сад, оформление, 2001

## ОТ АВТОРА

Эта книга задумана не как мемуары в настоящем смысле слова. Моя жизнь не настолько насыщена интересными и тем более необычайными событиями, чтобы имело смысл рассказывать о ней публично. Но дело в том, что в течение этой достаточно долгой жизни я много видел и еще больше слышал из того, что может представлять интерес для тех, кому не безразлична история нашей страны за последние полвека с лишним. Немало любопытных (на мой взгляд, конечно) и характерных для нашей эпохи деталей так и останутся неизвестными, если я не поделюсь с читателем тем, свидетелем чего я был.

Я не занимал никаких важных постов, не был знаком с выдающимися государственными деятелями, хотя мне доводилось видеть своими глазами Сталина, Хрущева, Брежнева, Микояна, Горбачева и многих других, а с Примаковым я учился в институте и долгое время вместе работал. Обо всех этих людях я успел создать собственное мнение. Еще важнее то, что, как мне кажется, я смог ощутить дух времени, дух каждой из трех эпох, в которых мне довелось жить. При мне Советский Союз пережил времена расцвета, упадка и крушения, и типичные приметы каждого из этих периодов врезались в мою память. Я попытался в этой книге найти ответы на некоторые весьма существенные вопросы, касающиеся причин загнивания и гибели Советской власти. Будучи всего лишь научным работником, руководителем одного из подразделений Академии наук, я, тем не менее, на протяжении длительного времени имел доступ к верхним

эшелонам власти — к ЦК КПСС и Министерству иностранных дел, а также имел возможность объездить всю страну в качестве лектора-международника и тем самым ознакомиться со многими сторонами жизни нашего общества. Некоторые из моих коллег и знакомых рассказывали мне о вещах, которые были практически мало кому известны, и я их запомнил.

Мне довелось писать разделы докладов, речей и интервью для Хрущева, Брежнева, Суслова, Громыко и пр., читать лекцию для Горбачева, участвовать в парламентских слушаниях в нашей Государственной Думе и в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Постепенно накопился довольно большой материал, дающий пищу для анализа событий, и стало казаться, что есть смысл об этом рассказать. Мои друзья в России и в Америке советовали мне написать книгу, в которой, на фоне событий моей жизни, главное внимание было бы уделено особенностям общественной атмосферы советского и постсоветского времени. Я решился это сделать. Данная книга — не автобиография. За ее рамками осталась моя личная жизнь в буквальном смысле слова; жены, дети, друзья, встречи, романы — все это представляет интерес лишь для меня и небольшого круга близких мне людей, больше никому это не надо. А вот если эта книга хоть в небольшой степени поможет воссоздать картину жизни страны за несколько десятков лет, я буду считать свою задачу выполненной.

## МОСКОВСКАЯ КОММУНАЛКА

Сейчас большинство людей, даже если и слышали это слово, с трудом могут себе представить, что оно на самом деле значило. Родившись в семье скромных служащих, я, естественно, жил в коммунальной квартире, как практически и все мои ровесники, и вообще знакомые. (Насколько я помню, лет до двадцати пяти я даже не бывал в гостях у людей с отдельной квартирой.) В нашей квартире у Патриарших прудов проживало шесть семей, всего примерно пятнадцать человек; была одна ванная, одна уборная, общая кухня и телефон в прихожей. Это считалось хорошими условиями, во многих коммуналках плотность населения была гораздо выше. Ванная комната состояла из умывальника, в котором все и мылись по очереди, и собственно ванной (разумеется, без душа, о котором тогда и не слыхали), обычно заполненной бельем; стирали по очереди, раз примерно в десять дней удавалось на несколько минут принять ванну, но вообще-то, чтобы помыться как следует, приблизительно раз в месяц ходили в баню.

Мне приходилось читать ностальгические воспоминания о коммуналках с их дружной жизнью и общинной солидарностью. Отчасти это так и было, все зависело от характера жильцов; к счастью, у нас не было ни пьяниц, ни дебоширов, отношения между людьми были приличные, хотя и не без склок и скандалов. Впоследствии, когда мы с матерью первыми в квартире купили телевизор, мы всегда приглашали соседей смотреть фильмы. Но это было уже лет десять спустя после окончания

войны, а в тридцатых годах в каждой комнате была только радио-тарелка. Все друг о друге почти все знали — у кого что на ужин (на кухне шумели шесть примусов), к кому кто приходит, какие разговоры ведутся по телефону, висевшему в передней (рядом висела бумажка с карандашом, и отмечалось, кто сколько раз звонит, чтобы в конце месяца вычислить, сколько каждая семья должна платить).

Опять же сейчас некоторые говорят: «Вот при Сталине не было воровства». На самом деле жуликов-карманников в Москве было полно, но о квартирных кражах в коммуналках я действительно не слышал. А что было красть? Уровень жизни был настолько скудным и убогим, что у людей практически не было имущества. В моем школьном классе, например, только у одного мальчика были наручные часы, у двоих — велосипед, у одного или двух — авторучка («самописка»); это были дети относительно высокопоставленных служащих, а у подавляющего большинства не было вообще ничего.

Столь же скудным было и питание. Вспоминая сейчас, что я ел в детстве, вижу перед глазами только тарелку с супом без мяса, котлеты, кашу (гречневую, манную, пшеничную), жидкий чай с сахаром, кусок хлеба с маслом (изредка с колбасой, иногда с сыром, но вот о ветчине я и не слыхал), селедку, дешевые конфеты, печенье.

В таких условиях я провел все детство (за исключением войны, когда было гораздо хуже, но об этом дальше), юность и молодость. Отец умер от инфаркта перед войной, когда мне было четырнадцать лет; много лет спустя, когда я заполнял очередную анкету, кадровик

потребовал, чтобы я в графе об отце указал не просто, что он «умер в 1940 г.», но и где похоронен. Я сначала не понял, зачем нужна такая деталь, а потом сообразил: ведь многие в те годы умирали отнюдь не своей смертью, и в кадрах надо было знать, не в лагере ли умер человек. И после смерти отца мы с матерью жили вдвоем в той же комнате долгие годы. Лишь в возрасте тридцати семи лет я смог, благодаря Хрущеву, организовавшему кооперативное строительство, купить на нас двоих кооперативную двухкомнатную квартиру, а еще спустя шестнадцать лет, уже став доктором наук и профессором, приобрести и отдельную однокомнатную квартиру неподалеку для матери. Итого, выходит, до сорока трех лет я не имел собственного жилища.

## ПЕСНИ ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ

**М**ного славных девчат в коллективе, но ведь влюбись только в одну. Можно быть комсомольцем ретивым и весною вздыхать на луну». Это куплет одной из популярных песен той эпохи. Ключевые слова здесь — «в коллективе». Этот знаменитый термин «коллектив» определял суть нашей жизни. Мы жили в коллективистском, а точнее говоря — в псевдоколлективистском обществе. С самого начала жизни нас приучали к тому, что главное, единственно ценное — это не отдельный человек, а народ. «Единица — что? Единица — малость», как писал Маяковский. «Человек — винтик», «Незаменимых у нас нет» — считалось у нас. До чего же похожи

все тоталитарные системы! Один из лозунгов гитлеровской Германии гласил: «Ты ничто, твой народ — все!» Правда, у нас термин «народ» подразумевал не все население, а прежде всего рабочих и крестьян, они считались хозяевами страны, остальные — осколки, остатки эксплуататорских классов, хотя часть из них могла «перековаться», и таким образом возникла «трудовая интеллигенция», которой было милостиво предоставлено право быть частью народа — не классом, но хотя бы «прослойкой». А эксплуататоры — их не было вообще, ведь это были уничтоженные революцией капиталисты и помещики.

Мы их должны были заочно ненавидеть, этих врагов трудовую народа. То, что помещики и капиталисты (а заодно, конечно, и попы) были ликвидированы, было доказательством уничтожения всех видов гнета и эксплуатации; если бы кто-то сказал, что само государство может быть эксплуататором, на него посмотрели бы в лучшем случае как на идиота. Но такая мысль даже никому не могла придти в голову. Невежество наше было безгранично. Если бы меня в десятилетнем возрасте, например, спросили: «Как живут люди в капиталистических странах?» — я бы ответил: «Ужасно. Угнетенные, давленные, половина из них безработные, голодают, ночуют под мостами». Мы искренне верили, что наш строй — самый лучший и справедливый, ведь у нас нет господ и слуг, правит сам народ, мы — хозяева страны!

Иногда говорят, что сталинский режим держался только на страхе. Это неверно. Он держался на трех китах: энтузиазм, страх и общественная пассивность. «Простые люди», трудовой народ, как и везде, вообще был внутренне далек от идеологии и политики, думал о своих тяжелых



жизненных проблемах и принимал существующую систему как данность. Он безропотно ходил на митинга и демонстрации, выкрикивая что нужно. Над содержанием лозунгов люди не задумывались. Рассказывают такой анекдот (а возможно, и был): во время демонстрации в провинциальном городе местный начальник спяну или по ошибке кричал с трибуны среди прочих лозунгов: «Смерть врагам капитала! Ура!» — и площадь дружно откликалась: «Ура!» Все эти лозунги в одно ухо входили и в другое выходили.

Официально считалось, что мы, советские люди, — это авангард человечества, его лучшая, передовая, наиболее сознательная часть; за нами рано или поздно пойдет весь род людской. Мы были пионерами в первоначальном смысле слова, первопроходцами, открывшими единственно верный путь для всего человечества. Вера в мировую революцию среди молодежи была абсолютной, в одной из песен были такие слова: «Сгустились на Западе гнета потемки, рабочих сковали кольцом, но будет и там броненосец «Потемкин», да только с счастливым концом». Эта мировая революция мыслилась как прежде всего вооруженная экспансия с нашей стороны, и мы пели; «По всем океанам и странам развеем мы красное знамя труда!», «Наш лозунг — всемирный Советский Союз!», «Пролетарии всех стран соединяйтесь! Наша сила, наша воля, наша власть! В бой последний, коммунары, собирайтесь! Кто не с нами — тот наш враг, тот должен пасть!», «Мы летим стрелой и над всей землей скоро взвоется наш красный стяг!».

Энтузиазм и страх присутствовали, в разной пропорции, среди большей части населения. Жутким страхом были охвачены, начиная с середины 30-х годов, не только

люди, входившие в политическую элиту, но и вообще городские образованные слои, все следившие за политикой и читавшие газеты. «Простые люди» были меньше подвержены страху, но все равно все всегда помнили о существовании «гепеу» (ГПУ, Государственное политическое управление, позже переименованное в НКВД, Народный комиссариат внутренних дел, а затем в КГБ). Все знали, что язык надо держать за зубами. Мы, мальчишки, страха не испытывали, но тоже знали, что есть вещи, о которых лучше не говорить. Недаром родители вообще не говорили при детях о политике, опасаясь, что ребенок сболтнет что-нибудь в школе — и все, жди ночью гостей...

Доля энтузиазма в менталитете людей уменьшалась с возрастом, у старшего поколения она опускалась до нуля (кроме, конечно, «старых большевиков», идеалистов, но их число неуклонно снижалось как в силу естественной убыли, так и в результате репрессий). Среднее поколение, реальные «строители социализма» 20-х — 30-х годов, равно как и молодое подрастающее поколение (я говорю сейчас о городском, в первую очередь московском, населении) в той или иной степени были затронуты мощной волной энтузиазма. Среди моих сверстников-школьников подлинного энтузиазма, пожалуй, не было, нас мало интересовали политические и идеологические вопросы, мы практически никогда на эти темы и не разговаривали, хотя, разумеется, были всегда готовы без запинки отбарабанить все нужные слова, вбитые в нас пропагандой. Исключением была тема фашизма.

Слово «фашизм» олицетворяло все злое и враждебное. В ребячьих дворовых играх «фашист» означал то же

самое, что «белый», «белогвардеец», даже хуже: белых давно победили, а фашисты были рядом. Именно этим объясняется огромный и неподдельный интерес к гражданской войне в Испании, искренняя тревога за судьбу испанской республики. Недавно я прочел в своем старом дневнике: «Каталония захвачена фашистами. Республика задыхается в кольце блокады, обескровленная, голодная». Это было написано не для статьи или выступления, — это искренне писал для себя двенадцатилетний мальчик...

Все были уверены, что война с гитлеровской Германией неминуема. Также никто не сомневался, что придется воевать и с «японскими самураями». Фашисты и самураи — вот два образа врага того времени. Подготовкой к войне, доходившей до уровня военного психоза, было охвачено все общество. Многие из числа образованной городской молодежи верили, что война станет началом мировой революции. Мне приходилось встречать юношей всего несколькими годами старше себя, которые с энтузиазмом готовились воевать за дело Ленина—Сталина против фашизма и тем самым против мирового капитала вообще, во имя торжества мировой революции. Эти ребята, наиболее известным среди которых стал поэт Павел Коган, действительно дождались войны и почти все погибли в первых же сражениях. Уже спустя много лет я узнал, что из каждой сотни юношей 1920 года рождения, попавших на фронт, уцелело лишь трое.

Все мальчики моего поколения мечтали стать командирами Красной Армии, особенно летчиками — ведь самыми знаменитыми героями были именно летчики: Чкалов, Леваневский, Мазурук и другие. Военная тематика доминировала в кино, все по многу раз смотрели такие

фильмы, как «Чапаев», «Мы из Кронштадта», «Волочаевские дни», «Тринадцать», «Если завтра война». Вообще тема Гражданской войны была исключительно популярна, все знали такие песни, как «Орленок», «Каховка», в классе пели: «И от тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее», «Среди зноя и пыли мы с Буденным ходили на рысях на большие дела», «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути», «Орленок, орленок, идут эшелоны, победа борьбой решена, у власти орлиной орлят миллионы, и нами гордится страна». Записывались в кружки «ворошиловских стрелков», усердно посещали тир, готовились воевать, пели песни с такими словами: «Когда война-метелица придет опять, должны уметь мы целиться, уметь стрелять», «По дорогам знакомым за любимым наркомом (т. е. Ворошиловым. — Г. М.) мы коней боевых поведем», «Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет», «И летели наземь самураи под напором стали и огня», «Наша воля тверда, никому никогда не гулять по республикам нашим!».

Представления о будущей неизбежной войне были на редкость примитивными, никто не сомневался в молниеносной победе. В ходу были лозунги: «Бить врага на его территории», «Малой кровью, могучим ударом!». В фильмах о будущей войне немцы и японцы падали сотнями, скошенные нашим огнем. Из покойных героев Гражданской войны знали Чапаева, Щорса, Фрунзе, Лазо, из здравствовавших — Ворошилова, Буденного, Блюхера, Тухачевского. Именно эти последние должны были повести нас в новый бой под руководством товарища Сталина,

которому мы, согласно официальной версии, были обязаны победой в Гражданской войне. И кто бы посмел заикнуться о том, что к пятой годовщине Красной Армии в «Правде» была опубликована передовая статья под заголовком «Лев Троцкий — организатор победы»? Кто мог бы себе представить, что в самые ближайшие годы Блюхер и Тухачевский будут расстреляны как враги народа, а Ворошилов и Буденный с позором провалятся как полководцы в первых же сражениях войны с Германией, — войны, в ходе которой немцы уже через четыре месяца окажутся у ворот Москвы, взяв к этому времени в плен три миллиона наших бойцов и командиров?

## **ПОЧЕМУ ОРДЖОНИКИДЗЕ НЕ ВЫСТРЕЛИЛ СНАЧАЛА В СТАЛИНА**

Учитель ходил между партами, повторяя: «Откройте страницу 86 учебника истории и замажьте там портрет», «Замажьте портрет на странице 101». Фамилии тех, кто был на этих портретах, он даже не смел называть — враги народа были недостойны того, чтобы вслух произносить их имена. Мы молча старательно замазывали портреты людей, еще вчера бывших маршалами, командармами, легендарными героями — Тухачевского, Блюхера, Якира, Гамарника, Егорова. Никто не задавал вопросов: ведь после того как были «разоблачены» такие знаменитые вожди партии, как Каменев, Зиновьев, Бухарин, Рыков, не могло быть гарантии, что любой самый высокопоставленный государственный деятель или

военачальник не окажется замаскированным врагом, давним агентом царской охраны, немецким или японским шпионом.

Много лет спустя я сидел дома у Арзуманяна, директора академического института, где я работал. Мы писали интервью иностранным журналистам от имени Хрущева. Когда мы, прервавшись на несколько минут, пили кофе с коньяком, разговор зашел о прошлых временах, и я спросил у Арзуманяна, который сам сидел в тюрьме несколько лет перед войной, но был выпущен (он был женат на сестре жены Микояна, члена Политбюро; видимо, поэтому он так легко отделался): «Анушаван Агафонович, а почему Серго Орджоникидзе, прежде чем стрелять в себя, не выстрелил сначала в Сталина, с которым, как известно теперь, он имел бурный разговор непосредственно перед самоубийством? Ведь брат Серго был уже арестован, и он знал, какая участь его ждет, решил не дожидаться и покончить с собой — так почему не пустить первую пулю в Сталина, виновника всего кошмара?»

Арзуманян посмотрел на меня и спросил: «Тебе тогда сколько лет было?» — «Десять». — «Так вот, представь себе, что бы ты подумал, если бы утром услышал по радио, что Сталин убит и его убил Орджоникидзе?» Я было задумался, и он заговорил опять: «Я тебе скажу, что бы ты подумал: «Если уж Серго — самый любимый после Сталина из всех вождей — оказался врагом, то кому вообще можно верить?» И так подумали бы все: раз так, то родному брату доверять нельзя. Ну и что было бы? Молотов стал бы руководителем партии, и охота за врагами народа пошла бы еще сильнее,

террор бы только усилился, и весь народ бы это под-держал».

Старый, опытный Арзуманян был прав, так бы оно и было, и Серго понимал это. Ничего сделать было нельзя: при тогдашнем настроении народа, которому ежедневно промывали мозги, крича о врагах, диверсантах, вредителях и шпионах, которыми кишмя кишит вся страна, никому бы не пришла в голову мысль, что Сталин сам мог быть в чем-то виноват и у Орджоникидзе могли быть свои причины покончить с ним. Воспитанные на тезисе о капиталистическом окружении, чувствовавшие реальную угрозу, исходившую от гитлеризма, советские люди с трудом, но вынуждены были примириться с мыслью, что вчерашние любимцы народа, члены Политбюро и легендарные военачальники на самом деле были замаскированными врагами, двурушниками, заговорщиками, фашистскими агентами. Ведь они сами признавались в этом на процессах! — таков был, казалось, неотвратимый довод, свидетельствующий об их вине. И лишь спустя десятилетия правда о том, почему они признавались, стала доходить до нас (не до всех, к сожалению; некоторые верят в «признания» до сих пор).

Однажды, уже в 60-х годах, один мой коллега посетил в Праге Артура Лондона, известного чехословацкого государственного деятеля, арестованного в начале 50-х годов по «делу Сланского» и впоследствии реабилитированного. Они сидели у Лондона дома, и его жена, кстати сказать, свояченица руководителя компартии Франции, рассказала, что когда она услышала по радио и прочла в газетах, что ее муж признался в том, что был контрреволюционером и врагом социализма, она, как ни дико

это может показаться, поверила этому! Почему? А дело в том, что Артур Лондон, старый коммунист, еврей, когда началась война, жил во Франции и после ее разгрома был арестован гестаповцами, сидел в лагере, подвергался истязаниям, но держался стойко. Зная это, его жена не могла поверить, что ее мужа могли сломить в пражских застенках и заставить оклеветать самого себя, ей легче было поверить, что он действительно был «врагом», вел двойную жизнь и всегда ее обманывал. И только когда он вернулся из тюрьмы, она узнала страшную правду: его таки сломили, заставили дать ложные показания — точно так же, как это было у нас, когда один за другим признавались в заговорах и злодеяниях Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, Тухачевский, Якир, Пятаков, Радек, Ягода, Косиор, Косарев, Постышев, десятки секретарей обкомов и горкомов партии, наркомов и командармов, сотни директоров заводов и председателей колхозов, многие тысячи рядовых служащих, хозяйственников, старых большевиков и деятелей Коминтерна, журналистов и армейских политработников, комсомольских активистов и знаменитых врачей.

Ведь сначала, после ареста, человек уверен, что произошла жуткая ошибка, его скоро выпустят, но вот ему предъявляют показания его сослуживцев, коллег, друзей, иногда даже родственников, — и все утверждают, что он враг, двурушник, член антисоветской организации. Человек ошеломлен, обескуражен, теряет всякую опору, уже нет почвы под ногами, он в отчаянии, но, конечно, еще не соглашается подписать самоубийственные показания. Тогда начинаются пытки, начиная с «конвейера», когда допрашиваемый сутки стоит перед следователями,



сменяющимися один другого и добивающимися одного и того же: «признайся, подпиши!» — а потом его ведут в камеру, дают заснуть и будят через пять минут, и так продолжается без конца, пока обвиняемый не будет готов признаться в чем угодно, лишь бы кончился этот кошмар. Но в ход идут и физические истязания, избиения, пытки, причиняющие адскую боль; а еще запугивают тем, что расстреляют жену и дочь, «если не сознаешься». И все это на фоне психического крушения, вызванного осознанием того, что ты один, все от тебя отказались, все предали, твоя же партия тебя уничтожает, ты зря прожил жизнь, все пропало, надежды нет, уж скорее бы конец. И если все это длится недели, месяцы — какой, даже самый сильный и стойкий человек, способен выдержать?

Но вот наступает критический момент, сопротивление сломлено. Обвиняемого оставляют в покое, перестают мучить, дают отоспаться и придти в себя, хорошо кормят. И тут начинается, может быть, самое страшное: следователь вместе с обвиняемым (а ему уже обещана жизнь) начинает составлять сценарий, подробное либретто пьесы, которую предстоит разыграть на открытом процессе. Все как в театре: человеку предстоит заучить наизусть все признания, перечисление всех компрометирующих его «фактов» (когда и кем завербован, что поручено делать и т. д.), все реплики, которые должны быть поданы обвиняемым после таких-то слов прокурора или другого обвиняемого. Все должно быть разработано до деталей, заучено и отрепетировано десятки раз, прежде чем человека можно выпустить в зал суда, где будут, может быть, сидеть и иностранные журналисты,

у которых не должно остаться и тени сомнения в искренности признаний (эту часть пьесы описал Фейхтвангер в книге «1937 год»; он, как и остальные, поверил всему, не подозревая, что на сцене сидят давно сломленные, потерявшие всякую веру и самоуважение люди, твердящие, как актеры, заученные монологи). Разумеется, для того чтобы добиться разыгрывания как по нотам такого спектакля, требуются многие месяцы, но ведь следователи и не спешили; вспомним, сколько месяцев прошло между арестом и судом обвиняемых по трем главным открытым процессам. И лишь с группой «военных заговорщиков» во главе с Тухачевским было покончено за несколько дней; это было до предела форсированное действие, и можно только представить себе, что довелось за эти дни испытать маршалам и командармам, прежде чем они перед лицом своих же старых товарищей, заседавших в трибунале, сознались в «чудовищных преступлениях».

Но все это стало известно много лет спустя, а тогда, в тридцатые годы, никто не мог себе даже вообразить подобных вещей. Все были убеждены в подлинности признаний, и на бесчисленных митингах по всей стране люди поднимали руки в поддержку смертного приговора «подлым изменникам». Урок был только один: надо еще больше повысить бдительность. Это было ключевое слово: бдительность. Вокруг враги. Подозревать можно любого. Никакие прежние заслуги не спасут. И с каждым новым процессом крепла убежденность: наши чекисты не подведут, они разоблачат всех врагов народа. Накануне неизбежной войны товарищ Сталин чистит наш тыл, выкорчевывает одно за другим гнезда замаскировав-

шихся троцкистско-фашистских агентов. Пятой колонны у нас не будет. И во внешнем мире нас поддержит пролетариат всех стран — ведь Советский Союз является подлинным отечеством трудящихся всего мира.

## **Я ВЫИГРЫВАЮ ПАРИ У СОБСТВЕННОГО ОТЦА**

Услышав по радио сообщение о том, что на следующий день после начала войны с Финляндией в городе Териоки восставшими рабочими и солдатами образовано Временное народное правительство Финляндской Демократической Республики, мой отец сказал мне: «Вот видишь, ни одна страна не сможет с нами воевать — сразу же там будет революция».

Я не поленился достать географическую карту и увидел, что Териоки расположен на самой границе. «Папа, — сказал я, — а ты знаешь, мне кажется, что дело было так: наши войска вошли в Териоки, и с ними прибыли руководители финских коммунистов, они и провозгласили новое правительство». Отец не согласился с такой версией (впоследствии оказалось, что она была абсолютно правильной), и мы заключили пари. Разумеется, никаких доказательств в то время быть не могло, — так это было или не так, но через четыре месяца война закончилась, добиться создания советской Финляндии Сталину не удалось, и «Временное народное правительство» самораспустилось. Отец сказал: «Да, ты был прав, никакой революции в Финляндии не было».

Почему в тринадцатилетнем возрасте я не поверил правительству и его пропагандистской версии событий — я не знаю. Никаких «антисоветских настроений» родители мне не внушали, вообще о политике не говорили. Значит, какая-то подспудная внутренняя нелояльность по отношению к власти сидела во мне, или, может быть, просто нежелание принимать на веру все, что официально говорилось. Эта черта проявилась во мне и спустя полтора года, когда началась Отечественная война. Утром 22 июня 1941 года я лежал простуженный с температурой, но когда услышал по радио выступление Молотова, сообщившего, что Германия на нас напала, — всю болезнь как рукой сняло. Со школьным товарищем я немедленно побежал в картографический магазин на Кузнецком Мосту. Мы оба купили по карте Европы, но я купил еще и большую карту Советского Союза. Мой друг недоумевал: «Зачем тебе эта карта — ведь воевать будем на территории Германии?» Я ответил: «На всякий случай». И потом, в течение трех с лишним лет, именно эта карта висела у меня на стене, и я флажками отмечал линию фронта.

Упомянув о моей болезни в июне 41-го, я не могу не сказать о том, что эта болезнь спасла мне жизнь. Дело в том, что мой отец был евреем, родом из бывшего российского, а затем польского города Вильно (нынешний Вильнюс), он воевал в российской армии во время первой мировой войны, был ранен и попал в немецкий плен, а после войны не вернулся в Вильно, а оказался в Москве. Его родители и вся большая семья жили в Вильно, но никакой связи у отца с ними не было, никакой переписки, он вообще скрывал, что у него родственники

за границей, по тем временам это было естественно. Так до самой своей смерти в августе 40-го года он и не знал, что с его родными в Польше. А когда после разгрома Польши немцами в 1939 году Вильно был передан Литве и стал ее столицей, а на следующий год Литва стала советской, уже стало можно наводить справки, и выяснилось, что вся семья живет и здравствует. Отцу этого узнать уже не довелось, но его сестра, моя тетя, тоже жившая в Москве, списалась с родными в Вильнюсе, сообщила, что мой отец умер, но у него есть сын, и была приглашена вместе со мной приехать в Вильнюс. Я был очень рад, что получил возможность посетить другой город — ведь я из Москвы никогда и не выезжал. Мы договорились ехать 20 июня, но тут я заболел, и поездку отложили. Что бы было, если бы мы приехали в Вильнюс 20 июня? Уже через два дня после начала войны, 24 июня, Вильнюс был занят немцами, никто не успел эвакуироваться, и в октябре того же года все еврейское население города было уничтожено. Эта судьба постигла бы, без сомнения, и меня, если бы не та простуда...

Октябрь 41-го года оказался поистине роковым для моих родственников как по отцовской, так и по материнской линии. Дело в том, что моя мать, Виктория Густавовна, была по паспорту немкой. На самом деле она была русской и родилась в Смоленске, но в ней была немецкая, польская и латышская кровь; по-немецки она не знала, кажется, ни единого слова. Ее мать, моя бабушка, была лютеранкой: в дореволюционных документах указывалась не национальность, а вероисповедание. Лютеранками числились и сестры бабушки. Когда после Октябрьской революции стали выдавать метрические

свидетельства, уже появилась графа «национальность», и какая-то сотрудница соответствующего учреждения, оформлявшего документы, увидев слово «лютеранка», естественно, записала «немка» как моей бабушке и ее сестрам, так и моей матери, уже достигшей совершеннолетия. В то время, в эпоху назревавшей, как считалось, «мировой революции», никто не придавал значения национальности, и никому в голову не могло прийти, что через двадцать лет это станет вопросом жизни и смерти.

А именно так и случилось. В начале 30-х годов были введены паспорта с пресловутым пятым пунктом («национальность»), туда и перешло из метрического свидетельства злополучное слово «немка». И вот в октябре 41-го года было решено выселить из Москвы в Казахстан всех немцев. Бабушка и ее сестры были посажены в вагоны, я помню, как мы на вокзале провожали старух — на верную смерть, как выяснилось вскоре. Где и когда именно они умерли — может быть, еще в эшелоне или после прибытия в Казахстан, от тифа или еще чего-нибудь, — я уже никогда не узнаю. Справки об их смерти мы с матерью получили в начале 42-го. Так погибли мои родственники как с отцовской, так и с материнской стороны — практически в одно и то же время; одни были убиты нацистами, другие — Советской властью.

Забегая вперед, скажу, что и я с матерью тоже должен был быть сослан в Казахстан. У меня-то еще паспорта не было, но мать в середине октября была вызвана в милицию и, вернувшись, показала мне свой паспорт: там был уже поставлен штамп — «местожительство — Карагандинская область Казахской ССР». Я стал уже

готовиться к отъезду в Караганду, однако в последнем момент все изменилось.

Дело в том, что через год после смерти отца, летом 41-го, мать вторично вышла замуж. Ее новый муж, Сергей Петрович Иванов, был членом партии и командиром запаса. Перед отправкой на фронт он успел пойти в милицию и поручиться за мою мать. Ее оставили в Москве, восстановив прежний штамп местожительства; с ней, естественно, остался и я. А ее муж отбыл на фронт и уже через месяц был убит.

## НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

**Я** возвращаюсь к 1940 году. Тогда у меня в голове была одна мысль: поступить в Военно-морскую спецшколу. Я с детства мечтал стать моряком. И вот я прочел в газете, что осенью открывается Военно-морская спецшкола, куда принимаются мальчики, окончившие семь классов. Мне до этого оставался еще год, но я уже принял твердое решение: летом следующего года я подам документы.

И вот когда я уже получил свидетельство об окончании семилетки, в июне 41-го, со мной сыграли злую шутку: мой ровесник, сосед по дому, узнав о моем намерении, сказал: «Ничего не получится, ведь ты в школе учишь французский, а в морскую спецшколу будут принимать только ребят, изучающих английский, ведь это международный язык моряков». Я поверил ему, не потрудился даже проверить эту информацию — и впал

в отчаяние. Отказаться от своей мечты только потому, что по случайности я учусь в классе, где иностранный язык — французский, а не английский? Нет, этому не бывать. Я раздобыл старый дореволюционный самоучитель, попросил еще одного мальчика-соседа показать мне, как читаются и произносятся буквы, — и засел за книгу. Три месяца подряд я учил английский. Уже началась война, Москву бомбили, я тушил зажигательные бомбы на крыше, потом жил на даче под Москвой, в Пушкино, и туда однажды попали бомбы, я часто ездил на электричке из Москвы в Пушкино и обратно — и зубрил, зубрил. Вскоре я уже был в состоянии читать, купил адаптированную версию «Острова сокровищ», прочел ее и почувствовал себя готовым. И только когда я отнес документы в спецшколу на Красносельской улице, я узнал, как меня разыграли: можно было запросто поступать и с французским, и с немецким, и вообще в школьном свидетельстве было просто написано: «иностраннный язык — 5». Но уже было поздно: зря что ли я потратил столько времени и сил на изучение английского языка? Я поступил в английский класс, и никто так и не узнал, что раньше в школе я английский не учил.

Но мне так и не суждено было стать моряком. После полутора месяцев занятий, как раз накануне знаменательного дня, когда нам должны были выдать морскую форму, весь личный состав спецшколы был выстроен на плацу и начальник школы объявил, что по решению правительства школа временно эвакуируется на восток; шел октябрь 41-го, и немцы уже подходили к Москве. Я решил, что не стану в такой момент оставлять мать одну в Москве, лучше уж пропущу один год. В самом деле,



кто тогда мог предполагать, что война продлится четыре года? Даже несмотря на страшные поражения первых месяцев войны, люди, веря сводкам Информбюро с фантастическими цифрами немецких потерь, были убеждены, что немцы на последнем издыхании и вот-вот наступит перелом. Ведь сам Сталин сказал: «Еще полгода, может быть годик, и гитлеровская Германия рухнет под тяжестью своих преступлений». И я остался в Москве, не подозревая, что спецшкола, эвакуированная в далекий сибирский городок, вернется только через четыре года и мое время уже будет упущено навсегда.

А война уже набирала обороты. Первая бомбежка Москвы произошла ровно через месяц после начала войны, 22 июля. Потом налеты немецкой авиации следовали по ночам все чаще и чаще. Никогда не забуду этого фантастического зрелища, приводившего меня, мальчишку, в состояние какого-то жуткого восторга: лучи прожекторов, рассекающие темное небо и выхватывающие из мрака силуэты немецких самолетов; разрывы трассирующих снарядов зениток; очаги пожаров вокруг, которые я видел, сидя на крыше в качестве дежурившего бойца добровольной дружины противовоздушной обороны. В моем распоряжении была лопатка и ящик с песком; мне удалось погасить несколько зажигательных бомб. Вообще говоря, бомбежки были не слишком сильные; тяжелых фугасных бомб было сброшено относительно немного, в основном бросали зажигалки. На моих глазах не был сбит ни один самолет, несмотря на то, что они были четко видны в свете прожекторов и по ним велся яростный зенитный огонь. Потом стало известно, однако, что немецкая авиация потеряла немало самолетов при налетах

на Москву, но они были сбиты на дальних подступах к городу.

Немцы прилетали вечером почти в одно и то же время, и люди готовились заранее. На площадь Маяковского, рядом с которой мы жили, народ стягивался с узлами, мешками, одеялами, все рассаживаются прямо по середине площади; до объявления воздушной тревоги никого не пускали в метро, служившее районным бомбоубежищем. Вот из молчавшего громкоговорителя раздается первое шипение, все в одну секунду вскакивают на ноги и бросаются ко входу в метро с такой быстротой, что когда начинает звучать голос диктора, трехкратно повторявшего: «Граждане, воздушная тревога!» — люди уже вваливаются внутрь. Если до ночи не было отбоя, там же и ночевали прямо на рельсах.

О том, как шла война, мы в первые дни не знали вообще. Из сумбурных сводок понять было ничего нельзя, но люди передавали друг другу бредовые вести о том, что Красная Армия уже вступила в Польшу и Восточную Пруссию, что разгромлены целые танковые корпуса немцев, что командование специально ничего не сообщает, чтобы потом преподнести народу сообщение о грандиозной победе. И вдруг — как гром среди ясного неба: утром 3 июля по радио выступил сам Сталин!

Затаив дыхание, мы с матерью слушаем: «Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои!» Мы не можем поверить своим ушам: мы в жизни не слышали от вождя таких слов. Но это он, он — его негромкий, хриповатый, монотонный голос с сильным акцентом. И вот: «Как же могло случиться, что Красная Армия сдала...» Пауза; слышно, как его зубы стучат о стакан с водой.

Мне вместо «сдала» слышится «сдалась», и я в ужасе вытаращиваю глаза, глядя на мать: Красная Армия сдалась? Но нет, он продолжает: «...сдала врагу такие обширные территории». А какие территории — только из слов Сталина и становится ясно; звучит страшное слово «Минск». Немцы дошли до Минска — и всего за десять дней! Вот тебе и война на чужой территории...

Я выхожу на улицу. Речь Сталина повторяется по радио еще и еще, и толпы людей стоят не шелохнувшись возле громкоговорителей. Полное молчание, каменные лица. Народ начинает понимать, что это за война и что нас еще ждет.

А потом идут сводки, одна другой хуже и тревожнее. Уже начинаем понимать, что означает, когда в сводке упоминается «направление». «Наши войска вели бои на Витебском направлении» — значит, Витебск взят немцами; «на Псковском направлении» — оставлен Псков. И вот в середине июля появляется «Смоленское направление»; все ошарашены. Пал Смоленск? Но ведь это уже не Белоруссия, оттуда до Москвы — Вязьма, Можайск — и все! Рукой подать...

На улицах — первые раненые, прибывшие с фронта. Я даю французскую булку мужику на костыле, с забинтованной головой, спрашиваю: «Откуда?» — «Из-под Полоцка». — «Как дела на фронте?» — «Какие дела? Бежит наша армия». Я отшатываюсь. «Как так бежит?» — «Да вот так. Гонит нас немец, одним свистом гонит». Поверить невозможно. Великая, непобедимая Красная Армия? Но вот к концу идет июль, и открывается жуткая правда: немцы в Смоленске, немцы у стен Ленинграда, Киева и Одессы. За один месяц они прошли такие расстояния —

что же это происходит? В страшном сне такое не могло присниться... Но мы еще ничего толком и не знали — например, не знали, что в первый же день войны — в первый день! — мы потеряли почти две тысячи самолетов, а в «котле» под Минском немцы взяли в плен больше 300 тысяч наших бойцов и командиров, а всего за июнь и июль мы потеряли больше миллиона человек убитыми, ранеными и пленными, потеряли пять с половиной тысяч танков и пять тысяч орудий. Не зная и доли правды, люди все же понимали, что война идет совсем не так, как думалось. Все с утра жадно ловили по радио военные сводки, абсолютно идиотские: с одной стороны, непрерывно сообщалось об успехах наших войск, о фантастических потерях «немецко-фашистской армии»; здесь наша пропаганда дошла до геркулесовых столпов лжи — ведь если верить сводкам, у немцев через три месяца после начала войны вообще уже не должно было остаться войск. С другой стороны, названия городов, где шли бои, говорили сами за себя: все дальше и дальше к востоку.

Вообще антигитлеровская пропаганда развернулась с невероятной силой. Это было понятно и оправдано; мы, ребята школьного возраста, воспитанные в антифашистском духе, радовались тому, что наконец кончилось время, когда даже слово «фашизм» запрещено было употреблять. Ведь в течение почти двух лет, после визита Риббентропа в Москву, ни в одной публикации такого слова не было вообще. Доходило до абсурда: так, в Англии существовала организация Британский союз фашистов, и она, естественно, после начала второй мировой войны была запрещена, но, поскольку слово «фашизм» цензура не пропускала, сообщение в газетах об этом

звучало так: «В Англии запрещена организация Британский союз». Люди, читавшие «Правду», не могли понять, почему это в Британии вдруг запретили Британский союз. Теперь все это кончилось, и странно было даже вспомнить, как годом раньше на первой странице «Правды» была огромная фотография Гитлера, любезно принимавшего Молотова в Берлине.

Разумеется, в типично советском духе пропаганда была столь же энергичной, сколь примитивной и недостойной. Чуть ли не лейтмотивом звучало каждый день по радио: «Бейте вшивых фрицев!» Наряду с подлинными разоблачительными материалами о зверствах гитлеровцев распространялись всевозможные небылицы. Но дело свое пропаганда делала: ненависть к немцам была неподдельной.

Пожалуй, последним относительно нормальным месяцем был сентябрь 41-го. Карточная система уже была введена, но с продуктами было еще не так плохо. На главном фронте — Западном — было относительно затишье, немцы топтались между Смоленском и Вязьмой. Ленинград им взять с ходу не удалось. Правда, в середине сентября все были потрясены известием о падении Киева (мы, конечно, не могли знать, что в «котле» к востоку от Киева мы потеряли пленными больше 600 тысяч человек), но в остальном тревога, кажется, начала было утихать. Что касается меня, то я учился в Военно-морской спецшколе и переставлял флажки на карте, не зная еще, что уже в следующем месяце меня ждут кардинальные перемены: учеба кончится, я чуть не попаду в Казахстан, а немцы подойдут к Москве.

## БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ ПАНИКА

Утром 16 октября я отправился к родственникам; как раз накануне я забрал документы из спецшколы, и было ясно, что, раз ее решено эвакуировать, происходит что-то нехорошее. И действительно, в утренней сводке прозвучали слова: «За истекшие сутки положение на Западном фронте ухудшилось». Но только выйдя на улицу Горького, я стал догадываться, что же на самом деле произошло на фронте.

По улице мчались одна за другой черные «эмочки» (автомшины М-1), в них сидели офицеры со своими семьями (тогда они еще назывались «командиры»), на крышах машин были привязаны веревками чемоданы, узлы, саквояжи, какие-то коробки. Необычное и непонятное зрелище. Все стало ясно, когда я подошел к дому на углу Васильевского переулка, где жила моя тетя, сестра матери, с мужем, полковником авиации. Он как раз вышел из квартиры и садился в машину; при мне он спрашивал у шофера: «Как думаешь, на Горький прорвемся?» — «Попробуем, товарищ полковник», — отвечал солдат. Я не мог поверить своим ушам, но полковник дядя Петя тут же успел ввести меня в курс дела. Оказывается, в черных «эмках» были офицеры штаба Московского военного округа, и они мчались из своих казенных квартир на Ленинградском шоссе в сторону Рязанского и Горьковского шоссе, из Москвы на восток... Дело в том, что рано утром штаб округа получил, как обычно, свою закрытую «внутреннюю» военную сводку, из которой следовало, что немцы прорвали фронт и уже достигли Мо-

жайска, в ста километрах от столицы. Поскольку сам факт такого прорыва свидетельствовал о том, что войска Западного фронта, видимо, разгромлены, можно было ожидать немцев в Москве с часу на час, и штабисты решили «драпануть». А уже через несколько часов рванули из Москвы и гражданские начальники. Началась паника.

До самой смерти не забуду этот день, 16 октября, единственный день в моей жизни, когда я наблюдал полный хаос, отсутствие всякого подобия власти. Радио зловеще молчало, и уже это само по себе о многом говорило: молчат уличные громкоговорители, всегда оравшие во всю мочь. Милиции на улицах нет. Городской транспорт не работает. Станция метро «Маяковская» закрыта. Никаких войск не видно. На площадь Восстания (Кудринская) вытащили откуда-то пушку и не знают, в какую сторону ее повернуть. Говорят, что мосты заминированы. Начали громить магазины, и я видел, как по улице Красина, что ведет к Тишинскому рынку, бегут люди, которые тащат ящики с водкой и другими продуктами. Как потом стало известно, многие директора магазинов и предприятий бежали из города, прихватив с собой кассу; через несколько дней они были расстреляны.

В этот необыкновенный день так получилось, что мне довелось находиться в разных районах города. Еврейская семья, жившая в нашей коммунальной квартире, решила эвакуироваться не медля ни минуты; уже было известно, как немцы поступают с евреями. Я вызвался помочь соседям и тащил вместе с ними их вещи до Комсомольской площади, откуда поезда уходили на восток. До сих пор стоит у меня перед глазами зрелище громадной площади трех вокзалов, усеянной тысячами и тысячами

сидящих и стоящих людей так, что яблоку упасть негде. Все с чемоданами и узлами, все лихорадочно ожидают объявления посадки на очередной поезд — на Казань, Горький, Свердловск, Ташкент — куда угодно.

Еще запомнилось мне, как я проходил почему-то мимо Ленинской библиотеки и увидел костры: это жгли литературу из «спецхрана», и я из любопытства подобрал несколько полуобгоревших прошлогодних германских журналов с фотографиями, иллюстрировавшими победы над англичанами и французами. Почему их жгли? Да потому, что во всех учреждениях, где еще оставалось какое-то начальство, было получено указание уничтожить все секретные документы, к каковым относились и вражеские публикации. Но наибольшее впечатление производили мусорные ящики во дворах, доверху набитые книгами в красном переплете; это были сочинения Ленина. Каждому члену партии полагалось иметь у себя полное собрание произведений Ильича; конечно, официального распоряжения на этот счет не было, но подразумевалось, что большевик, достойный этого звания, должен иметь эти книги, равно как и «Краткий курс истории ВКП(б)», написанный лично Сталиным. Так вот, в страхе перед приходом немцев эти красные тома тысячами выбрасывали в мусорные ящики.

А разговоры на улицах? Стоя в очереди перед закрытой дверью булочной (она открылась лишь на следующий день), я слышал такие слова: «Говорят, немцы уже в Голицыне», «А вы не слышали — говорят, Тула взята», «Да, недаром Гитлер обещал провести ноябрьский парад на Красной площади». Это говорилось открыто, люди впервые в своей жизни ничего не боялись.



А радио все молчало. Лишь к вечеру и громкоговорителей раздался какой-то шорох, и затем выступил председатель Моссовета Пронин. Он призвал население к спокойствию и пообещал навести порядок. И действительно, дня через два Москва была объявлена на осадном положении, прозвучали грозные слова: «Провокаторов и распространителей ложных слухов расстреливать на месте». Был введен комендантский час. Затем было объявлено, что генерал Жуков назначен командовать обороной Москвы. Паника улеглась, жизнь стала возвращаться в нормальную колею. Нет, впрочем, уже не в такую нормальную, как до описанных драматических событий. Во-первых, Москва страшно опустела, на улицах попадались лишь отдельные люди; из городского транспорта остались только метро, трамваи и троллейбусы, все автобусы были реквизированы армией. Во-вторых, начали строить баррикады; помню, как Смоленская, Зубовская и Крымская площади были во всю ширину перегорожены надолбами и мешками с песком. Москва приобрела суровый облик фронтowego города. Налеты авиации продолжались, но воздушную тревогу уже не успевали объявлять, так как немецкие аэродромы были совсем рядом и самолеты могли долететь до столицы за несколько минут. На моих глазах среди бела дня немецкие самолеты, проносясь на бреющем полете, бросали бомбы на Садовом кольце (так был уничтожен дом Шаляпина), на Патриарших прудах, площади Маяковского и около Большого театра. В-третьих, везде ходили военные патрули, проверяя документы, то и дело по улицам маршировали воинские части, направлявшиеся на фронт, и отряды народного ополчения.

Так что же все-таки произошло в эти октябрьские дни? Второго октября началась операция «Тайфун» — генеральное наступление немцев, имевшее своей целью захват Москвы. За несколько дней восемь наших армий из девяти, оборонявших Московское направление, были почти полностью уничтожены, в двух огромных «котлах» — под Вязьмой и Брянском — попало в плен около 670 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Фактически был разгромлен весь Западный фронт, оборонявший Москву. Оставалось пройти до Москвы сто километров; в самой столице и на подступах к ней почти не было под рукой войск, способных остановить германскую лавину. К юго-западу от Москвы держали фронт курсанты военного училища, полностью погибшие уже через несколько дней. Если бы немцы рискнули высадить в Москве воздушный десант, не исключено, что они бы взяли город голыми руками, учитывая панику и дезорганизацию власти. Но даже и без десанта еще один мощный танковый рывок мог бы обеспечить взятие Москвы. Однако немцы остановились под Можайском, Малоярославцем и Калининским — передохнуть, подтянуть резервы, подремонтировать технику. И время было упущено. А о панике в Москве, как потом выяснилось, германская разведка ничего не знала; это был, пожалуй, ее крупнейший просчет за всю войну. И потом исправить уже было ничего нельзя; время работало против немцев, надвигалась зима — страшная зима 41—42 годов, самая лютая из всех, что я помню.

## ЛЮТАЯ ЗИМА. НАЧАЛО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ

Отопление перестало работать. А на дворе — 30 градусов мороза. Электричество, правда, есть, хотя с большими перебоями. Но водопровод на какое-то время замерзает; его чинят, вода идет, потом опять ее нет. Таскаю ведро с водой на пятый этаж из уличной колонки, хотя иногда и она не действует. Но это еще полбеды. А вот без отопления — настоящая беда. Ведь такой зимы не было никогда — ни до, ни после 41-го года. Видно, есть на свете справедливость — Бог против Гитлера. Его армия замерзает в летнем обмундировании, ведь рассчитывали победить Россию до наступления зимы. И дело не только в страданиях солдат, отмораживающих себе ноги в тесных сапогах, куда не входит шерстяной носок: почти не может работать техника — самолеты, танки, тягачи, грузовики. Как раз в тот момент, когда немцы, возобновившие наступление на Москву в середине ноября, подошли к столице (разведка дошла до Химок), ударил сорокаградусный мороз, и все остановилось. А через Москву на фронт идут и идут сибирские дивизии. Я вижу их на марше — здоровенные ребята в валенках, теплых полушубках, белых маскхалатах — кадровые войска; к этому времени вся наша кадровая армия, встречавшая вторжение немцев в июне, уже перебита, но вот Сталин наконец решил пустить в бой последний кадровый резерв с Дальнего Востока. Ясно, что японцы уже не нападут — разведка донесла, что они готовятся к войне против западных держав, и действительно, 7 декабря они атаковали Перл-Харбор, бросив вызов Америке и Англии. Сибиряки могут

воевать здесь, на немецком фронте, и вот они маршируют под звуки непрерывно звучавшей в те дни песни: «Мы не дрогнем в бою за столицу свою...» И 6 декабря начинается великое контрнаступление. Немцы начинают отступать, Москва спасена, в сводках впервые вместо слов «войска командира Р.» называется полное имя — «войска под командованием генерала Рокоссовского». Появляются и имена других генералов, командующих победоносными армиями под Москвой, — Конев, Говоров, Кузнецов, Власов, Лелюшенко, командиров соединений — Панфилов, Доватор. Но громче всех звучит имя Жукова.

Битва за Москву выиграна, немцев отбросили. Великий, единодушный вздох облегчения в Москве. Но обратная сторона медали — невероятные страдания населения. Конечно, это далеко не то же, что в Ленинграде, где сотни тысяч людей умерли от голода. У нас в Москве настоящего, смертоносного голода не было, но с продовольствием становилось все хуже. По иждивенческим карточкам, которые получали мы с матерью, отпускали 400 граммов хлеба на день. Помню, что мать ходила на минное поле под Химками и, рискуя жизнью, собирала замерзшую неубранную картошку с полей. Но тяжелее всего было с отоплением. Чтобы спастись, все принялись устанавливать в комнатах печи. Сначала у нас стояла железная печка — так называемая «буржуйка», но от нее тепла было мало, и пришлось звать печника, чтобы поставить настоящую печь. Платить ему пришлось продовольственными карточками — денег у нас не было; две недели мы жили без карточек вообще, не получая ни хлеба, ни сахара, ни «жиров». Вот когда я впервые узнал, что такое голод.

Потом это уже стало нормой — постоянное, никогда не уходящее, не отпускающее тебя ни днем ни ночью ощущение голода или «подголадывания» в лучшем случае, перманентного недоедания. Мечты — только о хлебе, только о картошке. На Патриарших прудах, на развалинах разбомбленного, сгоревшего дома я нашел полуобгоревшую довоенную «Книгу о вкусной и здоровой пище» и в течение всей войны время от времени погружался в чтение: там описывались блюда, о которых я вообще никогда не слышал, а в голодное время это был какой-то мазохизм, самоистязание, но я читал и читал...

Уже позднее, когда я работал в «Теплосети Мосэнерго» и получал карточку, полагающуюся рабочим «горячего цеха» — килограмм хлеба на день, килограмм мяса на месяц, — а мать имела «служашую» карточку — пятьсот граммов хлеба на день, она скрупулезно взвешивала на весах хлеб, который я ежедневно получал за нее и за себя в булочной на Малой Бронной; она отделяла мою килограммовую порцию от своей. Я вначале протестовал, даже выбросил весы, но с матерью ничего нельзя было поделаться, она отказывалась есть «мой хлеб», приобрела новые весы и отвешивала, отвешивала каждый день, чтобы сын съедал ровно вдвое больше, чем она. Мне иногда удавалось подрабатывать на разгрузке хлеба на железной дороге по ночам; денег за это не платили, и с собой уносить было нельзя, но можно было есть сколько хочешь во время работы, и вот тут мы наедались вдоволь. Помню, один здоровенный парень-украинец за ночь разгрузки съел четыре буханки по полтора килограмма. А картошка? Раз или два мне посчастливилось быть принятым в бригаду, разгружавшую вагоны с картошкой,

там действовали такие же правила, что и при разгрузке хлеба. Половина бригады работала, половина ела картошку, которую варили без соли, потом менялись; за ночь мы, четверо, съели восемь ведер картошки.

Но это будет потом, а тогда, в декабре и январе, положение наше было критическим. Правда, после того как поставили кирпичную печь, можно было обогреться: мы получали дрова, и я каждое утро, спускаясь во двор, колот топором поленья. Но с едой было все хуже и хуже. Мать, хотя и избежала высылки в Казахстан, все же числилась по паспорту немкой, и получить какую-либо работу ей, разумеется, было практически невозможно. До войны она работала секретаршей, делопроизводителем и еще кем-то, но во время войны какой кадровик возьмет на работу немку? Единственное, чего ей удалось добиться, — это того, что ее взяли на работу надомницей в пошивочную мастерскую. У нас была старая, еще до-революционная швейная машинка «Зингер», и мать в течение всей войны, сидя дома, шила рубахи и кальсоны для солдат. Платили ей гроши, но зато она вместо иждивенческой карточки стала получать «служащую» — на сто граммов хлеба больше: 500 вместо 400. Однако я, несовершеннолетний, еще не имевший паспорта, получал иждивенческую карточку. Надо было что-то делать, чтобы хоть ноги таскать. Надо было найти работу. Какую — без паспорта?

Помог мне мой дядя, брат матери (он избежал депортации, так как у него в паспорте в графе «национальность» стояло не «немец», а «латыш»), у которого оказался знакомый, работавший директором магазина. Так, «по благу», в обход закона, я, несовершеннолетний, был

принят грузчиком в магазин «Мясо» на Колхозной площади, около кинотеатра «Форум». Мясом там, конечно, в то время и не пахло, возили картошку, фасоль, свеклу, еще что-то. Итак, моя трудовая карьера началась в возрасте пятнадцати лет с грузчика — и довольно быстро закончилась: уже недели через три я отморозил себе ноги. Валенки мне не выдали, и в летних ботиночках на тридцатиградусном морозе я сидел в открытом кузове грузовика, возившего с базы в магазин продукты. Отморозил же я ноги тогда, когда грузовик сломался и не пришел вовремя на базу, и я три часа стоял, подпрыгивая, на морозе. К счастью, ноги удалось спасти, но больше я в магазин не вернулся, а поступил — опять-таки по знакомству — в мастерскую на Тверском бульваре, где делали ящики для мин. Я работал пильщиком на циркулярной пиле, но опять же через три недели вылетел оттуда пробкой, на этот раз по собственной вине: один из ребят, сколачивавших ящики, стащил у меня кусок черного хлеба, который мать дала мне с собой утром, чтобы я съел его вместо обеда. Потеряв свой обед, я в бешенстве ударил парня молотком по голове и был немедленно уволен, причем не успев получить за свою работу не только зарплаты, но даже продовольственной карточки, ради которой я, собственно, и пошел работать.

Третья моя работа была еще тяжелее: санитаром в военном госпитале на Басманной улице. Туда меня устроил сосед того же моего дяди, главный врач этого эвакуогоспиталя; я соблазнился не только рабочей карточкой, но и обещанием врача, что я смогу подьедать пищу, остававшуюся после обеда раненых. В эвакуогоспитале были в основном тяжелораненые, которых привозили с фронта,

и большинство из них, полумертвых, почти не могли есть. Увы, меня обманули: я был коридорным санитаром, а всю еду, остававшуюся от раненых, подбирали санитарки, работавшие в палатах. Моя работа заключалась в следующем: утром я вместе с коридорным санитаром с другого этажа возил на тележке в госпитальный морг умерших; обычно умирали под утро, и каждый день, придя на работу, я обнаруживал несколько трупов солдат, всего на три-четыре года старше меня, с которыми я накануне разговаривал, расспрашивая их о делах на фронте. Сколько мертвецов я перетаскал за два месяца в морг, трудно подсчитать. Затем я возил раненых в операционную, ждал там, пока при мне им ампутировали ноги или руки, и вез их обратно. Потом возил раненых на перевязки. При всем этом я еще должен был мыть со шваброй коридор, а также носить тюки с бельем в другой корпус, в прачечную. Уставал я безмерно: можно себе представить, каково тощему, голодному пятнадцатилетнему мальчишке перекладывать с койки на тележку почти недвижимых мужчин. Еды от раненых, как я уже упоминал, мне не доставалось, в столовой кормили щами с полугнилой капустой и пшенной кашей, и я еле передвигал ноги. Однажды, когда я тащил в прачечную тяжеленный мешок с бельем, я упал от слабости, белье испачкалось в весенней грязи (был уже апрель 42-го года), сестра-хозяйка устроила жуткий скандал, я ответил ей — и потерял работу.

Работая санитаром, чего только я не наслушался! Вот когда я впервые по-настоящему понял, как идет война. Раненые — большинство были из-под Ржева, где немцы, отброшенные от Москвы, стояли насмерть, обороняя «линию фюрера», — рассказывали, как их гнали



по открытому снежному полю под огонь немецких минометов. «Немец кладет мины в шахматном порядке, а нас гонят прямо пинками под зад — «вперед, так вашу мать, за Родину, за Сталина!». К вечеру, глядишь, от взвода никого уже и не осталось». Почти все были ранены в первый или второй день пребывания на фронте. Страшная судьба ожидала тех, кого санитары не успевали вытащить еще ночью, до рассвета: в светлое время никто уже не рисковал ползти за ранеными, и они отмораживали себе руки и ноги; до сих пор у меня перед глазами эти черно-лиловые пальцы — чуть дернешь их, и они отваливаются. Много позже я узнал, что подо Ржевом погибло около 800 тысяч наших солдат и офицеров.

Еще больше я был шокирован несколько месяцев спустя, когда уже работал в «Теплосети Мосэнерго» и в качестве помощника газосварщика был отправлен вместе с ним в Воронеж, чтобы участвовать в демонтаже оборудования тамошней теплоэлектростанции и привезти его в Москву: к Воронежу подошли немцы, это был июль 42-го. Пока мы доехали, Воронеж был уже почти полностью захвачен противником, а ТЭЦ, хотя и оставалась на том берегу речки, где наши войска держались, была разрушена артиллерийским огнем, так что демонтировать и увозить было нечего, и через день мы вернулись в Москву. Но за один день, что я провел там, я увидел нечто, глубоко потрясшее меня. Мой напарник-сварщик вместе со всеми сидел в подвале разрушенной электростанции, которая находилась под обстрелом, но я, движимый мальчишеским любопытством, в момент затишья выскочил на берег, где накануне шел бой: немцы переправились через речку, но были отброшены. Берег был

усеян трупами; на июльской жаре лица мертвых были черными, огромными, страшно раздувшимися, стоял тяжелый смрад. На одного убитого немецкого солдата приходилось примерно пять наших...

Спустя десятилетия я прочел немало книг о войне, в том числе мемуары германских военнослужащих и опубликованные на Западе исследования. То, что я слышал от «моих» раненых в московском госпитале и видел в Воронеже, подтверждалось всюду: кошмарные потери Красной Армии, мгновенная гибель целых полков и дивизий, брошенных в бездарно и безжалостно организованные атаки, особенно в первые годы войны, без достаточной артиллерийской и авиационной подготовки. Во всех воспоминаниях немцев — одна и та же картина: русские бегут волна за волной прямо под пулеметы и минометы и ложатся сотнями на трупы своих товарищей. Бывший пулеметчик вспоминает: «Иваны шли на нас сплошной стеной, мы не успевали их косить, пулемет раскалился... Потом мы пошли их подсчитывать, и оказалось, что только одним пулеметом мы убили не меньше двух сотен...»

Уже в 60-х годах, будучи в Средней Азии в составе лекторской группы, я разговаривал с моим спутником, другим лектором, старым ученым Анчишкиным, отцом известного экономиста, тоже ныне покойного. Он был во время войны, кажется, комиссаром корпуса и на всю жизнь запомнил страшный бой где-то на Смоленщине в 42-м году. Был приказ взять к такому-то числу высоту и соседнюю деревню, несколько атак было отбито с большими потерями, но вот прибыла свежая дивизия — «отборные ребята, сибиряки, кровь с молоком». Их тоже

бросили в недостаточно подготовленную атаку, чтобы успеть к сроку взять высоту и деревню; к вечеру от дивизии остались рожки да ножки. Анчишкин был так потрясен этим зрелищем, что, как он сказал мне, чуть не рехнулся и что-то в нем с тех пор сломалось.

Предвижу возражения: а можно ли было иначе выиграть такую войну, с таким врагом, с лучшей армией в мире? Я думаю, что можно. Конечно, большой крови, тяжелейших потерь избежать было нельзя после того, как Сталин, доверившись Гитлеру (жуткий исторический парадокс: человек, не доверявший самым близким людям, поверил один раз в жизни — и кому?), позволил захватить себя врасплох и за месяц погубил всю кадровую армию, всю авиацию. Разумеется, миллионы людей погибли бы все равно, но ведь здесь речь не об этом, а о бессмысленных, напрасных жертвах, о тех, кто пал, потому что надо было взять такой-то город к такой-то дате (Киев — к 7 ноября, годовщине революции, Берлин — к 1 мая; кстати, наши потери в Берлинской операции составили 350 тысяч человек, а могло быть во много раз меньше: ведь, как правильно заметил журналист Поляновский в «Известиях», все равно «Берлин был обречен, войска союзников не собирались его штурмовать, он был наш — во всех случаях»).

Но Киев и Берлин — это только самые известные примеры. Неизмеримо большее количество солдат и офицеров полегло в заведомо обреченных на неудачу наступлениях «местного значения», в плохо и бестолково подготовленных локальных атаках. Уже в самый первый месяц войны немцы, отдавая должное фанатическому упорству русских в обороне, были поражены и недоуме-

вали по поводу совершенно напрасных контрактов, в которые советское командование бросало пехоту навстречу явно превосходящей огневой мощи противника. Я думаю, что тут огромную роль играла психология наших командиров, боявшихся своего начальства несравненно больше, чем врага. Страшный 37-й год, когда было репрессировано сорок тысяч командиров Красной Армии, наложил свой пагубный отпечаток на тех, кто остался в живых, а известие о расстреле генерала Павлова и его соратников, обвиненных в минской катастрофе, показало всем, чего можно ожидать от командования всех уровней, начиная с самого высшего. Лучше положить весь полк, но выполнить приказ, точно в назначенный день взять населенный пункт; за потери никто не спросит, а за невыполнение приказа — расстрел. К тому же невероятно низкая цена человеческой жизни легко объяснялась всей большевистской идеологией с ее акцентом на коллектив и пренебрежением к отдельной личности. «Мы за цену не постоим» — и не постояли. И одно из самых чудовищных преступлений Советской власти — это утвержденный ею общий бесчеловечный стиль обращения с человеком, который в конкретных условиях Отечественной войны вылился в абсолютное пренебрежение к людским потерям.

«За Родину, за Сталина!» — так кричали в кинофильмах поднимавшиеся в атаку бойцы. На самом деле все было не так. По рассказам как «моих» раненых в госпитале, так и тех многих фронтовиков, с которыми я разговаривал впоследствии, сами солдаты, кроме матерных слов, ничего не кричали, но вот командирам и политработникам, поднимавшим их в атаку, было строго прика-

зано выкрикивать официально утвержденный лозунг — и ничего другого, никаких вариаций, никакой отсебятины, только вот это — «За Родину, за Сталина!». Кстати сказать, статистика впоследствии установила, что в среднем пехотинец шел в атаку не более трех раз: либо ранен, либо убит. Командир взвода — знаменитый «ванька-взводный» — во время наступления жил не более нескольких дней; горькой была участь танковых десантов (автоматчики, сидевшие на танках во время атаки), о которых написал в журнале «Знамя» поэт Борис Куняев, сам бывший десантник: «Когда ревут стальные полчища, взвалив десант на бычьи спины, то командир живет лишь полчаса, а остальные — половину».

Рассказы раненых, открывших мне глаза на правду войны, настолько потрясли меня своим контрастом с официальной пропагандой, что уже тогда, весной 42-го, во мне стало зарождаться недоброе чувство к власти, в которой я разглядел лживость и жестокость. Это во многом повлияло на мое последующее нравственное формирование.

Потеряв работу в госпитале, я задумал было продолжать учебу — ведь время шло, война явно затягивалась. Я подал документы в автомобильный техникум и был принят, но проучился лишь несколько дней, потому что учащимся полагалась карточка служащего, т. е. 500 граммов хлеба на день, и я почувствовал, что на этот паек я не выживу. Из-за лишних ста граммов хлеба я опять поступил на работу — и опять по знакомству, через родственников, подмастерьем в сапожную мастерскую. Вряд ли, конечно, я стал бы сапожником в любом случае, но получилось так, что я и не успел освоить азы сапожного дела: пришла разрядка на трудфронт. Во время войны

мобилизации на трудфронт подлежали мужчины и женщины от 16 до 55 лет, и уклониться было нельзя: на каждое предприятие время от времени приходила такая разрядка — отправить на трудфронт одного, или двух, или трех человек, а кого именно — решало руководство предприятия. Из сапожной мастерской, разумеется, послали самого юного и неквалифицированного — меня.

Направили меня на склад металлолома на Хорошевском шоссе. Я должен был таскать и сортировать железо различного формата, трубы всевозможных диаметров и т. д. Единственное, что мне запомнилось оттуда, — маленький эпизод. Мать давала мне с собой кусок хлеба (черного, конечно; белого хлеба я ни разу не видел за всю войну), граммов двести, завернутый в белую тряпочку. Это был мой обед, и полдня я работал, перетаскивая железо, и время от времени посматривал на хлеб в тряпочке, положенный где-нибудь на груду металла так, чтобы было видно и чтобы предвкушать удовольствие, которое я получу, когда решу, что настало обеденное время. Рабочий день во время войны повсюду был двенадцатичасовой, и я терпеливо ждал с начала работы, с восьми часов, примерно до часу дня, прежде чем не спеша, со вкусом сжевать «обед». И вот однажды я задел трубой лист металла, на котором лежал хлеб, и он упал в расщелину между двумя громадными грудями листового железа. Я смотрел на белую тряпочку, лежавшую далеко внизу на земле, и плакал так, как, наверное, не доводилось плакать с самого раннего детства.

Недели через три я вернулся в сапожную мастерскую, но мне сразу дали понять, что я — кандидат на следующую отправку на трудфронт. Я тут же взял расчет.

Перспектива опять что-то грузить или таскать совсем не улыбалась мне хотя бы потому, что физически я уже здорово ослаб от недоедания, почти «дошел», как тогда говорили, и в этом была проблема моего трудоустройства. С одной стороны, тяжелый физический труд мог совсем доконать меня, с другой — нужна была рабочая карточка, а не «служащая», лишние сто граммов хлеба в день значили просто невообразимо много. Что же делать?

## ПОД ЗЕМЛЕЙ

Ура! Наконец-то, кажется, удача мне улыбнулась. В пятый раз (опять же, конечно, благодаря родственникам, «по благу») я устраиваюсь на работу, теперь уже такую, что карточка рабочая, и не просто рабочая — 600 граммов, — а наилучшая из всех возможных: ГЦ (горячий цех), а труд вместе с тем не физический, а умственный. Как возможно такое чудо? А вот как: меня берут на работу в «Теплосеть Мосэнерго» на должность слесаря по обслуживанию тепловых сетей, но слесаря дежурного: моя обязанность — сидеть на пульте с приборами, отмечать все данные о температуре в сетях на различных участках, вести журнал и т. д. Лучше просто не придумаешь! Все работники «Теплосети», кроме служащих в центральной конторе, получали карточки ГЦ, даже если они непосредственно в горячем цеху и не работали.

«Too good to be true», как говорят англичане, — это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Если бы я только знал, на какую каторгу я себя обрекаю и на сколько

лет, я бы согласился жить не на кило, а на полкило хлеба в день. Для начала меня в порядке временной работы поставили на месяц помощником газосварщика; как я уже упоминал, именно в это время я и съездил в Воронеж в неудачной попытке вывезти оттуда оборудование теплоэлектростанции. Работа была тяжелая: вдвоем со сварщиком мы носили на плечах пятипудовый баллон с кислородом, а кроме того, я, уже один, таскал бак с водой и карбид; запах карбида я с тех пор не переношу. Потом мне поручили — опять-таки в порядке временного задания — работать помощником изолировщика. Тоже не сахар: класть изоляцию (очес) надо было на подземные трубы, в которых горячая вода или пар были, правда, отключены, но другие трубы в той же камере функционировали, и жара была сумасшедшая; достаточно сказать, что приходилось надевать шапку-ушанку, чтобы уши не «сгорели». И так — двенадцать часов в сутки.

Потом я участвовал в прокладке тайного туннеля от Кремля под Москвой-рекой. Поскольку наше предприятие располагалось рядом с Кремлем, нам и было поручено это сверхважное и абсолютно секретное дело. Многие об этом не знают до сих пор, но я — живой свидетель, я своими руками делал туннель, по которому в случае чего обитатели Кремля могли перебраться куда-то на другую сторону реки.

Но вот «временные поручения» на период испытательного срока кончились, я позанимался недели три на курсах дежурного слесаря и готов был сесть за пульт. Не тут-то было! Начальство объявило, что не хватает слесарей-обходчиков тепловых сетей, а дежурными могут работать и женщины. Так я стал обходчиком.



Каждый из читателей наверняка видел клубы пара, вырывающиеся вдруг из колодцев подземных коммуникаций. Это и есть тепловые сети. От теплоэлектростанции пар или горячая вода поступают по трубам к абонентам. И наша основная работа состояла в том, чтобы не допустить утечек, все время подкручивать гайки на задвижках и сочленениях труб. Слесари-обходчики работали попарно, старший и младший. Наш участок состоял из магистралей, тянувшихся от главной ТЭЦ на Раушской набережной, напротив Кремля, ко множеству абонентов, в число которых входили университет, Ленинская библиотека, гостиницы и т. д.

Отрабатывать карточку ГЦ было нелегко. В некоторых колодцах была такая температура, что сразу покрываешься потом, как только туда спустишься, даже если ничего не делаешь, а уж если надо работать — закручивать изо всех сил огромные гайки или бить кувалдой по фланцам сочленений — можно себе представить, какой это кромешный ад. Сколько раз, вылезая из камеры на воздух, обессиленный, мокрый насквозь, я мечтал о том, чтобы простудиться и получить бюллетень (больничный). Но нет, никакая холера не брала.

Почему я не ушел с этой работы? Нет, на этот раз уже уйти было нельзя. Мосэнерго было так называемым оборонным предприятием, поскольку обеспечивало столицу теплом и электричеством, и его работники автоматически зачислялись в систему МПВО (Московская противовоздушная оборона), несли дежурство по охране Москвы от воздушных налетов; при этом они имели бронь от призыва в армию. Из этой организации могли уволить, но самому подать заявление об уходе было невоз-

можно, действовали законы военного времени. А я уже был совершеннолетний: в мае 42-го я получил паспорт, где в «пятом пункте» было указано: «русский» (каковым я, естественно, и являюсь, несмотря на пестроту моих «кровей».) Для того чтобы меня не записали немцем или евреем, матери пришлось приложить немалые усилия: она достала плитку шоколада (как? за какие деньги? в разгар войны — фантастика!) и подарила паспортистке в домоуправлении. Вскоре я стал военнообязанным, начал проходить Всевобуч (Всеобщее военное обучение), где учился стрелять из винтовки и маршировать, и был, как и все работники Мосэнерго, зачислен в МПВО. Это означало, как мне с удовольствием объяснил недолюбливавший меня за физическую слабость и некую «интеллигентность» мастер района, что я обязан переселиться в казарму и ночевать там, как и все прочие рабочие.

Вот это уже привело меня в ужас. Я жил вдвоем с матерью, строчившей с утра до поздней ночи белье для солдат на своей швейной машинке, и каждый из нас был для другого единственной опорой и другом. Жизнь в казарме означала, что я смогу видаться с матерью раз в неделю (выходной день был только в воскресенье), получив увольнительную. Но была и другая причина: в своем трудовом коллективе я ощущал себя чужим, мне было тяжело и неудобно. В свои шестнадцать лет я был намного моложе всех остальных рабочих, самому молодому из которых было за тридцать. Все они были малограмотными, выходцами из деревни, переселились в Москву в тридцатых годах, после коллективизации, хотя кулаков как таковых среди них, конечно, не было (те были давно высланы в Сибирь). Неквалифицированная рабочая сила,

вчерашние крестьяне, они не смогли найти себе в Москве ничего, кроме самой тяжелой и грязной работы. Полугодные, не имевшие семей, озлобленные на жизнь, угнетаемые комплексом неудачников, они вечно ссорились и огрызались друг на друга, сплошной мат звучал беспрерывно. Их интеллектуальный и культурный уровень был удручающе низок, и мне было тягостно их общество в течение рабочего дня, а уж представить себе, что я должен и все вечера проводить в казарме в их компании — это было выше моих сил.

К счастью, я узнал, что мастера района буквально через несколько дней должны были перевести в другой район, а на его место назначить как раз чуть ли не единственного человека, относившегося ко мне с теплотой и сочувствием (у остальных моя слабость и непригодность к тяжелой работе вызывали лишь раздражение и насмешки). Дело в том, что у этого рабочего был брат на фронте, и он очень переживал за него, буквально жил военными сводками, как будто они могли помочь ему узнать, жив ли еще его брат или нет. Узнав, что я внимательнейшим образом слежу за ходом военных действий и отмечаю дома флажками линию фронта, он проникся ко мне уважением и все время обсуждал со мной военные дела. Я даже принес для него из дому карту, выдранную из школьного учебника, и показывал ему, где идут бои. Надо сказать, что в географии мои коллеги совсем не разбирались; помню, когда освободили Великие Луки, изолировщик Деев, придя утром в мастерскую, воскликнул с энтузиазмом: «Ну что, слышали? Великие Луки взядены! Говорят, это столица Киева!»

Одним словом, у меня были все основания предполагать, что новый мастер района не заставит меня переходить,

дить на казарменное положение. Но надо было как-то переждать несколько дней, ведь еще не ушедший мастер потребовал от меня переехать в казарму в трехдневный срок. Необходимо было получить больничный лист. Я решился: вскипятил дома, когда матери не было, чайник воды и, стиснув зубы, вылил себе на ногу, предварительно надев шерстяной носок, чтобы кипяток подольше задержался и подействовал бы наверняка. Вся кожа сошла, и я «бюллетенил» дней десять. За это время мастер района сменился, и новый даже не заводил разговор о моем переселении в казарму. Мой план сработал: путем самоистязания я избавился от казармы и остался дома с матерью.

Здесь уместно будет сказать несколько слов о, если можно так выразиться, политической физиономии рабочих, в среде которых я оказался. Я имею в виду не только малограмотных слесарей-обходчиков тепловых сетей, в непосредственном окружении которых я находился большую часть времени, но и других рабочих Мосэнерго, с которыми я общался, — механиков, шоферов, грузчиков и пр., а также слесарей, работавших в котельных предприятий-абонентов. Ведь помимо основной работы — в подземных колодцах — я с моим напарником Потовиным каждый день заходил в котельные МГУ, гостиниц и других учреждений, которые мы обслуживали, для того чтобы проверить, нормально ли поступает вода. Сидели, курили самокрутки с махоркой, обсуждали положение на фронтах. Так вот, что меня невероятно поразило с первых же дней — это отношение рабочего класса к Советской власти. Я по своей школьной наивности полагал, что, раз мы живем в государстве рабочих и крестьян,

трудовой народ, безусловно, чувствует себя хозяином страны и беззаветно предан партии и правительству. Все оказалось совсем не так.

Когда я в первый раз услышал, как сварщик в присутствии других рабочих покрыл матом Сталина, я остолбенел и оглянулся по сторонам, но никто и ухом не повел. Вскоре я убедился, с какой неприязнью, если не просто с ненавистью, относятся так называемые простые люди к своей родной рабочей власти. Правда, прямую брань в адрес лично Сталина я слышал не часто — люди остерегались слишком развязывать языки, — но в целом власть ругали безбожно. Довольно скоро я понял, в чем дело: выходцы из деревни рассказывали о коллективизации, и обобщенный типичный рассказ звучал примерно так: «Какие мы были кулаки? Ну лошадь была, корова — в общем-то середняки. Так нет, нас подкулачниками объявили, все отняли. Кто побогаче, так тех вообще кулаками назвали, хотя какие они кулаки? Не мироеды, не кровососы, просто крепкие, хорошие хозяева; их прямо в Сибирь со всей семьей. А нас в колхоз загнали, все, что наживали своим горбом, — псу под хвост. А кто это все делал? Голытьба, рвань, пьяницы, лодыри, они нас всегда ненавидели, да еще пуще всех — комсомольские активисты, шпана молодая, к крестьянскому труду не привычная, они только о своей карьере думали, в партию лезли, во власть рвались». Какие чувства могли эти люди испытывать к Советской власти?

При этом они вовсе не желали нашего поражения в войне и не ждали прихода немцев, хотя были и такие. Слесарь нашего района Косюк, родом с Харьковщины, все время говорил, что Советской власти не жить; в конце

концов он договорился до того, что за ним пришли, и больше его не видели. Такие же настроения были и у части других рабочих, и я не сомневался в том, что, попади эти люди на фронт, они бы сразу перешли к немцам и служили бы полицией и старостами. Но все же подавляющее большинство отделяло понятия «Советская власть» и «Россия» и искренне радовалось при сообщениях об освобождении наших территорий от немецкой оккупации. Это не уменьшало их ненависти к власти. Ни разу за все годы моей рабочей карьеры я не слышал ни от кого хоть одного хорошего слова о советской системе. К концу войны вдруг появилась надежда на то, что после победы многое изменится. Мой напарник Потовин все время говорил мне, что союзники якобы в обмен на военную помощь, которую они нам оказывали, поставили условие: разрешить после войны «свободную торговлю и вольный труд». Многие верили в это и мечтали о грядущих переменах, возлагая надежды именно на Америку и Англию. Пусть останется Сталин, пусть останется партия, но главное — вот это: свободная торговля и вольный труд.

Итак, я очень скоро понял, что «советский патриотизм» — это миф, если речь идет о трудовом народе. Русский патриотизм, борьба с чужеземными захватчиками — это другое дело. Но ведь это было и раньше — вспомнить хотя бы войну 1812 года. Осознав все это, я стал задумываться: что же это за власть такая, которую народ не поддерживает даже в разгар войны, когда речь идет о том, быть или не быть России? Мое политическое мировоззрение стало формироваться все более четко. Сначала — рассказы раненых, потом — знакомство

с тем, чем «дышит» рабочий класс. Органические пороки нашей системы, как я мог бы это сформулировать значительно позже, становились для меня несомненными.

## ЗА РУЛЕМ ГРУЗОВИКА

Удобно расположившись на покрытой толстым слоем изоляции трубе водяного отопления в колодце, в то время как мой старший напарник похрапывает на соседней трубе, я достаю из кармана моего грязно-синего комбинезона книжку Конан Дойля на английском языке и принимаюсь читать при тусклом свете, доходившем из открытого люка. Это были мои лучшие, хотя — увы! — весьма редкие часы за время работы в «Теплосети». Ведь когда не было ни аварий, ни утечек воды, у нас оставалось свободное время, и мы, завершив обход магистралей и абонентов, отправлялись в излюбленную камеру — в палисаднике перед тогдашним зданием американского посольства на Манежной площади. Посольство тоже было нашим абонентом, эта камера была самая спокойная, никто наверху не ходил, лишь милиционер прохаживался по палисаднику, и я время от времени, пока старик Потовин спал, отрывался от чтения, чтобы постучать гаечным ключом по металлической задвижке: пусть милиционер услышит и удостоверится, что мы работаем, что-то ремонтируем. Такой «кайф» мы могли себе позволить в среднем раз в неделю.

К английскому языку я приобщился, как я уже рассказывал, совершенно случайно, готовясь поступить

в спецшколу, и с тех пор он стал моим вторым языком. У меня вообще оказались способности к иностранным языкам, они мне давались легко, и я записался в библиотеку иностранной литературы на Петровских линиях. Хотя французский я знал не хуже английского — как-никак учил его в школе четыре года, — почему-то я предпочитал брать английские книги. За время моей работы «под землей» я смог перечитать почти всего Джека Лондона, Конан Дойля, Честертона, множество детективных романов. Когда я сейчас это вспоминаю, мне самому это кажется странным: как мог юноша в такое голодное время, при такой тяжелой физической работе по двенадцать часов в сутки шесть дней в неделю, без всяких отпусков (во время войны отпуска были отменены) находить силы читать английские книжки?

Ведь с едой действительно было плохо все время; всю войну я мечтал о том, как наступит день — сразу же после войны, — когда можно будет пойти и купить целую буханку хлеба и съесть ее медленно, с наслаждением, без масла, даже не запивая водой, чтобы подольше ощущать этот дивный вкус простого черного хлеба (вкус белого хлеба я давно забыл). И еще всю войну я мечтал, перечитывая свою «Книгу о вкусной и здоровой пище», о картошке: ведро, целое ведро — что может быть лучше?

Надо сказать, что со второй половины 42-го года питание улучшилось: американцы стали присылать продовольствие, и в столовой «Теплосети» на Ильинке появилась тушенка. Вот что нас спасло тогда — американская тушенка! После баланды и пшенной каши — тушенка, райское блаженство! Ее называли «второй фронт»: ведь



ни в 42-м, ни в 43-м союзники так и не открыли второй фронт, которого мы все так ждали, — так, но крайней мере, у нас появился американский провиант. Я чувствовал, что сил у меня прибавляется с каждым днем; хотя я был худой, как скелет, на щеках стал появляться румянец — молодой организм брал свое. Конечно, все равно еды не хватало, недоедание было постоянным, но уже чувствовался перелом к лучшему.

Правда, избежать болезней от плохого питания не удалось. Я дважды лежал в больнице с дизентерией. Это была не первая серьезная болезнь в моей жизни: в восьмилетнем возрасте я заболел дифтеритом и попал в Боткинскую больницу. В те времена дифтерит был смертельной болезнью; в детской палате, где я лежал, умерли все дети, кроме меня. Мать много раз рассказывала мне, как она пришла навестить меня на третий или четвертый день и обнаружила, что детская палата закрыта, двери заколочены досками, и сторож сказал: «Заколотили палату, все дети померли». Легко представить себе состояние моей матери! Но материнское чутье толкнуло ее к взрослому отделению, и там она нашла меня; оказалось, что меня, как единственного оставшегося в живых, перевели к взрослым.

И вот теперь, во время войны, меня свалила дизентерия, и я лежал в больнице, переоборудованной из школы, — моей собственной школы, где я учился семь лет, на Садово-Кудринской, между зоопарком и планетариумом, более того — в моем же классе, ставшем одной из палат! А на следующий год — снова дизентерия, и снова больница. Но — молодость, молодость! Все прошло, и я опять под землей, в своих колодцах.

Помню, однажды я вылез из колодца около Исторического музея, чтобы отдышаться после ремонтных работ, и сидел, свесив ноги в люк; вдруг меня кто-то окликает. Смотрю — это мой школьный товарищ, смотрит на меня с изумлением. Разговорились; он учился в техникуме. Когда я заметил, как он глядит на мой комбинезон, измазанный грязью всех цветов радуги, я сказал, что тоже надеюсь в будущем возобновить учебу; покачав с сомнением головой, Борис ответил: «Думаешь, ты сможешь после всего этого опять засесть за логарифмы?» Я ничего не сказал в ответ и молча нырнул обратно в люк, переполненный горечью и обидой. А может быть, я и в самом деле уже обречен вот на такую жизнь? Буду в пятидесятиградусной жаре стучать кувалдой и крутить гайки под землей? Зачем тогда нужны были пятерки по литературе, истории и математике, зачем я читаю в подлиннике английские книги?

Я уже военнообязанный, прошел полный курс допризывного военного обучения и получил специальность минометчика. В декабре 43-го происходит призыв в армию ребят 26-го года рождения, и я с бьющимся сердцем иду в районный военкомат. Я ждал этого дня все последние месяцы; сейчас это, может быть, несколько странно читать, но я и на самом деле по мере приближения срока призыва все больше и больше мечтал об отправке на фронт. И дело, конечно, вовсе не в тяге к армейской службе; напротив, я всегда чувствовал, что не смогу вписаться в армейский уклад жизни с его системой беспрекословных приказов, с чинопочтением, муштрой и презрением сержантов к интеллигентам, и впоследствии, на военных сборах, это полностью подтвердилось. Но тогда

я об этом думал меньше всего, мне настолько обрыдла, опротивела моя работа, я настолько устал физически и еще больше морально, что фронт казался избавлением. Кроме того, естественное мальчишеское стремление «по-бывать на войне», романтика, полное отсутствие мысли о том, что тебя могут убить или искалечить.

В военкомате меня облили холодным душем: «Вы находитесь в составе Московской противовоздушной обороны, вы — боец внутреннего фронта, работаете на оборонном предприятии, получите бронь от призыва и отправляйтесь на свое место». Я тут же подал заявление о добровольном отказе от брони, но его даже не передали на рассмотрение военкому. Итак, я остался в Москве.

Но перемены все же наступили. Началось с того, что меня вызвали в отдел кадров. Сидевший рядом с кадровиком человек стал подробно расспрашивать меня о расположении магистралей, которые я обслуживал, особенно интересуясь линией, которая шла в Кремль. Дело в том, что Кремль тоже был одним из наших абонентов, хотя, конечно, туда нас и близко не подпускали, внутри Кремля трубы обслуживали собственные слесаря. Но один из колодцев, которые мы периодически проверяли, находился прямо посередине Красной площади, оттуда и шла линия в Кремль. Залезать в этот «особый» колодец мы могли только в присутствии «представителя инспекции», т. е. сотрудника госбезопасности: после того как я крючком открывал чугунную крышку люка, «представитель» снимал пломбу, стоявшую на другой, нижней, крышке, и ждал наверху, пока мы в камере работали, потом опять вешал пломбу. Так вот, именно этим сектором обслуживаемого нами участка и интересовался расспрашивавший

меня человек, и через несколько дней я вдруг узнаю, что меня переводят из первого района «Теплосети» в четвертый, на шоссе Энтузиастов, на окраину Москвы, причем без всякого объяснения.

Я вначале не понял, в чем дело, и из кабинета начальника района, объявившего мне об этом приказе, позвонил главному инженеру «Теплосети». «Вы не понимаете сами, в чем дело? Зайдите тогда на следующей неделе». Но я уже и не стал заходить к нему, потому что когда на следующий день я забирал из шкафчика свои вещи, мастер района, убедившись, что никого вокруг нет, шепнул мне: «Говорят, тебя переводят потому, что ты вроде поляк какой-то». Тут я сразу все уразумел. Какой там поляк? Просто-напросто почти два года понадобилось органам госбезопасности, чтобы узнать, что один из слесарей, обслуживающих магистраль, ведущую в Кремль, — родной сын немки. Вот и все. Конечно, вряд ли они боялись, что я смогу по трубам с паром запустить в Кремль бомбу, это была простая бюрократическая мера, проявление бдительности. В первый раз в жизни я подвергся дискриминации со стороны госбезопасности.

Итак, я стал работать у черта на куличках, но изменилось лишь то, что гораздо больше времени приходилось тратить на проезд до места работы. А через несколько месяцев я вновь услышал слово «трудфронт». На этот раз меня отправили не на склад металлолома, а на гораздо более серьезную работу — на разгрузку дров для Москвы.

Все жители столицы отапливали свои жилища дровами, которые распределялись в централизованном порядке по талонам. Ежедневно в Москву приходили составы

с лесом, которые разгружались на специально созданных базах, куда были подведены железнодорожные пути; таких баз было, кажется, около двадцати. Я был направлен на базу за Павелецким вокзалом, сроком на месяц, но проработал там почти пять месяцев — по той причине, что «пошел на повышение» на дровяной базе, и тамошнее начальство договорилось с «Теплосетью», чтобы задержать меня подольше. А «повышение» состояло в том, что, проработав месяц рядовым грузчиком, я стал бригадиром, а затем — «командиром роты». Звучит комично, но объяснялось это громкое военное звание тем, что все бригады, работавшие на данной базе, были объединены в отряд, именовавшийся ротой. В моем подчинении оказалось более пятидесяти человек, главным образом женщин, в возрасте от 16 до 55 лет. Можно вообразить, каково приходилось мне, восемнадцатилетнему мальчишке, которого, конечно, эти женщины — мобилизованные работницы различных предприятий — и в грош не ставили, по которому вынуждены были подчиняться. Особенно трудно было с бригадирами — ушлыми, тертыми, разбитными бабами среднего возраста, бойкими на язык и ничего не боявшимися. Сколько же я всего насмотрелся и наслушался за эти пять месяцев, сколько скандалов и потасовок видел, сколько склок между бригадирами пришлось разрешать! До тех пор я работал в «Теплосети» в исключительно мужской компании, с женщинами не сталкивался вообще; зато теперь я получил великолепную возможность познакомиться с советской женщиной во всей ее красе...

Я пишу это и одергиваю себя — нет, не надо так, свысока... Разве они были виноваты в том, что стали

такими, эти жертвы жуткой, убогой жизни, ничего не видевшие, кроме тяжкого труда, невыразимой бедности, многочасовых стояний в очередях, беспрерывных забот о прокормлении детей, часто терпевшие побои от пьяниц-мужей, росшие в атмосфере грубости, хамства, жульничества, с детства приучившиеся выгадывать по мелочам, ловчить, крутиться и изворачиваться, огрызаться и материться... Я вскоре понял все это; сначала я был с ними резок и крут, даже жесток (еще бы! мальчик, вдруг получивший власть над десятками людей), но постепенно стал смягчаться. К концу срока я уже ладил со всеми и даже, кажется, стал популярным начальником — думаю, потому что старался все делать «по справедливости», распределять нагрузку равномерно, не выделял «любимчиков». А ведь в моих руках было самое могучее орудие воздействия на подчиненных — продовольственные талоны!

Все откомандированные на трудфронт получали продовольственные карточки по месту своей основной работы; так, я по-прежнему получал свой ГЦ, драгоценный килограмм хлеба в день. Но командиру роты выдавали также некоторое количество талонов УДП («усиленное дополнительное питание»; в народе это называли «ум-решь днем позже») для поощрения лучших работников. Они раздавались по усмотрению командира, и легко себе представить, какие возможности для произвола и фаворитизма тут открывались! Я никогда не злоупотреблял этой привилегией, что было, конечно, замечено и оценено, особенно на фоне того, как вели себя командиры некоторых других баз, что было широко известно на всем «дровяном фронте».

Впервые в жизни я получил возможность чем-то гордиться и впервые почувствовал, как хорошо становится на душе, когда делаешь человеку добро.

По окончании работы на дровяной базе я вернулся в «Теплосеть». После труда на свежем воздухе — опять грязные колодцы и проклятая, невыносимая жара! Я снова впал в отчаяние, вновь подал в военкомат заявление с просьбой отправить меня добровольцем на фронт и вновь получил отказ. Но вскоре произошла новая, радикальная перемена в жизни: автобазе «Теплосети» пообещали выделить через несколько месяцев еще одну грузовую автомашину, а водителей найти было в то время нельзя, все были на фронте, и начальство решило обойтись своими силами — подготовить шофера из числа собственных работников. Выбор пал на меня, как на самого молодого из слесарей; и вот в один прекрасный день — поистине прекрасный! — я получаю направление на трехмесячные курсы шоферов.

Счастье, которое я испытал при этом известии, просто невозможно описать. Гёте говорил, что в его долгой жизни было всего одиннадцать счастливых дней. Не знаю, сколько их было у меня, да и что такое счастье? Какие тут критерии? Но знаю точно: в этот весенний день 45-го года я был счастлив так, как никогда в жизни. Ни до, ни после этого дня — никогда! Возвращаясь домой, чтобы сообщить эту весть матери, я даже не мог идти пешком — я бежал, бежал как только мог от метро «Маяковская» до нашего дома в Ермолаевском переулке. Я бежал и пел, кричал, меня распирало от счастья, прохожие, наверное, смотрели на меня как на сумасшедшего. Ура! Я буду шофером! Конец этой окаянной подземной

работе, этим двум с лишним годам каторги! Да и не только в этом дело — ведь ясно, что такое для мальчишки, да еще в те времена, сесть за руль, водить автомобиль!

Шоферские курсы помещались на Балчуге. Я оформил бумаги в канцелярии, девушка-секретарь сообщила, что «теоретические занятия» начинаются через два дня. Она добавила, что нужна еще справка от медкомиссии, и дала мне направление. Я пошел на эту комиссию, в поликлинику на Страстном бульваре, но там была большая очередь, и я в моем возбужденном состоянии не мог сидеть и ждать. Придя через два дня на первое занятие по изучению устройства автомобиля, я зашел в канцелярию и сказал секретарю, что я решил подождать, пока не схлынет очередь в поликлинике. Она ответила: «Да можно и не спешить, главное — чтобы справка была представлена к моменту окончания курсов». Успокоенный этим, я вообще забыл о медкомиссии, погрузившись в автомобильную учебу, а тут еще война кончилась, столько радости, ликования, да еще я впервые в жизни попал в молодежную компанию, которую сколотил мой школьный друг, впервые познакомился с девушками — разве тут до справки, все из головы вылетело...

Так прошел месяц, и я вспомнил о медкомиссии, пошел наконец в поликлинику. Мне дали карточку, с которой я должен был обходить всех врачей, при этом предъявляя каждому из них свой паспорт — видимо, для предотвращения какого-либо обмана. И тут началась трагикомическая эпопея, в истинность которой, боюсь, читателю даже трудно будет поверить, но это чистая правда: я уже прошел нескольких врачей, и вдруг в глазном кабинете при проверке оказывается, что одним глазом



я разбираю только три верхние строчки, и врач говорит: «Что с глазом было?» — «С каким глазом?» — «Что, сам не знаешь, с каким? С левым».

С детства у меня было превосходное зрение, но вероятно, за годы работы под землей, в колодеце, куда просачивались какие-то газы, и образовалась близорукость левого глаза. Я этого даже не замечал ввиду стопроцентного зрения правого глаза; даже сейчас, спустя больше чем полвека, я читаю и вожу машину без очков. И в военкомате на медкомиссиях меня всегда признавали годным — и вот тебе на! А дело в том, что, хотя война уже кончилась, для водителей все еще оставались в силе правила военного времени, в частности нужно было иметь отличное зрение — ведь в войну машины ездили с выключенными фарами. Врач не имела право признать меня годным и тут же написала в карточке: «Негоден по зрению». Я вышел из поликлиники шатаясь, ничего не видя перед собой. Все. Конец счастью. Мне не быть шофером. Обратно под землю, в колодец. Впору повеситься!

Но я не долго унывал. То же самое упрямство (или вера в свою звезду?), которое четырьмя годами раньше побудило меня изучать английский, чтобы попасть в спецшколу, проявилось во мне и на этот раз. Судьба играет со мной злую шутку? — так я опять обману судьбу, я не сдамся. И я пошел к одному из моих школьных товарищей, Сергею, все ему рассказал и изложил свой план: мы переклеиваем на мой паспорт его фотокарточку, подрисовав при этом ту часть круглой печати, которая должна быть на фото, и он с тем же моим направлением идет по всем кабинетам поликлиники как будто в первый раз.

Он согласился. Мы сделали все так, как я задумал. Сергей идет в один кабинет за другим — все нормально. Вот он входит в кабинет окулиста, я стою за дверью, прислушиваюсь. Пауза. Вдруг я слышу голос врача: «Мирский?» Опять пауза, и потом я слышу: «А ну вон отсюда, пока я милицию не позвала!» Мы засыпались. Врач запомнила мою фамилию,- посмотрела картотеку — и все ясно. Сергей выскакивает из кабинета красный как рак, с бесполезной карточкой в руке, я говорю ему: «Я все слышал. Уматываем».

Что же теперь делать? В Москве только одна медкомиссия для шоферов, только в этой поликлинике, и врач, конечно, уже не забудет мою фамилию. А время идет: пока мы готовили нашу «операцию», прошло еще недели две. Мать, которой я теперь уже все рассказал, в ужасе: «Выходит, ты уже прогулял полтора месяца? Ведь придется возвращаться в «Теплосеть», с какими глазами? Ты подвел начальство, ведь они скоро получают машину, а водителя нет. Да тебя в тюрьму посадят за такой прогул. Иди скорей прямо к самому директору, скажи, что ты по своей беспечности так долго не ходил в поликлинику за справкой, умоляй его, он тебя простит». Да, она права, делать нечего, может быть, директор простит, я вернусь в четвертый район «Теплосети» на шоссе Энтузиастов, надену свой старый комбинезон, возьму в руки крючок и газовые клещи. А как рабочие встретят меня? То-то будет насмешек...

Удар по самолюбию, удар по всем мечтам! Я не сплю несколько ночей — и в конце концов решаю: нет, все равно не сдамся! Лихорадочно думаю: а что если достать таблицу с буквами, выучить все наизусть, пойти

опять к врачу и сказать, что я занимался по особой системе и зрение улучшилось? Но нет, я же не смогу разглядеть, в какой ряд она будет тыкать указкой...

Идет день за днем. Жду неизвестно чего, надеюсь неизвестно на что. Уже начинаются практические занятия, я сажусь за руль учебного грузовика, веду его, рядом сидит инструктор. Получается! Не очень, конечно, но получается. Какое счастье — управлять автомобилем! А на сердце кошки скребут — к чему все это? Все равно без справки не допустят до экзамена. Секретарь уже спрашивает насчет справки, я как-то отбредываюсь, что-то придумываю. Может, подкупить ее — но откуда взять деньги, да и не умею я давать взятки. Выхода нет. Трехмесячные курсы заканчиваются, за такой прогул теперь меня уже точно посадят в тюрьму. Да, выхода нет.

Но выход нашелся! Я узнаю, что медкомиссию перевели в другую поликлинику, где-то около Разгуляя, и там другой персонал, врач не будет знать мою фамилию, всю операцию с переклеиванием паспорта можно повторить. Я так и делаю, но на этот раз в качестве подставного лица беру уже не Сергея — он травмирован тем случаем, мог за это в тюрьму попасть, — а другого школьного товарища. Мы переклеиваем на мой паспорт его фото, идем в новую поликлинику, он вполне благополучно проходит глазной кабинет — и вдруг «заваливается» в кабинете уха-горла-носа. Оказывается, у него со слухом то же, что у меня с глазами, хотя и он нормально проходил комиссию военкомата. И вот у меня на руках две карточки: в одной я негоден по зрению, в другой — по слуху.

Вот тут уж остается только руки опустить. Ну не судьба — и все! Выбрать из всех друзей глуховатого!

И опять время идет, надежды тают. Из гаража «Теплосети» уже приходят, говорят: «Машина пришла, новая «полупторка», давай быстрее». Приближается день экзамена на получение прав. Я пропал; вместо «полупторки» меня ждет тюремная камера. Мать чуть не сходит с ума.

И вот тогда, в полном отчаянии, я решаюсь на третью и — уже ясно — последнюю попытку. Я обращаюсь к соседу по коммуналке, парню на три года старше меня, фронтовику, раненному под Сталинградом. Он уже учится в горном институте, но боится, что на сессии не сдаст английский, совсем нет способностей к языку. Я обещаю сдать за него экзамен по английскому в обмен на прохождение медкомиссии. В третий раз клеится чужая фотография на мой паспорт, идем в поликлинику на Разгуляе. А вдруг и здесь врач запомнил мою фамилию? Нет, не запомнил. Сосед проходит все кабинеты, и вот она у меня на руках — справка. «Годен к управлению автомашиной». Удалось, я победил, мое упорство вознаграждено. Я вручаю секретарю справку, сдаю экзамен, получаю водительские права — и с торжеством, с огромным, невероятным чувством облегчения залезаю в кабину полупторатонного грузовика «ГАЗ-2А». Я — шофер. Началась новая жизнь.

Я думаю иногда: а что было бы, если бы я дрогнул, покорился судьбе — ведь обстоятельства были так явно против меня... Вся жизнь сложилась бы, вероятно, по-другому. Даже если бы я не попал в тюрьму за прогул, а просто возобновил бы свою работу слесаря-обходчика, а потом уволился бы (война кончилась, и вскоре было разрешено уходить с работы по своему желанию) и пошел учиться — все равно, той цепочки событий, которая

стала разворачиваться в последующие десятилетия, уже не было бы, а была, бы какая-то иная. Поступил бы я в какой-то другой институт, и в другом году, и в иное место попал бы потом на работу, и не встретил бы именно тех людей, которые впоследствии стали мне близкими... Но ведь это — только часть более общей, обширнейшей проблемы: в какой мере человек сам создает свою жизнь, свою судьбу? Написано ли у него на роду, что вот именно так, а не иначе сложится его жизнь, или же он творит ее собственными усилиями, и все зависит от того, сделает ли он тот или иной шаг или нет, совершит ли роковую ошибку или вовремя остановится, не дойдя до той черты, за которой все пойдет под откос?

В древности знаменитый иудейский религиозный вождь и мудрец, раввин Акиба, сказал: «Все предопределено, но выбор есть». Как это понимать? Здесь кроется некое противоречие. На первый взгляд ясно: где-то на небесах начертано, что жизнь человека сложится вот так, и в какой-то момент он неизбежно сделает выбор, который изменит — к лучшему или худшему — всю его судьбу, но сам он этого знать не может, у него есть свобода выбора, и он взвешивает, прикидывает: выбрать эту профессию или ту, эмигрировать из своей страны или нет, согласиться занять такой-то пост или отказаться, вступить в эту партию или же в другую, пойти воевать за красных против белых или остаться дома, жениться на этой женщине или не торопиться — и так далее... Но ведь если «все предопределено», то выбора-то настоящего нет; человек только думает, что он сам что-то выбрал и по собственной воле совершил поступок, взвесив все «за» и «против», а на самом деле его натура, его характер,

весь склад его личности, если угодно — определенная комбинация его генов вкуче с уже приобретенным им опытом — все это неизбежно толкает его к тому или иному решению, обуславливает необходимость данного поступка именно для данного индивида. И если он бы поступил иначе, а не так, как это и совершилось в реальности, — значит, именно это «иное» поведение и было ему предопределено. Тут выхода нет.

А может быть, никакой роковой детерминированности нет, и на каждой развилке жизни человек действительно волен поступать так, как он сам выбирает, и всегда есть альтернатива? Ответа на этот вопрос, мне кажется, нет, так же как нельзя ответить и на другой, в общем-то родственный, вопрос: вот человек вышел из дома, вспомнил, что он что-то забыл, вернулся, вышел опять — и попал под машину; а если бы он не вспомнил о забытом и не возвращался — он бы остался жив, ведь все решили несколько минут. Нелепая, жуткая случайность — или же так было предопределено, «от смерти не уйдешь», «если этой пуле суждено тебя найти, ты ее не избежишь»? Никто этого не знает и знать не может. Человек совершает поступок, в корне меняющий всю его судьбу, но может быть, он к этому поступку шел и готовился всю жизнь, все его врожденные, внушенные ему и развившиеся в нем под влиянием среды или же прочитанных книг черты, пристрастия, предпочтения неуклонно вели к тому, что в определенный момент он мог действовать только так, а не иначе — в противном случае он был бы уже другим, а не самим собой.

В одной и той же ситуации люди, вроде бы схожие по взглядам, воспитанию, интеллектуальному и нравст-

венному складу, наконец - по кругу их знакомых и друзей — ведут себя по-разному, иногда занимают прямо противоположные позиции. Почему? Не всегда это можно понять, даже ориентируясь на прежние поступки человека. Часто это связано просто с силой характера. Я знал людей, в которых интеллигентность, порядочность, смелость (некоторые из них были героями на войне) сочетались с малодушием и конформизмом в гражданской жизни. У них не хватало духа противостоять давлению начальства или же просто пойти наперекор «мнению коллектива», т. е. стать «белой вороной». Люди в своем большинстве не могут быть уверены, как они поведут себя в экстремальной ситуации, например в концлагере или в лапах бандитов. И наоборот: человек, храбро державшийся под огнем противника, может потерять всякое мужество, попав, скажем, на прицел органов госбезопасности, опуститься до недостойного поведения. Таких примеров в советское время было сколько угодно. Я был свидетелем того, как в острой «политической» ситуации, сложившейся в нашем академическом институте в 80-е годы, вроде бы прогрессивно мыслящие и порядочные люди, оказавшись под прессом партийного начальства, вели себя недостойно по отношению к своим же товарищам.

Анализируя свое поведение в описываемый критический момент жизни в 45-м году, я нахожу в том упорстве, которое я проявил в анекдотической истории с переключением фотокарточек, не только отчаянное нежелание потерять вдруг открывшуюся возможность получить гораздо более привлекательную, даже заманчивую работу шофера, но и боязнь «потерять лицо» как в своих собственных глазах (сдался, не хватило духу пойти на риск,

на авантюру), так и в глазах общественности, даже всего-навсего такой, как коллектив рабочих 4-го района «Теплосети», которые, как я не сомневался, вдоволь поиздевались бы надо мной, если бы я вернулся к ним несолоно хлебавши. С точки зрения здравого смысла, мое поведение было глупым, шансов на успех авантюры было мало, мне просто повезло, что второй врач не запомнил моей фамилии. Но все сошло благополучно, и я был счастлив и горд, приписывая свою удачу исключительно силе воли. Такая эйфория, такое самомнение могли дорого обойтись мне в будущем; так иногда впоследствии и бывало. Однажды я прочел в рассказе Анатоля Франса «Ла Мюирон» слова, приписываемые автором Наполеону: «Брут, с его посредственным умом, верил только в силу воли. Человек высшего порядка не станет предаваться подобной иллюзии. Он учитывает обстоятельства, видит границы обрамляющей его неизбежности». Не будучи таким человеком, я пренебрег обстоятельствами и в данном конкретном случае выиграл, что и определило мою дальнейшую судьбу.

## **«ГИТЛЕР И СТАЛИН - ДВА ОБЛИЧЬЯ ОДНОГО ЗЛА»**

**Я** веду свой грузовичок по улицам Москвы, направляясь на Рязанское шоссе. Транспорта на улицах мало, ездить легко. Обычно я перевозжу в кузове разного рода арматуру, стройматериалы с главной хозяйственной базы Мосэнерго на склады районов «Теплосети», но сегодня



мне поручено возить груз кирпича на строящуюся дачу нашего директора где-то в районе Томилино или Малаховки. Со мной в кабине сидит агент по снабжению, в кузове — грузчик. Уже вечер, я нервничаю, ведь сегодня мой день рождения, круглая дата: мне исполняется двадцать лет. Я знаю, что дома меня ждут мать, две тетки и дядя. Впервые за несколько лет я отмечаю день рождения, благо что теперь мы можем это себе позволить: уже год, как кончилась война, с продуктами стало лучше, я уже сыт каждый день. Улучшение произошло постепенно, так и не наступил тот великий день, о котором я мечтал всю войну (когда сразу можно будет купить и съесть целую буханку хлеба). Наряду с карточной системой, еще сохранявшейся некоторое время, открылись коммерческие магазины, где можно покупать продукты за деньги. А деньги появились: я уже в состоянии помимо зарплаты иметь и «левый» заработок, перевозя иногда картофель из области в город. Вот мать уже и смогла устроить скромный праздник. Меня ждут дома, но я опаздываю: долго грузили кирпич на заводе, вперед меня все время протискивались к платформе с кирпичом другие, более искусные и наглые водители, в том числе немцы-военнопленные, шоферы-виртуозы, настоящие «асы». Только часов в семь мы выгрузили кирпич на даче директора, и я помчался обратно в Москву. У меня уже теперь не «газик-полторка», а более мощный грузовик — трехтонный «ЗИС-5», и, проезжая через Люберцы, я вдавливаю педаль акселератора в пол, мотор ревет, скорость — аж 75 километров в час. Я приезжаю в гараж, ставлю машину, затем — на метро домой. Впервые в жизни я у себя дома пью спиртное: дядя принес бутылку настоящей водки. В последние

месяцы войны, особенно на трудфронте, мне уже доводилось отведывать алкоголь, но это была либо водка-«тархун» (редкая гадость), либо чистый спирт, который я наловчился пить не разбавляя, держа в другой руке стакан с водой, чтобы сразу, молниеносным движением запить обжигающий горло спирт. Теперь мы пьем настоящую «черную головку», я закуриваю сигарету «Дукат»; в войну я с шестнадцати лет приучился курить махорку, так что с тех пор я запросто затягиваюсь даже крепкими сигарами. Махорку-самосад покупали на рынке у инвалидов, но мой напарник Потовин в целях экономии предпочитал подбирать окурки и ссыпать их в кисет; я однажды подсчитал, что, пока мы переходили Москворецкий мост, он ухитрился подобрать 52 окурка. А по карточкам отпускали так называемый филичевый табак «пониженного стандарта и облегченного ассортимента», производившийся не из листьев, а из стеблей табака. Те, у кого были деньги, покупали папиросы на черном рынке; около метро «Маяковская» всегда маячили мальчишки, выкрикивавшие: «Беломор» — рубль пара! «Казбек» — три рубля пара!» — папиросы продавались поштучно. Но я, конечно, не мог себе это позволить. Теперь, в 46-м году — другие времена. Деньги есть, и впервые появились сигареты, о которых раньше никто и не слышал.

Мы сидим, закусуываем водку селедкой с картошкой, блаженствуем, вспоминаем тяжкое военное время, а также прошлогоднее ликование, когда кончилась война. 9 мая — особенный, неповторимый, незабываемый день. Я с друзьями на Красной площади, — что там творилось, сколько народу, все поют и орут; появляются американские офицеры из военной миссии, их сразу окружают,

подбрасывают в воздух, качают. Популярность американцев была потрясающей. Те девушки, которым посчастливилось подружиться с американскими офицерами, были предметом зависти для всех остальных. В нашем доме тоже жила одна красотка, сумевшая завести себе американского «бой-френда» — как же все на нее смотрели, когда она выходила из дома с сигаретой «Кэмел» или с диковинной, никогда ранее не виданной жвачкой. Бедные красавицы, подружки союзников — они и не подозревали, каким кратким будет их счастье! Уже в 46-м году, когда началась «холодная война», их всех до единой арестовали, и они пропали бесследно, сгнули в лагерях...

Мне тоже перепало кое-что от американской помощи, но в своеобразной форме; к нам в гараж «Теплосети» пришел по разнарядке грузовик «студебеккер», из числа тех сотен тысяч автомашин, которые США поставили нам во время войны по ленд-лизу. Отслужив свое на фронте, эти автомобили были затем распределены среди гражданских предприятий. И вот нашему гаражу достался этот 2,5-тонный красавец; конечно, на него посадили лучшего водителя, из демобилизованных фронтовиков. Летом 46-го года он ушел в отпуск, другие водители оказались кто в отпуске, кто в командировке, кто болел, — словом, на «студебеккер» посадили меня. Это был пик моей шоферской карьеры, мой звездный час; как же я был счастлив, пересев со своей «трехтонки» на мощную, изумительно легкую в управлении, оснащенную сервером руля американскую машину! Я пел от радости, мчал на ней по московским улицам. Правда, это длилось всего три недели...

Конечно, работа шофера отличалась от подземной каторги как небо от земли, и я благодарил судьбу. Но

все же я не хотел оставаться в гараже на всю жизнь. Я вновь стал учиться, и частично за это решение я могу благодарить заведующего гаражом. Сразу же после того как я пришел с водительских курсов, заведующий решил отметить пятидесятилетие самого заслуженного нашего шофера и, узнав, что я кончил перед войной семь классов, поручил мне написать текст приказа. Прочтя его, он посмотрел на меня и сказал: «Зачем врешь? Семилетка так не пишет, десятилетка так пишет». Впервые в жизни что-то, вышедшее из-под моего пера, удостоилось похвалы, и я задумался о будущем. Я чувствовал, что во мне есть способности иного рода, чем те, какие требуются для того, чтобы крутить баранку. Я тогда же поступил в вечернюю школу рабочей молодежи, в восьмой класс. Днем я работал, по вечерам учился. Таким образом, к моему двадцатилетию я уже окончил восемь классов, но еще оставалось целых два года до поступления в институт. Два года — когда я уже и так потерял во время войны целых четыре! Нет, надо спешить, ускорить все это школьное образование. Уверенный после истории с медкомиссией, что мне любая авантюра сойдет с рук, и уже имевший опыт обмана государства, я решился еще на один подлог: сделал себе с помощью школьного друга фальшивую справку об окончании девятого класса и подал документы о приеме в другую школу рабочей молодежи в десятый класс.

Однако я понимал, что не так-то просто штудировать, скажем, математику в десятом классе, если ты не знаешь того, что проходили в девятом. И не только математику, но и физику с химией. Необходимо было самостоятельно за лето одолеть эти предметы. Даже если бы

я сидел каждый вечер после работы до глубокой ночи, у меня бы не хватило времени. Нужно было еще хотя бы две-три недели, а где их взять? Отпуск я уже отгулял: после войны, естественно, отпуска уже опять разрешили, шоферу полагалось двенадцать дней, но, когда в гараже составляли график отпусков, мне, как самому юному и безответному, дали самое неудобное время — зиму, так что летом уже ничего не оставалось. Был, конечно, законный путь: учащиеся школ рабочей молодежи имели право на двухнедельный дополнительный отпуск, но дело в том, что заведующий гаражом не знал, что я учусь, я специально никому об этом не говорил, так как понимал, что если заведующий об этом узнает, он поймет, что я собираюсь в институт и рассчитывать на меня нечего, я уже — отрезанный ломоть, меня можно сажать на самую плохую, разбитую машину или вообще перевести в слесаря по ремонту автомобилей.

Я вспомнил свой акт самоистязания, когда надо было избежать перевода на казарменное положение, и решил повторить его. На этот раз я, вскипятив чайник воды, обварил себе не ногу, а руку, надев шерстяную варежку. Все сработало как и прежде: кожа сошла, я получил больничный лист и, сидя с обвязанной левой рукой, две недели подряд часов по семнадцать-восемнадцать в сутки штудировал учебники алгебры, геометрии, тригонометрии и физики за девятый класс. С сентября я уже учился в десятом классе, даже стал одним из двух лучших учеников по математике, а по литературе написал лучшее в классе выпускное сочинение (на тему пьесы «На дне» Горького). Я шел на золотую медаль, но не получилось, так как не успел предыдущим летом, занимаясь

самостоятельно, добраться до химии. На экзамене по химии один из вопросов был на тему, абсолютно мне незнакомую; в целом мне натянули в аттестате четверку, но для золотой медали нужны были все пятерки, и я получил серебряную медаль.

Когда весной 47-го года я объявил заведующему гаражом, что с сентября уже уйду учиться в институт, его реакция была именно такой, какую я предвидел: я был тут же снят с машины и переведен на должность гаражного сторожа, а последние два месяца, перед тем как уйти, работал агентом по снабжению.

И вот — все! Прощай, «Теплосеть», пять лет моей жизни. Конец рабочей карьеры. Много ли эти годы мне дали? Очень много, без них я был бы другим человеком. Прежде всего, узнал реальную жизнь, в отличие от школьной и книжной. В «Теплосети» и на дровяном трудфронте узнал человеческую натуру — к сожалению, преимущественно в ее худшем проявлении, хотя и не только.

Трудовая жизнь излечила меня, по крайней мере, от двух мифов. Первый из них — это миф о самой справедливой и передовой в мире Советской власти. Все, что я узнал, о чем услышал, позволило мне увидеть Советскую власть такой, какой она в действительности была — бесчеловечная полицейско-бюрократическая система, насквозь лживая и лицемерная, дважды эксплуататорская — и в смысле материальном, и в духовном: эксплуатирующая естественную тягу людей к справедливости, паразитирующая на возвышенных идеалах и спекулирующая ими. После того как я был рабочим в течение пяти с лишним лет, я уже не мог верить ни единому слову, исходящему от этой власти, у меня не осталось к ней ни малейших симпатий.

Второй миф — это извечный российский интеллигентский миф о трудовом народе. У меня он сформировался в основном из книг, я в детстве и юности прочел всю русскую классическую литературу. Именно из книг, а не от родителей, я рос не в семье интеллигентов, и мне никто ничего не внушал. Как и большинство образованных и начитанных российских детей и до, и после революции, я верил, что «простой народ», люди труда чем-то лучше нас, именно в них есть настоящая доброта, честность, отзывчивость, словом — все добродетели. К тому же я ведь воспитывался в советской школе, где внушали, что рабочий класс по праву должен быть во главе общества, он самый передовой и сознательный, рабочие — хозяева земли. Познакомившись с советским трудовым народом, я увидел — наряду, конечно, и со многими чертами, достойными уважения, — столько злобного и агрессивного невежества, хамства, зависти, склочности и сварливости, склонности к пьянству, халтуре, недобросовестности и неаккуратности в работе, что от всякой идеализации «простого человека» не осталось и следа. Я понимал, что это — не их вина, такими их сделала жизнь, вся российская история, но от этого не легче. Все это не означает, что я стал идеализировать образованную прослойку общества, интеллигенцию, но на этот счет у меня никаких иллюзий и не было, а были они только в отношении людей физического труда. Столкнувшись с такими людьми в реальной жизни, я многое вынужден был переосмыслить, все традиционное российское интеллигентское «народолюбие», неизвестно какими ветрами в мою душу занесенное, исчезло навсегда. Соответственно я стал иначе смотреть и на нашу новейшую историю.

Если прежде я, как и все мои сверстники — по крайней мере думающая их часть, — не сомневался в том, что, приведись мне жить в прежние времена, я был бы в рядах революционеров, коммунаров, красных комиссаров, готов был убивать царей, королей, буржуев, то уже к двадцати годам мое мировоззрение изменилось. Я начинал — только еще начинал — сознавать, что вся эта хваленая российская интеллигентская установка на борьбу за «народное счастье» в конечном счете привела, и не могла не привести, к деспотизму и рабству. Поэтому иначе я стал относиться и к существующему режиму, и даже к самому вождю.

Будучи «кабинетным стратегом», обожая военную историю и скрупулезно следя за ходом военных действий во время войны, я стремился получить дополнительные источники информации о том, что происходит на фронте. В Москве к концу войны стали продавать газету «Вольна Польска», орган Союза польских патриотов, т. е. организации просоветских поляков, воевавших на нашей стороне. Я не знал польского языка, но решил выучить его, достал словарь и хрестоматию и вскоре уже был в состоянии с грехом пополам разбирать то, что писалось в польской газете. Никакой существенной информации о ходе войны я, к сожалению, не получил, но читать научился. И вот уже после войны мне попался номер газеты «Вольна Польска» со статьей об Армии Крайовой — повстанческой организации, которая вела борьбу сначала с германскими оккупантами, а затем и с Красной Армией. Автор статьи с возмущением цитировал как пример того, до какой низости дошла Армия Крайова, этот «заплеванный карлик реакции», ее «кошунственный» лозунг «Гитлер и Сталин — два обличья одного зла». Как



только я прочел эти слова, меня словно током ударило. Вот она — правда! Вот суть дела. Один диктатор стоит другого; идеи и знамена — разные, а сущность одна.

Я еще не знал тогда термина «тоталитаризм», ничего не слышал о высказывании Гитлера: «Из социал-демократа никогда не получится хороший нацист, а из коммуниста — получится». Лишь десятилетия спустя я понял, что и в самом деле не так важно, какого цвета знамя — красное, как у Ленина, Сталина и Мао, коричневое, как у Гитлера, зеленое, как у Хомейни; важно, что под знамена идеологии, признающей только себя единственно правильной, уничтожающей всех инакомыслящих, становится определенный человеческий тип — человек, верящий в непогрешимость вождя и его единственно правильного учения, нетерпимый ко всем проявлениям свободомыслия, презирующий свободу и демократию, обожающий насильственно насаждаемый порядок, единодушие, чинопочитание, конформизм, мечтающий о «сильной руке» (а заодно и о том, чтобы самому стать «сильной рукой»). Такой человек действительно может легко сменить цвет знамени, из коммуниста стать фашистом, ведь дело не в лозунгах как таковых, а в том, чтобы найти родственные души, исповедующие ту же систему ценностей, то же отвращение к плюрализму, идейному многоцветию, демократическим началам. Поэтому много десятилетий спустя меня вовсе не удивило появление на нашей земле «красно-коричневых». Какая разница — поклоняешься ли ты пролетариату, этому «классу-гегемону», или же «избранной расе»? Главное — чтобы был кумир, который знает, куда вести, и чтобы можно было за ним маршировать в стройных рядах единомышленников, на чьей стороне — сила, будущее.

Все эти мысли, конечно, в сороковых годах у меня еще не сформировались, но что-то я уже понял. Я вступал на путь советского высшего образования, — путь, который неуклонно должен был привести меня к служению — в той или иной форме — чуждому для меня режиму. Не встань я тогда на этот путь, я бы остался работать на грузовике. Но я ощущал в себе иные способности, я повиновался чему-то, что было во мне заложено. Выхода не было: мне предстояло начать двойную жизнь.

## КОМСОМОЛЬСКИЙ ВОЖАК

**Я** сижу за столом президиума на районной конференции ВЛКСМ в клубе имени Русакова. Красная скатерть, графин с водой. Рядом со мной — председательствующий на конференции первый секретарь райкома комсомола, перед ним отпечатанная на машинке бумажка-шпаргалка. Скосив глаза, заглядываю в нее, читаю: «Товарищи, конференцию ВЛКСМ Сокольнического района предлагаю считать открытой. (Пауза для аплодисментов.) Предлагаю избрать в почетный президиум Политбюро ЦК КПСС во главе с товарищем Сталиным. (Пауза для аплодисментов и оваций.)». И так далее. Все эти процедурные формальности спущены сверху, из горького комсомола, — типовой документ, рассылаемый по всем районным конференциям. Председательствующий читает, не отрываясь от бумажки, и в самом деле точно в нужных местах раздаются аплодисменты и овации. Все делегаты «туго знают» свое дело. Система не дает осечек.

Я сижу в президиуме, так как я - секретарь комитета комсомола Московского Института востоковедения. Учусь на третьем курсе.

Почему я попал именно в этот институт? Сначала я хотел поступить либо на истфак МГУ, либо в открывшийся тремя годами раньше МГИМО (Институт международных отношений), но там конкурс был так велик, что «серебряных» медалистов не брали, только «золотых». Дело в том, что 47-й год был, как и 46-й, годом великой демобилизации из Вооруженных сил, и фронтовики шли в институты косяком, их брали вне конкурса, и остающихся мест хватало только для «золотых» медалистов. А об Институте востоковедения я узнал случайно, от подруги моего товарища из школы рабочей молодежи, она училась там на иранском отделении. Она же посоветовала мне выбрать арабское отделение, исходя из того, что после окончания института легче будет найти место в посольстве или каком-либо другом нашем представительстве за рубежом — ведь арабских стран много. Я последовал ее совету. После нескольких лет труда на тяжелом и грязном производстве — что могло быть заманчивей, чем перспектива работы за границей, далеко-далеко от осточертевшей советской действительности, от всей этой атмосферы грубости, бестолковщины, бесхозяйственности, воровства... И вот я изучаю арабский язык, один из самых трудных в мире, но мне он нравится, несмотря на труднопроизносимые гортанные звуки. Вскоре начинается и комсомольская карьера (в комсомол я был принят еще в «Теплосети», в последний год моей работы в гараже). На первом курсе я был рядовым агитатором, т. е. ходил по домам жителей Сокольнического района,

разъясняя им необходимость явиться как один на очередные выборы в Верховный или какой-либо иной совет. В то же время я писал в стенгазету арабского отделения фельетоны и разные юмористические заметки, за что меня, как «пишущего человека», на следующий год сделали редактором стенгазеты, а заодно и избрали в комсомольское бюро отделения в качестве ответственного за печать. Вскоре я уже был заместителем секретаря бюро по оргработе, а ровно через год меня выбрали в комитет комсомола института. Я стал заместителем секретаря по оргработе, затем секретарь ушел в академический отпуск — и вот я становлюсь руководителем комсомольской организации всего Института востоковедения. Мне двадцать три года.

Чем объяснить такое стремительное восхождение по линии общественной работы? Отнюдь не каким-то идейным рвением; просто-напросто среди членов бюро, а затем и комитета комсомола я оказался, по общему признанию, наиболее дисциплинированным и пунктуальным. Видимо, сказалась моя немецкая кровь. Я не отлынивал от поручений, не халтурил и не «сачковал», как тогда выражались. Но я бы покривил душой, если бы не признал, что было и другое — честолюбие, тщеславие, желание самоутвердиться. Ведь за моими плечами были пять трудовых лет, в течение которых я всегда был самым младшим, самым последним, самым неквалифицированным и неумелым. У меня выработался комплекс неполноценности. В институте я был самым молодым из ребят нашей учебной группы, единственным, кто не был в армии, и на меня невольно смотрели несколько свысока, хотя я и успевал в учебе лучше других. И вот я станов-

люсь «начальником», отдаю распоряжения, председательствую на собраниях и даю людям слово, раздаю всем секретарям бюро отделений планы работы и требую их выполнения, устраиваю выволочки нерадивым комсомольцам, даже выношу выговоры и угрожаю исключением из комсомола; более того — став секретарем институтского комитета комсомола, я получаю право не ходить на занятия и не хожу, за исключением уроков арабского. Даже в отношении преподавателей ко мне что-то неуловимо меняется — ведь на меня уже распространяется какая-то, пусть малая, частица «власти». Я произношу речи на собраниях, впервые ощущаю в себе нечто вроде ораторского дара. Я утверждаю себя — юноша из бедной семьи, столько переживший и наголодавшийся, которого столько гоняли и шпыняли, а вот теперь у меня — власть и авторитет. Меня слушают, ко мне обращаются за советом. Помню, однажды Евгений Примаков, будущий премьер-министр России, учившийся со мной на одном отделении, но на курс младше, говорит мне: «Ты для меня самый большой авторитет в институте; прошу тебя, рассуди мой спор с Павлом Демченко».

Моя деятельность в амплуа комсомольского вожака была абсолютной и невозполнимой потерей времени. Десятки заседаний, собраний, совещаний, сотни часов, потраченных на составление планов работы и проверку их исполнения, руководство агитколлективом в период избирательных кампаний, обсуждение персональных дел — все это было время, убитое наповал. Сколько интересного и полезного для себя я мог бы сделать, если бы не погряз в этой никчемной трясине общественной работы! Самой противной частью ее были персональные дела —

ведь по персональным вопросам комсомольцы обращались только к секретарю, а не к другим членам комитета. Например, приходит девушка и заявляет, что такой-то студент уговорил ее вступить с ним в близкие отношения, обещал жениться, а потом увильнул. Я, разумеется, отказывался даже рассматривать такую жалобу. Хуже было, если она заявляла, что сделала от него аборт (в то время аборты были запрещены). Я должен был потребовать доказательства, что это он заставил ее пойти на такое преступление. Разумеется, на этом все и заканчивалось. Но вот, помню, было и кое-что посерьезнее: студентка приходит с заявлением на свою близкую подругу, с которой она еще в школе училась и в институте четыре года в одной группе, и говорит, что та сделала аборт от их однокурсника (потом, конечно, оказалось, что они просто «не поделили» этого парня). Я вынужден спросить: «А вы имеете доказательства?» Она отвечает: «Можно экспертизу сделать». Я велю ей выйти, и она уже у дверей говорит: «Значит, комитет комсомола отказывается этим заниматься? Ну что ж, пойдём выше».

Но иногда приходилось и заводить персональное дело, разбирать его на комитете. Самым громким и нашумевшим было «дело Степанова». Началось с того, что был скандал в советской верхушке — один высокопоставленный «руководящий товарищ» был обвинен в организации настоящего притона, устройстве оргий, в этом оказалась замешана и одна известная киноактриса. Тут же по всем учреждениям была развернута кампания по борьбе с аморальными явлениями, и в нашем институте тоже надо было найти козла отпущения; по счастью, в этот момент я не был секретарем комитета комсомола.

Прицепились к Мише Степанову, отличному студенту китайского отделения, бывшему разведчику, обвинили его в двоеженстве, хотя формально этого не было, он просто, будучи женатым, завел роман со студенткой нашего же института. Что тут было! Передовая статья в институтской стенгазете под громадным заголовком «Маска сброшена!», комсомольские собрания на всех отделениях... Омерзительнее всего вели себя сокурники Степанова; так, одна студентка заявила, что в летнем лагере он ходил в каких-то «вызывающих плавках», один из его товарищей, бывавших у него дома, сообщил, что он видел у него книги Ницше, еще один сказал, что он видел фотографию Степанова в эсэсовской форме (это была правда: застрелив нескольких эсэсовцев, разведчики по глупости шуточки ради сняли с них форму, переоделись и сфотографировались; это тоже был криминал). Парня затравили, исключили из комсомола и из института.

Я не выступал по «делу Степанова», не проронил ни слова, но голосовал как все; правда, ходил с небольшой делегацией к директору с просьбой, если возможно, хотя бы оставить его в институте. Бесполезно. Чувствовал я себя отвратительно: вот она, двойная жизнь. Я стал частичкой, пусть крошечной, той самой системы, которая была для меня чуждой и отталкивающей. И я был для нее чужим, несмотря на мою комсомольскую карьеру; это было заметно. Шила в мешке не утаишь, и мои не вполне ортодоксальные политические взгляды довольно скоро стали очевидны в нашей учебной группе. Я слушал Би-би-си и иногда нет-нет да выбалтывал какую-нибудь информацию, все это замечали. На занятиях по марксизму я иногда упоминал на семинарах по истории

Октябрьской революции какие-то фамилии, которых не было в единственной книге, служившей первоисточником, — «Кратком курсе истории ВКП(б)», или говорил о потерях наших войск во время войны. Но самым заметным событием в этом плане была история с маршалом Тито. После 48-го года он был нашим заклятым врагом. Как-то, во время перекура на лестничной клетке, я сказал, что, хотя он сейчас наш враг и предатель, я не могу поверить, что уже во время войны, будучи командующим партизанской армией в Югославии, Тито на самом деле был немецким шпионом; психологически это трудно себе представить. Меня слышало только несколько моих конкурентов, но уже через несколько дней мне по секрету сообщили, что секретарь партбюро института Романов, заведующий кафедрой основ марксизма-ленинизма, сказал: «Ничего себе у нас секретарь комитета комсомола — говорит, что Тито — хороший человек!» Как мне стало известно спустя многие десятилетия, именно этот донос был одним из первых документов, легших в основу моего досье в КГБ, из-за которого меня не пускали за границу.

Кстати о Романове. Однажды, входя утром в институт, мы — студенты — стали свидетелями удивительного зрелища: секретарь партбюро, взобравшись на лестницу-стремянку, собственноручно снимает и сбрасывает вниз висевший в вестибюле на стене портрет одного из членов Политбюро Вознесенского, а затем, спустившись, еще и топчет его ногами. Оказывается, рано утром было сообщение о том, что Вознесенский арестован как враг народа; позже его расстреляли. Я сразу вспомнил мой школьный класс и возглас: «Ребя, ежика-то нету!» — когда со стены классной комнаты вдруг исчез портрет Ежова.



Вспомню и еще о «Кратком курсе». Многие главы этой книги, написанной лично Сталиным, нужно было знать почти наизусть. И мы устраивали ради забавы шуточные конкурсы «на знание первоисточников». Так, задавался вопрос: через что перескочила Роза Люксембург и что у нее при этом выпало? Правильный ответ (буквальная цитата из «Краткого курса») был такой: «Роза Люксембург перескочила через буржуазно-демократический этап революции, и при этом у нее выпал аграрный вопрос». Или еще: кто были враги партии после XVI съезда, помимо правых уклонистов? Ответ: право-левацкие уроды типа Шацкого и Ломинадзе.

Шутки шутками, но на самом деле время было лютое: шла «холодная война», враждебность по отношению к Западу росла, обострялась «идеологическая борьба», и в воздухе явственно чем-то пахло — чем-то зловещим.

## **ДЖАЗ, КОСМОПОЛИТЫ, «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»**

**Ч**ему могут научить наших детей книги Жюль Верна, все эти его герои — человеконенавистник капитан Немо или бесшабашный Дик Сэнд?» — вопрошала одна московская газета. Кампания по борьбе с «тлетворным влиянием Запада» шла вовсю. Французские булки были переименованы в городские, вместо слов «матч» и «корнер» радиокomentаторы должны были говорить «соствязание» и «угловой», все великие открытия в истории приписывались русским. На собраниях делались доклады о борьбе с низкопоклонством, отстаивался

приоритет русской науки. Ранее практически неизвестное слово «приоритет» повторялось на каждом шагу, во всех статьях и выступлениях. Бездарные советские бюрократы-идеологи даже не могли заметить, что они сами себя поставили в комичное, чтобы не сказать идиотское, положение, беспрерывно употребляя слово западного корня в борьбе против «раздувания достижений Запада». Даже лояльно настроенные люди иногда не могли не смеяться, наблюдая эту неуклюжую мракобесную кампанию. «А ты слышал, коктейль-холл на Горького переименовали в ерш-избу?» — «Пушкин-то, оказывается, космополит; ведь он написал «За морем житье не худо».

В сфере культуры западное влияние старались искоренять особенно энергично. В рекомендованной детям для чтения литературе можно было ради приличия упомянуть две-три книги западных авторов, это же относилось и к музыке, но вот, например, из танцев старались вытравить все, идущее с современного Запада. Фокстрот и танго были запрещены категорически, но вальс уцелел, не говоря уже о еще более старых и никому не известных танцах, вроде кадрили, мазурки или падекатра. Предметом особых гонений и ненависти был, конечно, джаз, в печати без конца повторяли глупые слова Горького о джазе — «музыка толстых»; когда на один институтский вечер пригласили оркестр, допустивший в какой-то момент нечто джазоподобное, секретарь партбюро орал так, что, казалось, его вот-вот хватит апоплексический удар, и музыканты были немедленно изгнаны. Пакостному шельмованию в прессе подвергся Александр Грин за нерусские названия городов и имена героев в его книгах. В нашей профессиональной области — востоко-

ведении — вытравлялись имена западных авторов; из института были вынуждены уйти академики с громкими, но «не теми» фамилиями — Конрад, Бертельс, Гордлевский. Они-то как раз не были евреями, но все равно подозревались в космополитизме; вообще с самого начала было очевидно, что в грандиозной кампании, начавшейся с осуждения «одной антипатриотической группы театральных критиков», внешней мишенью были Соединенные Штаты, уже открыто называвшиеся фашистским государством, а внутренней — евреи.

Здесь сыграло важную роль образование государства Израиль в 1948 году. Известно, что первоначально советское руководство благосклонно отнеслось к идее создания еврейского государства, поскольку арабские страны считались вотчинами империализма, их правительства именовались английскими или французскими марионетками, и существовало мнение, что еврейское государство может стать для СССР полезным противовесом. Кто-то из наших идеологов, как я узнал впоследствии, даже полагал, что есть смысл оказать еврейским националистам-сионистам, боровшимся против британского господства в Палестине, всяческую помощь с тем, чтобы «притянуть» их к нам, и более того — направить в Палестину как можно больше советских евреев-коммунистов, чтобы превратить будущее еврейское государство в нашего союзника. Этого, правда, сделано не было, однако военная помощь оказывалась — через Чехословакию. Но вот в Москву прибыл первый израильский посол — знаменитая впоследствии Голда Меир, и возле московской синагоги собралась большая толпа евреев, с энтузиазмом ее приветствовавших. Это вызвало ярость Сталина, и без

того никогда не любившего евреев; в нашем академическом Институте мировой экономики и международных отношений работал зять Сталина, Григорий Морозов, который рассказывал, что он, будучи мужем Светланы Аллилуевой, никогда даже в глаза не видел своего тестя — настолько ненавистен для Сталина был сам факт замужества его дочери, выбравшей себе в мужа еврея. Некоторые полагают, что корни этой антипатии следует искать в том, что еще в далекие времена оппонентами Сталина были Троцкий, Зиновьев и Каменев.

Так или иначе, после сцены у синагоги Сталин был взбешен; он окончательно убедился, что в будущей мировой войне против Америки, к которой он готовился, советские евреи будут играть роль «пятой колонны». Была арестована подружившаяся с Голдой Меир жена Молотова, Жемчужина, причем, в соответствии с обычной для Кремля практикой, сам Молотов был вынужден тоже подписать решение об аресте собственной жены. Посмел бы он отказаться! И началась антисемитская кампания, замаскированная фиговым листком борьбы с космополитами и антипатриотами.

Антисемитизм, по моему мнению, это явление универсальное, вечное и неустранимое. У нас бытовым антисемитизм был, конечно, и до 40-х годов, но государственного антисемитизма не было. Более того, евреи занимали столько видных постов даже в партийном и государственном руководстве, не говоря о прочих сферах жизни, что в 30-х годах я слышал такую шутку: «Как найти двенадцать колен израилевых? — Очень просто — надо поднять брюки у шести наркомов». После войны все стало постепенно меняться. Весьма странной, например,

показалась информация о том, что в недавно открывшийся Институт международных отношений стараются не принимать евреев (хотя некоторое количество евреев, начиная с того же Морозова, еще не ставшего тогда зятем Сталина, было принято). В последующие годы эта тенденция подтвердилась и стала расти. Борьба против космополитов, «антипатриотов»... В 1949 году, хотя до «дела врачей» оставалось еще три с лишним года, ко мне, как к секретарю комсомольской организации, подошел мой предшественник на этой должности Саша Самородницкий и сказал: «Я должен поставить тебя в известность о том, что вчера арестовали моего отца». Его отец был главным врачом поликлиники автозавода.

Стали всюду вычислять «процент евреев», а также тех евреев, которые по паспорту были русскими, тех, кто сменил фамилии, «полукровок». Уже спустя несколько лет я, будучи принят в аспирантуру, сидел на заседании кафедры рядом с профессором Милоградовым, бывшим работником ЦК. Он что-то писал не отрываясь. Случайно мой взгляд упал на страницу его писанины, и я увидел следующее (каюсь, не мог оторваться, пока не прочел весь абзац): «Таким образом, 32% преподавателей факультета являются евреями, но если прибавить тех, кто числится лицом русской национальности, эта цифра возрастет до 44%». Очевидно, Милоградов был членом комиссии, проверявшей какой-то институт, и составлял отчет.

А в конце 52-го года кампания достигла своей кульминации: арестовали группу виднейших врачей, так называемых кремлевских докторов, включая личного врача Сталина; большинство их было евреями. В январе 53-го в газетах появилось сообщение о «заговоре врачей-убийц»,

якобы отравивших ряд видных государственных и партийных деятелей и готовившихся к тому, чтобы отравить самого «вождя народов». И народ поверил этому! Люди отказывались ходить в поликлиники на прием к врачам-евреям; когда у одного из наших студентов внезапно заболел ребенок, родители не сомневались, что это — дело рук еврейских врачей. Антисемитизм охватывал все более широкие слои населения; рассказывали, что нескольких евреев выбросили на ходу из подмосковных электричек. В нашем институте я слышал, как один студент громко объявил: «Ребята, слышали? наших друзей Рабиновичей уже начали гнать даже из промкооперации!» Газеты были полны гневными обвинениями по адресу сионистов, агентов «Джойнта» (американская еврейская организация, якобы инициировавшая зловещий заговор). На митингах трудящиеся клеймили «убийц в белых халатах» и восхваляли Лидию Тимашук — врача, разоблачившего гнусных наемников американского империализма. Все, как в 37-м году.

Из того, что я слышал впоследствии по этому поводу, можно составить такую картину.

Был разработан детальный сценарий. Сначала в «Правде» должна была быть опубликована «теоретическая» статья члена Президиума ЦК Чеснокова с разоблачением американско-сионистского заговора против советских вождей, а вслед за ней — открытое письмо ряда видных представителей еврейской общественности Советского Союза. Эти люди должны были признать «историческую вину» советского еврейского населения, не сумевшего противостоять влиянию международного сионизма и позволившего втянуть себя в чудовищный заговор. Это письмо,

как рассказывал много лет спустя Яков Хавинсон, главный редактор журнала, издававшегося нашим институтом, уже было подготовлено, подписи под ним собирались по всему Союзу. Не обошлось без курьезов: так, дирижера Файера нашли где-то на черноморском курорте и долго рассказывали ему о необходимости подписать письмо, после чего он сказал: «Я со всем согласен, но посмотрите на мой паспорт». А в паспорте стояло: «немец». Некоторые вроде бы отказались подписаться под письмом — Илья Эренбург, поэт Долматовский и еще кто-то, но большинство подписались.

Дальше должно было произойти вот что: на март был намечен «открытый процесс» в Колонном зале. Врачи, конечно, во всем признаются после пребывания на Лубянке в течение нескольких месяцев, и несколько человек из числа публики, не выдержав, бросаются на сцену, где сидят подсудимые, чтобы собственноручно расправиться с извергами. Их, разумеется, удерживают от этого, но вскоре правительство объявляет, что ввиду всеобщего негодования народа не представляется возможным обеспечить безопасность еврейского населения. Поэтому принимается решение, ради безопасности самих евреев, выселить их из Москвы, Ленинграда, Киева и других крупных городов. Говорят, что уже было подсчитано число эшелонов, необходимых для того, чтобы вывезти евреев в Сибирь.

Но тут происходит нечто непредвиденное: 5 марта умирает Сталин, и меньше чем через месяц после этого врачей освобождают, вроде бы по инициативе Берия. Все дело о «врачах-убийцах» объявляется фальшивкой, виновным называют одного из руководителей КГБ Рюмина,

в газетах пишут о преступной провокационной деятельности «авантюристов типа Рюмина». Все врачи — Вовси, Коган, Виноградов, Этингер и другие — выпущены из тюрьмы, в народе слагается частушка: «Дорогой товарищ Вовси, за тебя я рад, потому что, значит, вовсе ты не виноват; зря сидел ты, зря томился в камере сырой, подорвать ты не стремился наш советский строй. Дорогой товарищ Коган, знаменитый врач, ты расстроен и расстроган, но теперь не плачь; понапрасну портил нервы кандидат наук из-за суки, из-за стервы, этой Тимашук!»

Вся эта жуткая история, начиная с борьбы против космополитов и кончая «делом врачей», ретроспективно выглядит не просто как очередная политико-идеологическая кампания против воображаемых врагов власти и не как паранойя старого диктатора, «зациклившегося» на идее очистки тыла от нелояльных людей-евреев — в предвидении новой большой войны. Это больше похоже на какой-то рок, неуклонно и неумолимо толкавший Советскую власть к пароксизму бешенства, в котором выявилась глубинная, скрытая суть бесчеловечной системы, в данном случае не постеснявшейся проявить эту суть в обнаженном до предела виде. Если депортация целых народов во время войны прошла почти незамеченной, то в случае с евреями все было демонстративно выставлено напоказ, с каким-то даже вызовом по отношению к мировому общественному мнению, в те годы, безусловно, глубоко сочувствовавшему народу, потерявшему шесть миллионов человек в результате Холокоста. Этот вызов говорил о том, что советское руководство сознательно стремится как можно больше изолировать свою страну от внешнего мира, не обращая внимания на



ущерб для своего «имиджа» за рубежом, и более того - раздувая и разжигая в собственном народе ненависть ко всему «чуждому», прежде всего западному: ведь евреи-сионисты изображались как агенты той самой Америки, которая усилиями советской пропаганды давно была превращена в исчадие ада, в страшного и непримиримого врага типа гитлеровской Германии (недаром была пущена шутка: «Думаете, Гитлер умер? Да нет, он в Америке, Трумэном работает»). Для народа, только что пережившего весь кошмар, все невыносимые потери войны, не могло быть ничего хуже, ничего более зловещего и проклятого, чем новые «поджигатели войны», американцы, а евреи оказывались их агентурой, «пятой колонной». До американцев добраться было нельзя, а евреи — вот они, среди нас. Да и особенно убеждать народ не нужно, достаточно вытащить из колоды старую карту, сыграть на застарелых антисемитских предрассудках, на традиционной юдофобии отсталого, оболваненного населения.

Характерной чертой всех тоталитарных режимов является пробуждение всего самого низменного, что скрыто в человеческой натуре и что легче всего проявляется в толпе, попавшей под власть сознательно разжигаемых страстей. Это нагляднее всего было видно в нацистской Германии, но и в большевистской партии проявлялось почти с самого начала; не случайно ведь Троцкий называл Ленина «профессиональным эксплуататором всякой отсталости в русском рабочем движении». Нравственная отсталость русского народа, имеющая глубокие исторические корни, самым чудовищным образом проявившаяся уже в 17-м году, когда убивали офицеров, громили и жгли помещичьи усадьбы, уничтожали культуру, была

в полной мере использована большевиками после их прихода к власти. Тогда это направлялось на иные объекты, а спустя тридцать лет настала очередь евреев. Поистине страшно было смотреть, как целый народ с великой культурой мгновенно поверил idiotским вымыслам о врачах, отравляющих младенцев. Конечно, до погромов, до убийств евреев на улицах дело не дошло, но ведь этого не было и в Германии при Гитлере, за исключением «Хрустальной ночи»: власти унижали и дискриминировали, а затем умерщвляли евреев, а народ оставался безучастным, одобряющим свидетелем. Так было бы и в Советском Союзе, если бы осуществился план депортации евреев. Прошли бы всенародные митинги с одобрением действий правительства. В начале 53-го года можно было слышать, как люди открыто говорили: «Много плохого сделал Гитлер, но самое худшее — что он не довел дело до конца, не всех евреев перебил».

Антисемитская кампания конца 40-х и начала 50-х годов показала полную моральную деградацию советского режима. И лишь случайность — ослабшее сердце Сталина — предотвратила зрелище окончательного, ни с чем не соизмеримого, поистине исторического позорища.

Параллельно с делом «убийц в белых халатах» развертывалось другое, гораздо менее известное «мингрельское дело» в Грузии. Все началось с ареста нескольких видных руководителей республики — Шония, Барамия и других — мингрелов по происхождению (как и Берия). Им было предъявлено обвинение в том, что они хотели оторвать Грузию от Советского Союза и присоединить ее к Турции. Абсолютный idiotизм обвинения в попытке присоединить христианскую Грузию к мусульманской

Турции был очевиден, но никто, конечно, и пикнуть не смел. Вел это дело недавно назначенный министром внутренних дел Грузии генерал Рухадзе, и по его приказу был произведен обыск на тбилисской квартире Берия. Узнав об этом, Берия, живший в Москве, обратился лично к Сталину, который, однако, пожав плечами, сказал: «Слушай, Лаврентий, ведь это органы, ты их знаешь лучше меня, они и у меня могут обыск сделать». Тут Берия понял, что судьба его висит на волоске. Он вышел из доверия Сталина. Как впоследствии стало известно, Сталин, впад к концу жизни в маразм, готовил чистку своих старейших и ближайших соратников — Молотова, Ворошилова, Берия, Микояна. Но судьба пришла им на помощь — старый деспот умер, и все они облегченно вздохнули. Берия, фактически ставший самым могущественным человеком в Кремле, жестоко отомстил своим обидчикам в Грузии. «Мингрельское дело» было объявлено полной «липой», обвиняемые освобождены, Рухадзе арестован, в грузинской печати стали писать об «авантюристах типа Рюмина и Рухадзе». Но это был еще не конец. В том же 53-м году, принесшем стране столько потрясений, самого Берия арестовали и расстреляли, и такая же участь постигла его соратников. Освобожденные из заключения мингрелы были вновь арестованы, на этот раз уже как сподвижники Берия, и расстреляны, равно как и посадивший их ранее Рухадзе. В Грузии пели «грузинскую цыганочку»: «Арестуй меня, потом я тебя, потом снова ты, потом снова я, потом оба мы арестуемся».

Так, на жуткой трагикомической ноте, подошла к концу эпоха Сталина.

## СМЕРТЬ СТАЛИНА

Голос знаменитого диктора Левитана звучал с душевраздирающим, небывалым трагизмом: «Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров с великой скорбью сообщают...» Мать выбежала на кухню: «Слышали? Сталин умер!» Соседка подскочила к ней и зажала ей рот рукой. «Вы что, с ума сошли? За-молчите!» — «Да ведь по радио сказали». — «Замолчите, что вы!» Вот так; такое было время...

Я приезжаю в институт, хотя и не собирался туда в этот день; я был уже аспирантом и посещал институт далеко не ежедневно. Но тогда собрались все — и студенты, и преподаватели. Мрачное, растерянное, подавленное состояние, все разговаривают полупшепотом. Перед началом траурного митинга ко мне подходит Фарид Сейфульмулюков, будущий известный телевизионный обозреватель: «Как думаешь, Москву не переименуют в Сталин?» — «Да ты что?» — отвечаю я, а сам иду писать передовую в институтскую стенгазету — я ее редактор. Пишу: «В этот черный день...» Партийное начальство велит эти слова вычеркнуть: «В обращении ЦК таких слов нет».

Сейчас, когда я вспоминаю этот день, мне трудно объяснить самому себе свое тогдашнее состояние, психологически свести концы с концами. Я ведь никогда не любил Сталина, к Советской власти относился с неприязнью и, конечно же, не испытывал горя при известии о смерти диктатора. Но тем не менее слова «черный день»

я писал искренне. Возможно, в этом проявлялось рабство, глубоко засевшее во всех советских людях; но, помимо этого, было какое-то ощущение осиротелости что ли, некий испуг перед внезапно открывшейся неизвестностью — что же будет? Какой-то обрыв, обвал, конец привычной, стабильной, устоявшейся жизни...

До сих пор это для меня загадка — массовое обожествление Сталина. Ведь никакой видимой харизмы не было в этом человеке. Гораздо понятнее Гитлер — гениальный оратор, гипнотизирующий, завораживающий людей магией своего слова, беспрерывно разъезжавший по стране, так что, казалось, вообще не оставалось жителя Германии, который бы лично его не видел. Сталина же фактически не видел никто, если не считать тех двух-трех минут, в течение которых москвичи могли взглянуть на него во время первомайской или ноябрьской демонстрации. Я это хорошо помню: несколько часов топтания, медленного продвижения по улицам в направлении к Красной площади, и наконец — бегом, бегом по площади, мимо мавзолея, где стоял Он. Кагебешники подгоняют: «Быстрее, быстрее!» — и мы только успеваем пробежать расстояние до храма Василия Блаженного, крича «ура!» и мельком увидев на бегу плохо различимые фигуры членов Политбюро на мавзолее, среди них — Сталин. И больше ничего, разве только выступления по радио на съездах и пленумах — глухой монотонный голос с тяжелым грузинским акцентом, без малейшего ораторского блеска. Чем мог привлекать русских людей этот человек, невзрачный видом, маленького роста? Конечно, люди не видели его вблизи, с его сухой рукой, лицом, покрытым оспинами, с желтыми глазами рыси. Говорят, он при

личном общении внушал необъяснимый страх, от него исходила какая-то черная аура, давящий магнетизм. Но ведь народ ничего этого не видел и не чувствовал, Сталина знали по портретам, висевшим повсюду, по фотографиям с трубкой. С детства мы росли в этой атмосфере: «великий Сталин», «Сталин — это Ленин сегодня», «вождь трудящихся всего мира», «отец и учитель». Это была данность, так сложилась наша судьба: наше счастье, что во главе нашего народа — мудрый, гениальный вождь. Мы пели: «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет. С песнями борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет», «Сталинской улыбкою согрета, радуется наша детвора. Сталинским обильным урожаем ширятся колхозные поля», мы каждый день слышали, как концерт по заявкам радиослушателей неизменно начинается — по их просьбе, разумеется, — с песни «О Сталине мудром, родном и любимом чудесные песни слагает народ». Жизнь без Сталина казалась просто немыслимой.

Когда в 52-м году я начинал свою лекторскую деятельность и городское отделение общества «Знание» посылало меня на московские предприятия, как раз закончился XIX съезд партии. Нас, начинающих лекторов, проинструктировали: каждая лекция должна начинаться словами: «Сейчас в центре внимания всего мира находится гениальный труд товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» и его историческая речь на съезде партии», а заканчиваться так: «И залогом наших успехов является то, что нас ведет вперед вдохновитель и организатор всех наших побед великий Сталин!» Только так, не изменяя ни единого слова, точно

так же, как во время войны командиры и политработники должны были кричать только «За Родину, за Сталина!» — и ничего сверх этого.

И вот — Сталина нет. Что нас ждет? Все растеряны. Похороны: к моему счастью, я не проделал этот роковой для многих путь к Колонному залу, не попал в кошмарную давку на бульварном кольце, в которой погибли сотни людей. Только в кинохронике я вижу мрачную процессию на Красной площади, слышу речи Берия, Молотова, Маленкова. На заводе «Красный Богатырь» секретарь парткома говорит мне после моей лекции: «Да, утрата невосполнимая, но ведь какие люди остались во главе — Георгий Максимилианович, Вячеслав Михайлович, Лаврентий Павлович!» Знал бы он, что уже через четыре месяца будут петь частушки «Цветет в Тбилиси алыча — не для Лаврентий Палыча, а для Климент Ефремыча, для Вячеслав Михалыча» и Берия будет объявлен шпионом, врагом народа, а спустя еще четыре года и Вячеслав Молотов, и Клим Ворошилов окажутся в «антипартийной группе»...

Арест Берия в конце июня 53-го — гром среди ясного неба... В каком-то смысле это поразило людей еще больше, чем смерть Сталина; в конце концов, все люди смертны. Народ был потрясен, но ничего немислимого, невообразимого в смерти вождя не было. А падение Берия казалось именно немислимым; все сколько-нибудь сведущие люди знали, что после смерти Сталина Берия стал «первым среди равных», мощью и энергией своей личности он отодвинул остальных на второй план, тем более что с прежних времен Берия был воплощением КГБ.

Дней десять об аресте Берия не сообщалось, но слухи стали просачиваться. Мне сказал об этом (шепотом, чуть ли не на ухо) мой институтский товарищ; я не поверил. Но уже через два-три дня об этом знала вся Москва. Знала, но молчала — по крайней мере, вслух, при людях. Занятное это было время: человек заходит в автобус и, ни к кому не обращаясь, говорит: «Да-а, ну и ну!» Другой отвечает: «Да, дела...» И все понимали, о чем речь...

Но вот бомба взорвалась. Официальное сообщение: замаскированный враг, предатель, заговорщик, давний агент германской разведки, готовил реставрацию капитализма... Митинги, митинги, резолюции, гневные речи трудящихся. Я ехал на поезде в Ставропольский край для чтения лекций, и на столбах вдоль железнодорожных линий еще висели портреты Берия, как и других членов Политбюро. Первая реакция народа: пьем пиво на станции (Орел или Харьков), и старый рабочий, оторвавшись от кружки, говорит: «Да, Лаврентий Палыч, хрен ты теперь холодного пивка попьешь». А что творилось в районном центре Петровское, где я читал первую лекцию! Клуб набит до отказа, люди пешком шли по десять километров из соседних станиц, узнав, что приезжает московский лектор и «расскажет за Берию». Все, затаив дыхание, ждут подробностей, а что я могу сказать, кроме той скупой информации, которой со мной поделились старшие товарищи — лекторы, имевшие связи «наверху»? Драматическим тоном я сообщаю потрясенной аудитории, что 26 июня Берия готовился арестовать весь состав Политбюро в Большом театре после представления оперы «Декабристы», но об этом плане стало известно, и вот прямо с аэродрома, куда он прилетел из Берлина,



Берия был привезен в Кремль на заседание Политбюро, и Маленков с Хрущевым бросили ему в лицо обвинения, а когда он потянулся к портфелю за пистолетом, маршалы скрутили ему руки, а верные Берия войска КГБ уже были разоружены под предлогом смены оружия, и охрана его была арестована и т. д. В какой мере все это соответствовало действительности, я не знаю и по сей день, но в общих чертах дело обстояло именно так. Лидером заговора против Берия был Хрущев, единственный смелый человек в Политбюро, и ему удалось, с огромным трудом и риском для своей жизни, «обработать» и уговорить своих соратников, смертельно боявшихся и ненавидевших Берия, «покончить с Лаврентием, пока он сам не кончил нас всех». Роковая ошибка Берия заключалась в том, что он, как и все прочие политики, недооценивал Хрущева; всем остальным он знал цену, всех их презирал и поэтому проявил, первый раз в своей жизни, беспечность, потерял бдительность — и погиб.

Самое удивительное — но опять-таки характерное для нашего менталитета — было в том, что люди поверили абсурдным обвинениям, выдвинутым против Берия. Не сомневались в том, что самый верный, ближайший соратник Сталина, его земляк, на самом деле был замаскированным врагом, вредителем и шпионом различных разведок. Вот как глубоко засел в людях «синдром 37-го года»: враги повсюду, кто угодно может оказаться предателем. Но было и кое-что другое: я давно заметил, что людям (по крайней мере, советским, других я тогда не встречал) свойственно верить в теории заговоров, В сомнительных случаях, когда трудно знать правду, люди отдают предпочтение наиболее хитрым, коварным,

замысловатым и изощренным версиям случившегося. Простые версии, случайные совпадения их не устраивают, легче поверить в рассказы о кознях, изменах, таинственных интригах и конспирациях. В человеке, особенно «вылезшем наверх», всегда видят худшие стороны, подозревают его в двуличии, своекорыстии, тайных коварных ходах. Когда я работал шофером, я был единственным человеком в гараже, кто верил в то, что Гитлер действительно покончил самоубийством. Все потешались над моей наивностью: «Да ты что? У него, небось, столько капиталов, что он смотался куда-нибудь в Швейцарию и живет припеваючи». Мои возражения (мол, зачем ему капиталы, когда все дело его жизни погибло) встречали только насмешки. Впоследствии никто не сомневался в том, что Тито — предатель. Так же было и с Берия. «Подумать только, чего ему не хватало? В Кремле сидел — так нет, захотел Советскую власть скинуть, капиталистов вернуть. Значит, хорошие деньги ему американцы обещали».

В декабре 53-го года сообщили о расстреле Берия. Никто еще не подозревал, что это этап, шаг по пути к 56-му году, к развенчанию самого Сталина.

### **«СТАЛИН - НАША СЛАВА БОЕВАЯ»**

**Н**а приеме Сталин подходит к Буденному: «Слушайте, товарищ Буденный, сколько лет мы с вами знакомы?» Маршал ошарашен вопросом, не знает, в чем его тайный смысл (а он должен быть), теряется.

«Не помните? А я вам скажу: тридцать лет. Вот так. А у меня, между прочим, до сих пор нет вашей фотокарточки». У Буденного пот катится со лба, он по-дурацки роется во всех карманах, а Сталин подзывает своего охранника. «Дайте мне фотографию Семена Михайловича». Фото тут же появляется. Сталин: «Ну, надпишите мне, пожалуйста». Буденный трясущимися руками вытаскивает ручку, не соображает, что написать. Сталин выручает его: «Ну ладно, не смущайтесь, я сам надпишу от вашего имени» — и пишет: «Основателю Первой Конной Армии товарищу Сталину от С. М. Буденного». Тот берет с недоумением, благодарит. Сталин: «А у вас, товарищ Буденный, есть моя карточка?» Буденный еле ворочает языком: «П-по-м-моему, нет, товарищ Сталин». Вождь вынимает из кармана свое фото, пишет: «Подлинному основателю Первой Конной Армии товарищу Буденному от товарища Сталина» — и вручает маршалу.

Скорее всего, это выдуманная история, но весьма характерная: в ней великолепно передан сталинский стиль, сталинский черный юмор. Приведу еще две. Сталин в первые дни войны наносит визит в Генеральный штаб (это было на самом деле, причем единственный раз). Среди генералов он видит некоего Федорова и удивленно говорит: «А, товарищ Федоров, рад вас видеть, а я думал, что вас расстреляли». У Федорова почти инфаркт. Через четыре года, на Параде Победы, Сталин, разгуливая между трибун, замечает того же генерала. «Здравствуйте, товарищ Федоров, давно не виделись, еще с тех пор, с генштаба, помните? Да, какая тяжелая была война, но ведь что интересно — даже тогда мы находили время весело шутить».

В Москву приезжает по своим делам католикос Грузинской православной церкви. Ему намекают, что раз он в Москве, неудобно было бы не попросить аудиенции у Сталина. Аудиенция испрошена и получена. Встает вопрос: в какой одежде идти к Сталину? В своем патриаршем облачении — но ведь Сталин, исключенный в свое время из семинарии, видеть не может всякие там рясы и ризы. А в штатском наряде идти — не положено по чину. В конце концов католикос надевает пиджак и брюки. Его вводят в кабинет. Сталин сидит за столом, что-то пишет не глядя, кивком подзывает католикоса, смотрит на его костюм и говорит, показывая пальцем вверх: «Что, Его не боишься, меня боишься?»

Таких рассказов множество, они все появились уже после смерти диктатора, при его жизни о таких анекдотах никто не мог и помыслить. Но вот подлинная история, за ее достоверность я могу ручаться. Мне рассказал ее известный кинорежиссер Михаил Ромм, который в 70-х годах собрался ставить фильм о мировых проблемах и пригласил меня к себе домой, чтобы я «просветил» его насчет Азии и Африки. После моей лекции, которую Ромм записывал на магнитофон, мы пили кофе с коньяком, зашел разговор о сталинских временах, и Ромм рассказал историю, случившуюся с его другом, к тому времени уже покойным, адмиралом Исаковым. Я запомнил ее почти слово в слово.

Знаменитый флотоводец, Герой Советского Союза адмирал Исаков был назначен после войны начальником Главного штаба Военно-Морского Флота. В начале 46-го года его шеф, Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Кузнецов приказал ему подгото-

вить для Политбюро доклад о перспективах развития советского флота. «Подготовишь два варианта: большой (по максимуму) и малый, строго объективно, своего мнения не высказывай, времени тебе дается двадцать минут». В назначенный день Исаков с Кузнецовым входят в кабинет, где идет заседание Политбюро под председательством Сталина. Исаков докладывает о двух возможных вариантах развития военного флота — по максимуму и по минимуму. Сталин: «Спасибо, садитесь. Какие будут мнения?» Первым берет слово Ворошилов: «Большой вариант нам не годится, средств не хватит. Страна разорена войной, а стоимость первого варианта равна стоимости восстановления четырех Донбассов. Мы не потянем». Пауза. По лицу Сталина пробегает какая-то еле уловимая тень. Маленков, опытный царедворец, сразу ухватывает настроение вождя, просит слова и говорит: «Я считаю, что надо еще подумать, дело не только в деньгах, Америка готовится к нападению на нас, мы не можем себе позволить отстать и дать американцам возможность господствовать на море». Сталин одобрительно кивает головой, и, увидев это, вскакивает Берия: «Перед лицом агрессивного империализма Советский Союз должен иметь мощный флот, соответствующий нашей роли как великой мировой державы. Я не могу согласиться с мнением Ворошилова». Опять пауза; Ворошилов уже заметно нервничает. Сталин набивает трубку, встает из-за стола и раздумчиво говорит: «Да, товарищи, вопрос непростой, надо все обдумать, но вот что интересно: товарищ Ворошилов уже не в первый раз высказывает мнение, не совпадающее с позицией Политбюро». Молчание. Сталин не спеша раскуривает трубку, прохаживается

вокруг стола. Пауза продолжается три минуты. (Помню, Ромм в этом месте своего рассказа сказал мне: «Вы ведь не человек искусства, вам трудно даже представить себе, что такое пауза, продолжающаяся три минуты».) И вот Сталин произносит такие слова: «Да, товарищи, мы еще не знаем, почему Ворошилов каждый раз упорно пытается навязать нам взгляды, противоречащие интересам нашей партии, нашего государства». Опять пауза; единственный слышный звук — это капли пота, падающие на стол со лба Ворошилова. Сталин: «Да, товарищи, мы этого еще не знаем. Но мы это узнаем». Все ясно. Ворошилов еще жив, но все ясно. Еще несколько выступлений — разумеется, в поддержку «большого варианта» — и Сталин говорит: «Поручим товарищам Кузнецову и Исакову подготовить уже конкретные предложения. А теперь пойдете смотреть кино». Все переходят в маленький просмотрный зал; Ворошилов, конечно, плетется сзади всех, а Исаков, как младший по званию среди присутствующих, тоже замыкает шествие и садится вместе с Ворошиловым за последний из маленьких столиков. Показывают любимый фильм Сталина — «Огни большого города», и в том месте, где слепая продавщица цветов на ощупь узнает Чарли Чаплина, Сталин вынимает платок и утирает глаза. После фильма все выходят в соседнюю комнату, стоят, разговаривают. Исаков, выйдя вместе с Ворошиловым, становится рядом с ним у окна, все держатся подальше от них, и вдруг подходит Сталин. Обращаясь к Ворошилову, он говорит: «Какой все-таки великий художник Чаплин, как он умеет показать простого человека! А ведь это — главное: человек. Мы иногда недостаточно думаем о людях, их заботах,

их здоровье. Вот вы, товарищ Ворошилов — вы что-то плохо выглядите. Наверное, неважно себя чувствуете. Почему бы вам не взять путевку, не поехать отдохнуть на Черное море? Забота о человеке — наш первый долг. Мы вам доверяем — слышите, товарищ Ворошилов, мы вам доверяем. Главное — это люди, бесценный человеческий капитал». Конец сцены.

Вот такая история. Вот таков Сталин. Комментарии излишни. Вспоминается и еще один эпизод, на этот раз с министром внешней торговли Меньшиковым. Сталин с соратниками пирует на черноморской даче, и среди любимых им бананов попадает один гнилой. Сталин: «Если уж мне дают такие бананы, чем же кормят народ? Кто виноват?» Берия: «Как кто? Известно кто — министр Меньшиков ввозит такие бананы». Через несколько дней на приеме в Кремле Сталин подходит к министру: «Товарищ Меньшиков, есть мнение — освободить вас от работы как не справляющегося со своими обязанностями. Какое ваше мнение?» Меньшиков: «Совершенно верно, товарищ Сталин, совершенно верно». Его тут же переводит на другую должность. Это тоже чистая правда, от начала до конца.

Известно, что у Калинина и Молотова были арестованы жены, отправлены в лагеря, и в соответствии с установленным порядком они, как члены Политбюро, должны были собственноручно это решение завизировать. Арестовывали и других жен, и среди них однажды оказалась супруга Поскребышева, личного секретаря Сталина; кажется, это была его вторая жена, на которой он незадолго до этого женился. Поскребышев не выдержал и обратился к Сталину, сказал, что это какая-то ошибка,

его жена — простая деревенская женщина, к политике никакого отношения не имела, в отличие, скажем, от жен членов Политбюро. Сталин посмотрел на него и сказал только: «Слушай, что ты себе бабу не найдешь, что ли?» И вечером, когда Поскребышев вернулся домой, его уже ждала другая жена.

Я не буду повторять другие истории, уже многократно описанные, о том, как Сталин третировал своих ближайших соратников, по-иезуитски издевался над ними, держал их в постоянном страхе. Пережившие 37-й год, эти люди никогда не могли быть уверены в завтрашнем дне, жили под ужасным гнетом. Рассказывают, например, что когда Сталин звонил Микояну, с которым они были знакомы десятки лет, некогда вместе участвовали в революционном движении практически на равных, звали друг друга «Коба» и «Анастас» — Микоян вскакивал (не мог себе позволить разговаривать с вождем сидя) и с желто-бледным лицом говорил только: «Слушаю, товарищ Сталин» или «Конечно, товарищ Сталин, будет сделано». К концу жизни Сталин не доверял уже никому, кроме Маленкова, которому он и поручил сделать вместо себя доклад на последнем в своей жизни партийном съезде; он называл Молотова английским шпионом, Ворошилова велел не допускать на заседания Политбюро. Нет сомнения, что Сталин искренне верил в заговор врачей, был уверен, что надвигается новая мировая война и необходимо провести такую же «чистку», как и в 30-х годах.

Вместе с тем я не верю, что Сталин сам собирался начать войну, напасть на Америку. У него не было той смелости, дерзости, того безоглядного авантюризма,



какие были характерны для Гитлера. Сталин был осторожен, он нападал лишь на слабых (Польша и Финляндия в 1939 году). Поэтому я и не согласен с мнением, что Сталин в 1941 году собирался напасть на Германию и Гитлер просто опередил его. Сталин, конечно, понимал, что рано или поздно война с Германией неминуема, но, заключая пакт с Гитлером, он никак не предполагал, что немцы так быстро разгромят Францию. Он рассчитывал, что между Германией и Францией будет длительная позиционная война, как в 1914—1918 годах, немцы увязнут в окопах, истощат свои силы, и вот тогда уже, когда все западные державы взаимно обескровят друг друга, можно будет нанести удар в спину Гитлеру. События 1940 года опрокинули все эти расчеты, Сталин осознал мощь Германии и стал удешевлять усилия по подготовке к войне. Возможно, он предполагал, что в 42-м году Красная Армия будет в состоянии вести наступательную войну, но Гитлер не дал ему времени для подготовки. В результате, как писал Черчилль, «Сталин с его комиссарами оказался наиболее одураченным из всех, кто опростоволосился во второй мировой войне». Ирония судьбы: не кто иной, как один из самых вероломных и недоверчивых тиранов в истории умудрился оконфузиться так, что заслужил название «опростоволосившегося»!

В конце 40-х годов Сталин попытался было поставить под свой контроль весь Берлин, блокировав его с тем, чтобы задушить «костлявой рукой голода». Но когда американцы организовали беспримерный в истории воздушный мост, Сталин не стал лезть на рожон, пошел на попятный. Точно так же он не осмелился попытаться силой покончить с непокорным Тито, как только стало

ясно, что Запад не собирается оставаться безучастным свидетелем. В эти же годы Сталин был вынужден смириться с поражением в Иране; ведь советские войска, находившиеся в северной части Ирана с 1941 года, когда они были введены туда в рамках согласованной с Англией политики установления контроля над этой страной, оставались там и после окончания мировой войны, несмотря на то, что Совет Безопасности потребовал их вывода. Были уже созданы «демократические республики» (советские сателлиты) в Иранском Азербайджане и Курдистане, древнее иранское государство было на грани распада. Но нашелся человек, который переиграл Сталина, — второй человек за всю его жизнь; первым был, естественно, Гитлер. Это был Кавам эс-Салтане, премьер-министр Ирана. Он договорился с советским послом, что СССР получит концессию на добычу нефти в Северном Иране, как только советские войска покинут эту территорию. Сталин согласился на столь заманчивое предложение, войска были выведены, «демократические республики» в Иранском Азербайджане и Курдистане ликвидированы, а их руководители повешены, но никаких концессий СССР не получил. Кавам объяснил это советскому представителю с обезоруживающей простотой: «Я действительно подписал соглашение, но меджлис (парламент) его не утвердил. Что я могу поделать — у нас демократическая страна». И Сталин остался в дураках.

Вопрос о личности Сталина и его роли в истории дебатировался бесконечно и будет обсуждаться еще многие десятилетия. Из бесчисленных определений и формулировок, характеризующих этого человека, я упомяну здесь лишь одну, принадлежащую перу Василия Гроссмана.

По его мнению, можно говорить о трех ипостасях Сталина как государственного деятеля: первая — революционер нечаевского типа, вторая — российский сановник, вельможа имперской эпохи, и третья — восточный деспот. Мне кажется, именно это уникальное сочетание лучше, чем какая-либо иная характеристика, позволяет понять сталинскую натуру. Я бы только добавил еще комплекс неудачника (как и у Гитлера): молодой человек низкого происхождения, наделенный от природы могучей волей и бешеными амбициями, но лишенный талантов и обаяния, с невзрачной внешностью и скудным образованием, ощущающий свою неполноценность именно в том обществе, признания которого он мечтает добиться, — таков был Сталин на заре своей политической карьеры. От этого комплекса идет если и не все, то многое из последующего: это состоятельное, образованное общество пренебрегает им, он не может в него вписаться, дотянуться до него — что ж, отлично, он бросает вызов обществу, он с теми, кто его уничтожит, а заодно и весь строй, при котором таким, как он, нет места.

В этом, вообще говоря, нет ничего уникального. Не только Гитлер, но и Муссолини, и немало других честолюбивых молодых провинциалов в разные эпохи и в разных странах, сочтя себя обиженными обществом, становятся на путь борьбы, пользуясь подвернувшимися под руку идеями — полусоциалистическими, полуанархистскими. К кому конкретно примкнуть молодому Сталину? По своему темпераменту он мог бы стать анархистом, но время анархистов прошло, в Закавказье их и не видно, да и сама идея безначальственности, безгосударственности чем-то отталкивает его, в нем уже смутно

проклеваются черты будущего государственника, создателя строгой иерархии власти. И он идет за большевиками, здесь уже все есть — и идея, и организация, и вождь — Ленин. Его судьба определилась, это — его партия. Он нашел родственную стихию, и она нашла его. Такие люди нужны Ленину. Все то жестокое, беспощадное, беспредельно энергичное и целеустремленное, что проявится впоследствии в этой партии с ее презрением к людям, к свободе личности, к морали и принципам — все это уже есть у Сталина. Историческая встреча состоялась, партия нашла будущего вождя, хотя никто об этом еще не подозревает. Он понадобится потом, еще нескоро, но непременно: в нем — квинтэссенция, концентрат именно тех качеств, которые будут востребованы рано или поздно, на развилке дорог. У всех остальных, кроме, конечно, Ленина, чего-то не хватает, чтобы возглавить такую партию; у Сталина есть все.

Но до этого еще далеко, а пока что он вновь не в своей тарелке. Комплекс неполноценности не исчезает в среде революционной элиты: куда ему до Троцкого, Луначарского, Каменева, Красина, Бухарина. И точно так же, как он ненавидел старое общество, для которого он был ничтожным люмпеном, он начинает ненавидеть этих блестящих интеллектуалов, этих изощренных ораторов с их эрудицией и иностранными языками, особенно же — евреев. Мужик, провинциальный выскочка — он им еще отомстит, его час придет. Как гласит арабская поговорка, бедуин отомстил через сорок лет и сказал: «Я поспешил». Их головы еще покатаются, а пока что — беспредельная преданность только одному человеку — одному, но главному. За всю свою жизнь только

одного Ленина он признает равным себе — а может быть, и выше себя. Из всех вождей большевизма только про Ленина он мог бы сказать: «Мы одной крови — ты и я». И Ленин это чувствует; инстинктивно он ощущает, что у Сталина — тот же химический состав, что и у него самого, и он поощряет и продвигает его, доверяет ему трудную оргработу после смерти Свердлова — единственного, чей организационный гений не уступал сталинскому. И Сталин поднимается, он растет на глазах, он входит в ареопаг большевистских вождей, он уже с ними на равных, и имя «Коба» уже произносится с уважением. Чем это объяснить? Низкорослый, тщедушный, рябой, никудышный оратор — что притягивает к нему?

Конечно, обстоятельства ему благоприятствуют. Вожди безоговорочно признают только главенство Ленина, а друг друга ненавидят. В предвидении ухода больного Ильича они исподволь начинают борьбу за наследство, и главная мишень — блистательный Троцкий. Он опасен для всех, Сталина же не боится пока что никто. Дальнейшее известно. Зиновьев с Каменевым против Троцкого — вместе со Сталиным. Он придает устойчивость антитроцкистской коалиции, ведь в его руках уже аппарат, тот самый всемогущий аппарат, который эти люди фатально недооценивают, и только Сталин первый понял цену этой страшной силы. Бухарин с Рыковым против Зиновьева и Каменева — опять вместе со Сталиным. И наконец — он сам против Бухарина и Рыкова. Игра выиграна, партия за ним — в обоих смыслах этого слова.

Грызня вождей — это условие, без которого Сталин никогда не выбрался бы наверх, но ведь это было неизбежно: на протяжении всей истории человечества смерть

Великого Руководителя непременно приводила к борьбе за власть, исключений не было и быть не может. Не сам Сталин создал это условие для своего возвышения, он лишь правильно использовал ситуацию. Благоприятствовало ему также и идеология интернационализма, исповедовавшаяся большевиками: в любой другой атмосфере, кроме как в интернационалистской, выходец с Кавказа не мог бы стать главой русской державы, даже если эта держава называлась по-другому. В послереволюционный период никто не обращал внимания на грузинское произношение, и вообще значительная часть большевиков говорила с местечковым жаргонным акцентом (я еще застал в начале своей работы в Академии наук немало людей с характерным, почти карикатурным еврейским акцентом; половина их были старые большевики, отбывшие срок в ГУЛАГе). Разумеется, интернационализм в Советской России был объективной реальностью, которая пошла на пользу Сталина, никакой его собственной заслуги в этом нет.

А вот что он действительно сотворил своими руками и что стало ключевым фактором его успеха — это создание образа Сталина как Самого Верного Ленинца, беззаветно и последовательно отстаивавшего дело Ленина. При том обожевлении Ленина, которое уже было в начале 20-х годов, считаться главным борцом за ленинизм было делом стопроцентно выигранным, полной гарантией успеха. Но добиться этого, имея рядом с собой, скажем, Зиновьева, настолько близкого Ленину, что они вместе скрывались в знаменитом шалаше в 17-м году, или Бухарина, которого сам Ильич называл «любимцем партии», было, надо полагать, совсем непросто. И вот

тут уже проявился не столько организаторский талант Сталина, сколько его выдающиеся качества «политического животного», употребляя западный термин. Непревзойденная способность к интриге, умение делать двойные и тройные ходы, двуличие, безграничное терпение паука, плетущего паутину, безошибочный нюх на верных людей, способность казаться «своим» в глазах лидеров противоборствующих группировок — и все это при том, что нельзя было ни на минуту расслабляться, терять бдительность, вызвать хоть малейшее подозрение у того, от которого зависело все, — у Ленина. Ведь — повторим еще раз — именно Ленин был покровителем и патроном Сталина, продвигал его и доверял ему. Без Ленина не было бы Сталина. Ленин создал Сталина. Правда, в последние годы жизни Ленин, в котором, возможно, проснулось что-то человеческое, стал проявлять по отношению к Сталину настороженность и даже, видимо, пытался по мере своих угасающих сил попридержать его, вплоть до знаменитой характеристики, данной Сталину в ленинском «завещании». Но это не меняет основного факта: вопреки мнению почитателей Ленина, пытающихся доказать, что Сталин как-то обманул и «обошел» Ильича или что Ленин просто не придавал большого значения должности генсека, — на самом деле основатель и вождь большевизма своим непревзойденным чутьем, своей интуицией распознал именно в Сталине человека, способного обеспечить торжество его, ленинского, дела. Всем остальным соратникам Ленина чего-то для этого не хватало. Троцкий по силе личности, по волевым качествам, энергии и решительности был единственным, кто не уступал Сталину, а по способностям неизмеримо превосходил

его, но у Ленина к Троцкому было двойственное отношение, он не мог забыть его прошлое соперничество с ним (сантбольшевизм Троцкого — это не случайность»); кроме того, Ленин знал слабое место Троцкого — его неспособность к повседневной административной работе, к аппаратной деятельности, к созданию для себя широкой политической базы, наконец — его неумение и нежелание сколачивать команду, устанавливать нормальные деловые отношения с другими лидерами. Нет, Троцкий не мог быть подлинным продолжателем дела Ленина, обеспечить единство партийных рядов. Зиновьев, при всей его энергии и ораторском искусстве, не обладал смелостью и решительностью; Каменев и Бухарин, весьма популярные в партии (особенно последний), не являлись прирожденными лидерами, в них была какая-то интеллигентская мягкость, неприемлемая для большевистского вождя; Рыков не отличался интеллектом и широтой кругозора и т. д., и т. д. Итак, Сталин и только Сталин, — конечно, далеко не идеальный вождь, но предпочтительная фигура на фоне всех остальных.

И Ленин не ошибся. Ретроспективно можно сказать, что то, что сделал в последующие десятилетия Сталин, укрепляя, консолидируя ленинское дело, создавая и утверждая подлинно ленинское, т. е. тоталитарное государство, было бы не под силу никому, кроме него. «Сталин — это Ленин сегодня» повторялось беспрерывно в 30-х и 40-х годах, и это было правдой. Можно бесконечно рассуждать о том, что было бы, проживи Ленин еще, скажем, десяток лет. Вероятно, такого массового террора, 37-го года, «ежовщины» не было бы хотя бы потому, что Ленину не было бы необходимости утверждать свое



единовластие путем устранения партийной элиты. Здесь, в этом беспрецедентном в истории терроре, проявились те качества Сталина, о которых уже говорилось, — его до конца не преодоленный комплекс неполноценности, его злопамятность и мстительность. Но не только это. Надо, обязательно надо было убрать старую элиту и создать новую. Правильно писал Анатолий Рыбаков в «Детях Арбата»: те люди, которые пришли к власти вместе с вождем, — это не люди вождя; он слишком повязан ими, опутан сетями совместной борьбы, когда они все были на равных, он — один из них, а должен быть — просто один, единственный.

Иногда говорят: «Ну хорошо, Сталин уничтожил Троцкого, Зиновьева, Бухарина и т. д. — это еще как-то понятно, они — его враги, соперники, но зачем понадобилось сажать или расстреливать почти поголовно всех наркомов, командармов, целые составы обкомов и горкомов партии, всех крупных хозяйственников и прочих?» А я вспоминаю разговор с заместителем министра иностранных дел Владимиром Семеновым у него на квартире, в знаменитом «доме на набережной», в 70-х годах, когда я удивился, увидев на стене портрет Сталина. «Да, — сказал Семенов, — я и не отрицаю: я птенец гнезда Петрова, я всем обязан Сталину. Я, как и Громыко, и другие, был простым инженером, а когда Сталин почистил кадры Наркоминдела, нас выдвинули на дипломатическую работу, и вот я — замминистра». В этом все дело: в тридцатые годы произошла невиданная по масштабу замена кадров, и ключевые позиции повсюду заняли люди, всем обязанные лично Сталину, и в их преданности можно было не сомневаться. Те, другие, которых

Сталин уничтожил, тоже были в своем огромном большинстве вполне лояльны, почти все они в двадцатых годах были его людьми, он сам их отбирал в аппарат, они вместе с ним боролись против оппозиции — и они получали в 37-м году пулю в затылок, так и не поняв, в чем же их вина. А вины и не было — была беда, судьба; они были с о р а т н и к и, а время соратников миновало.

Ленин мог бы обойтись без всего этого, и количество жертв было бы несравненно меньшим. Но все равно и при Ленине в конце двадцатых годов была бы коллективизация, было бы раскулачивание, уничтожение крестьянства, может быть, не в столь жестокой форме. Большевизм в своем логическом развитии просто не мог сохранить НЭП, ибо это означало сохранение частной собственности, свободной торговли, что не только противоречило марксистской теории и основной большевистской концепции (сам Ленин считал, что хотя НЭП — это серьезный и надолго, но все же это временное отступление), но и мешало установлению подлинно тоталитарного строя, к чему большевизм шел неуклонно, повинувшись внутренней логике своего развития. И Сталин уничтожил крестьянство как класс потому, что оно оставалось единственным классом (если не считать не слишком опасных городских нэпманов), который имел автономную базу для своего существования, не зависел целиком и полностью от государства. А ведь если какой-то класс имеет самостоятельную экономическую базу, рано или поздно он может потребовать и своего политического представительства в системе власти, что угрожало монополии ленинской партии. И, повинувшись этому императиву, Ленин тоже создал бы монолитное тоталитарное

государство, исключаящее плюрализм как в политике, так и в экономике.

Значит ли это, что все было детерминировано, вариантов не было? Конечно, нет. В принципе можно себе представить такой исход борьбы двадцатых годов, при котором верх взяла бы, например, бухаринская концепция. Но это было бы нарушением основной логики развития большевизма, это не было бы закономерно. А закономерностью, логичным развитием всего процесса было именно то, что в действительности и произошло. Восторжествовал ленинско-сталинский путь. И Ленин из своего мавзолея мог бы аплодировать Сталину за то, что он сделал, хотя и порицал бы его за перегибы, за проявление именно тех личных качеств, которые он, Ленин, успел перед смертью заметить.

Ленин был основателем и вождем большевизма, только он, и он один, мог заложить основы системы. Сталин был лишь продолжателем, вторичным явлением, он никогда не смог бы возглавить и привести к победе большевистскую партию. Ленин и Троцкий были людьми Октября, людьми революции, Сталин был человеком консолидации победы.

Роль личности в истории? Вот вам пример — Ленин. Без него весь двадцатый век был бы иным. Сколько ни говори о закономерности и неизбежности революции семнадцатого года, без Ленина большевики не захватили бы власть в Октябре. Только его поистине гениальная личность определила ход событий, другого такого человека у большевиков не было. Это же, между прочим, можно сказать и о роли Гитлера в Германии. Разные люди и разные ситуации, но одно есть общее: не было бы их,

все было бы иначе. Прочитав много книг о Гитлере, я пришел к убеждению, что из всех политических фигур Германии двадцатых годов только он обладал качествами, способными обеспечить становление национал-социализма как мощного массового движения, захватившего и околдовавшего миллионы людей. Никто другой таким дьявольским даром не обладал. Да, приход нацистов к власти не был случайностью, это была жуткая, но закономерная кульминация определенной — хотя вовсе не единственной — тенденции развития германского общества в начале двадцатого века. Злой рок толкал немцев к гитлеризму, но без самого Гитлера нацисты не смогли бы овладеть великим народом. И если бы ефрейтор был убит в окопах на земле Франции, не погибли бы спустя четверть века десятки миллионов людей...

А без Сталина большевизм все равно не погиб бы даже после смерти Ленина, хотя во многом он был бы иным, не столь свирепым (именно поэтому ему труднее было бы противостоять всем угрозам, как внутренним, так и внешним, включая Отечественную войну). Но отведенную ему судьбой роль — скромную на фоне Ленина — Сталин сыграл в полном соответствии с чудовищным сценарием.

## СТАЛИНСКИЕ ЛЮДИ

Пятнадцатая партконференция, октябрь 1926 года. Объединенная троцкистско-зиновьевская оппозиция обвиняет сталинцев-бухаринцев в термидорианском перерождении. Ей отвечает Бухарин: «Не смейте кричать,

что у нас термидор! Не смейте кричать, что у нас пере-  
рождение... Зиновьев говорил, как хорошо Ильич посту-  
пил с оппозицией, не исключал всех тогда, когда он имел  
только два голоса из всех на профессиональном собра-  
нии. Ильич дело понимал: ну-ка, исключи всех, когда  
имеешь два голоса. (Смех.) А вот когда имеешь всех,  
и против себя имеешь два голоса, и эти два голоса кри-  
чат о термидоре — тогда можно и подумать». (Возгласы:  
«Правильно!» Аплодисменты, смех. Сталин с места:  
«Здорово, Бухарин, здорово. Не говорит, а режет».)

Пятнадцатый съезд ВКП(б), декабрь 1927 года. Троц-  
кий уже разбит, добивают Зиновьева и Каменева. Вы-  
ступает Рыков: «Товарищ Каменев окончил свою речь  
тем, что он не отделяет себя от тех оппозиционеров, ко-  
торые сидят теперь в тюрьме. Я должен начать свою речь  
с того, что я не отделяю себя от тех революционеров,  
которые некоторых сторонников оппозиции за их анти-  
партийные и антисоветские действия посадили в тюрь-  
му». (Бурные, продолжительные аплодисменты, крики  
«ура!». Делегаты встают.) Выступает Томский: «Рабочие  
хотят, чтобы вы перестали бузить, а если не захотите  
перестать — чтобы партия заткнула вам глотку». (Апло-  
дисменты. Косиор: «Вот это правильно!») Томский про-  
должает: «Если на одну чашку весов положить ваши  
заслуги перед партией и перед рабочим классом, а на  
другую чашку весов все, что вы натворили и наблюдали  
за эти два года, вторая чашка весов стукнет — она пере-  
тянет, и в расчетах с вами давным-давно стертые с доски,  
с доски истории все ваши заслуги перед рабочим клас-  
сом». Выступает Рудзутак: «Вы пришли с обманом и ло-  
жью. На этой почве у нас мира быть не может... ваши

взгляды с нашей партией несовместимы. Как вы смеете с такой наглой ложью предстать перед съездом?»

Так разговаривали большевики с большевиками — со старыми друзьями и соратниками. А через четыре года таким же языком будут на другом съезде партии говорить с Бухариным, Рыковым и Томским, и так же они будут стоять, оплеванные и униженные, перед своими старыми товарищами по партии, и уже им будут тыкать в нос, чего стоят их прежние заслуги на доске истории, и съезд будет бурно аплодировать Сталину, Молотову и Кагановичу. А Рудзутак и Косиор через десять лет разделят судьбу Зиновьева и Каменева, Бухарина и Рыкова, и лишь Томский успеет сам пустить в себя пулю, осознав в последний момент, кого перевесила «чашка весов».

Как объяснить эту жестокость, безжалостность по отношению к своим же — не к белогвардейцам, не к эсерам или меньшевикам, а к тем, с кем вместе боролись в подполье, отбывали ссылку, воевали на фронтах? Откуда такая бесчеловечность?

А это и есть суть большевизма — непримиримость, нетерпимость, беспощадность, полнейшая готовность предать и растоптать лучшего друга, если он стал мыслить не так, как большинство во главе с вождем. Без этих качеств большевики-ленинцы не смогли бы победить. Илья Эренбург в книге «Хулио Хуренито» говорил от имени своего героя, обращающегося к большевику: «Со многими мыслями жизнь кончают на корточках, за тумбой, а начинают ее, напротив, с неумолимыми шорами, концентрирующими всю энергию на едином помысле... Действие начинается там, где кончаются высокоумные «но». Я вполне оценил всю мощь вашего «конечно». Это

значит, что у вас не девяносто девять сотых, а вся истина, ибо если у какого-нибудь меньшевика хоть одна сотая ее, то его вместо тюрьмы надо позвать советоваться, начать обсуждать, раздумывать, колебаться и перестать действовать». Но тот, кто сегодня сажает в тюрьму меньшевика, осмелившегося думать, что у него тоже частичка истины, тот завтра посадит и своего товарища по партии, чье мнение в чем-то разошлось с этой единственной и непререкаемой истиной — разумеется, в трактовке нынешнего вождя. Антигуманизм, бесчеловечность становятся частью натуры. Такие черты, как способность выслушать и понять другую точку зрения, как сочувствие, снисходительность, великодушие, сострадание — все это отвергается априори, это — буржуазный и интеллигентский лжегуманизм, несвойственный революционеру. Прощать ошибки, идти на уступки, рожать истину в споре — какая чепуха, какая мягкотелость и дряблость воли. Беспощадность к оступившимся, к инакомыслящим, к своему собрату, чуть-чуть засомневавшемуся в правильности железной линии партии — вот кредо большевика. И упаси боже, чтобы тебя самого заподозрили в сочувствии «уклонившемуся» — ты тут же будешь затоптан своими же друзьями. Проявил мягкость, усомнился в обвинениях по адресу старого, безусловно преданного делу революции товарища — и ты уже сам становишься таким же изгоем и отщепенцем, отсекаешь себя от партии. Как воскликнул на партсобрании в тридцатых годах коммунист, обвиненный в потере бдительности: «Да, товарищи, я признаю, я — не наш человек!»

Все это порождает и особый «партийный» стиль общения, отличающийся грубостью, фамильярностью,

презрением ко всем проявлениям чуткости, деликатности, благородства. В моде «рабочие» манеры; надо резать в лицо правду-матку, по-нашему, по-простому, без этих интеллигентских и дворянских штучек, надо бить наотмашь, не стесняясь в выражениях. Тон задавал сам Ленин, — его работы, даже теоретические, полны ругательств, непристойных выражений, хамской издевки над оппонентами; ненависть рвется из каждой фразы. Но дальше будет еще хуже — ведь Ленин все-таки не мог полностью преодолеть то, что было заложено воспитанием, что-то интеллигентское, европейское, а у Сталина ничего этого нет. «Мы гимназиев не кончали» — и воцарится откровенно плебейский, вульгарный стиль, «пролетарская прямота» превратится в бесцеремонность, в беспардонное хамство. Начальники будут тыкать подчиненным, полковники крыть матом капитанов, грубость и бессердечие станут нормой. Я однажды присутствовал в 60-х годах на совещании у Микояна по вопросу отношений с Ираком; когда наш посол в Ираке стал говорить о социально-экономической обстановке в стране, Микоян грубо оборвал его: «Вы что, лекцию по политэкономии нам сюда читать пришли? Садитесь». А Микоян считался еще самым вежливым из членов Политбюро, Каганович вообще мог довести человека до инфаркта. Но это все было уже вторичное — на житейском уровне — производное от главной, органической, сущностной черты ленинского большевизма — враждебности гуманизму, свободомыслию, идее самоценности человеческой личности.

Именно поэтому Сталин и оказался тем человеком, который лучше других мог руководить партией ленинского типа; в нем воплотился ее дух, и это сразу почув-



ствовали миллионы «выдвиженцев», тех новых, уже послереволюционных кадров, которые рванулись в партию и комсомол в двадцатых годах. Выходцы из деревни и из рядов неквалифицированного рабочего класса, эти люди «нутром» почувствовали именно в Сталине того вождя, который им нужен. Конечно, огромное значение имело то, что Сталину удалось монополизировать роль знаменосца ленинского курса, главного борца за дело Ленина, но не надо заблуждаться — дело было не только в этом. Нетерпимость, беспощадность в борьбе с «остатками эксплуататорских классов», с кулаками и прочими «чуждыми элементами», с недобитой «гнилой интеллигенцией» — и, под прикрытием этого, монополия на власть — вот что тянуло к Сталину «новых партийцев». С одной стороны, в них уже было намертво вбита идея незатухающей классовой борьбы, а с другой стороны — открывались заманчивые перспективы партийной карьеры, возможность стать хоть маленьким, но начальником, влиться в господствующую элиту. Были, конечно, и такие — из числа образованной молодежи, — которые искренне, свято верили в коммунистические идеалы, в грядущее царство справедливости, а эти идеалы воплощались в партии. И тут не было места сомнениям. «Партия всегда права!» — это всосалось в плоть и кровь. Ты растворен в великой безличной массе (не совсем, правда, безличной — одна личность всегда должна быть, на самом верху, она символизирует преемственность Великого Дела), и вот это сознание растворенности, всеобщности, причастности к историческому Делу, к самой истории, дает небывалую силу. За тобой — историческая правда, за тобой — прогресс человечества. Что по сравнению с этим

судьба отдельных людей, которые попали «под колесо истории»?

В головах миллионов молодых людей были перемешаны, неразрывно связаны, соединены в «чудесный сплав» оба этих компонента Сталинского Пути — и безоглядная вера в идеалы коммунизма, оправдывающая любую жестокость, и честолюбивые карьерные устремления, реализующиеся приобщением к всемогущей правящей силе. Так могли ли люди такого склада вести себя иначе, чем так, как требовала ведущая «последний и решительный бой» ленинская партия, вождем и символом которой стал Сталин? Могли ли они не участвовать в травле оппозиции, в раскулачивании крестьянства, в создании культа Сталина?

А «старые революционеры», большевики с дореволюционным стажем, те, которые уже оказались в высших эшелонах власти, — как же они-то, неужели не видели, к чему ведет «охота на ведьм»? Многие, возможно, уже и начинали о чем-то догадываться, но ведь Сталин уже олицетворял партию и все то дело строительства социализма, к которому все эти люди были причастны, — а именно в этой причастности к общему делу был смысл их жизни.

Зловещая и не случайная ассоциация: именно в эти годы, в начале тридцатых, Рудольф Гесс провозгласил на съезде нацистской партии: «Партия — это Гитлер! Германия — это Гитлер! Гитлер — это Германия!» Бурная овация была ответом на эти слова. Замените название страны и имя вождя...

Люди, привыкшие на протяжении всей своей политической жизни отсекаать и изгонять, исключать и сажать —

сначала эсеров и меньшевиков, потом левую оппозицию, потом правых уклонистов, — могли ли они в середине тридцатых годов, в эпоху Великих Свершений, когда социализм зримо возникал «в буднях великих строек», — остановиться, ужаснуться, вдуматься? Чертово колесо набирало ход, надо было держаться изо всех сил, чтобы не соскользнуть, чтобы остаться с партией, — а партию олицетворяет вождь, а партия всегда права, стало быть, прав и вождь. Забирают твоего старого товарища — вроде бы кошмар, абсурд, какой же он враг, шпион, но тут же — спасительная мысль: а может быть, я не все знаю, что-то есть, чекистам виднее, зря не берут, нет дыма без огня, а если напраслина — разберутся, выпустят, а заступишься — и тебя возьмут, а ты на ответственном посту, делаешь большое дело, пользу стране приносишь, тебя не будет — урон для партии, для дела... У людей такого склада — да разве возникнет мысль возмутиться, поднять голос, а тем более — убрать Вождя? Ведь это значит — все перечеркнуть, свое прошлое оплевать, оказаться в мусорной яме истории, да и страну обезглавить перед лицом Гитлера; вот и цеплялись за эту соломинку, пока в квартиру не входили люди в фуражках и с понятами...

В Германии в 1944 году полковник граф фон Штауфенберг, прусский офицер, патриот, самостоятельная личность, член подпольной организации, попытался убить Гитлера. В Советском Союзе маршал Тухачевский, которому некоторые авторы приписывали намерение стать «красным Бонапартом», свергнуть Сталина, был на самом деле бесконечно далек от этой мысли. Возможно, он презирал Сталина и был равнодушен к идеологии марксизма, но он уже не мог отделять себя от той властвовавшей

и привилегированной элиты, в которую он вошел. Смелый боевой офицер, он был полностью сломлен и раздавлен, когда его арестовали «свои», — никакой внутренней, самостоятельной опоры в нем уже не могло быть. Опустошенность, полный крах всего, чему служил, ради чего жил... Большие люди, известные на всю страну, над которыми уже нависал меч, до последнего момента еще надеялись, что уж их-то минует чаша сия. Психологически уже заранее надломленные — удивительно ли, что лишь ничтожное число их покончило самоубийством в последнюю минуту, когда уже в дверь стучат и револьвер под рукой; нет, покорно шли на Лубянку, под пытки...

Этот тип людей был создан Лениным и Сталиным. Страшно становится, когда читаешь, что говорил Бухарин за два года до собственной гибели, когда шел процесс над «троцкистско-зиновьевской бандой», как он восхвалял Сталина и клеймил Зиновьева и Каменева. И те из них, которые уцелели в кровавой мясорубке тридцатых годов, уже не существовали как самоценные личности. Разве они могли уважать сами себя? Что в них осталось, кроме страха за свою жизнь и беспрекословной готовности исполнить любой приказ вождя? Рассказывали, что когда исключенный из Политбюро Вознесенский сидел в тюрьме, дожидаясь расстрела, к нему в камеру пришел Булганин и топтал его своими маршалскими сапогами. А как жалко и трусливо вели себя обвиненные в создании «антипартийной группы» Маленков и Каганович на пленуме ЦК в 1957 году? А как набросились, словно стая волков, на Жукова осенью того же года на следующем партийном пленуме его боевые соратники, прославленные советские маршалы?

Конечно, незаурядные личности все же были — тот же Берия, изверг и убийца, но человек бешеной энергии и силы воли; Хрущев, при всех его недостатках, — фигура неординарная, наделенная инициативностью и смелостью; азербайджанский лидер Багиров.

О Багирове стоит сказать несколько слов. Он выделялся на фоне остальных, весьма бесцветных, закавказских вождей. В Армении, например, долгие годы правил Арутинов, с фамилией которого связана забавная история. Вообще-то, как знает любой армянин, эта весьма распространенная фамилия звучит как Арутюнов. Сталии, посылая будущему секретарю ЦК компартии Армении поздравительную телеграмму ко дню рождения, написал его фамилию через «и», ближе к грузинскому произношению. И Арутюнов с этого момента велел писать свою фамилию не иначе как Арутинов. Багиров был сделан из другого теста. Волевой и решительный, он был абсолютным хозяином в своей республике. Он даже в чем-то перещеголял Сталина: тот репрессировал большинство делегатов XVII съезда, многие из которых голосовали против него на выборах Политбюро (тайным голосованием), а Багиров у себя в республике в аналогичной ситуации пересажал вообще всех делегатов своего азербайджанского съезда — чтобы уж знать наверняка, что не остался никто из бросивших ему «черный шар».

Мне запомнилась история, рассказанная одним высокопоставленным партийным деятелем со слов человека, бывшего до войны заместителем наркома внутренних дел Азербайджана. Этот нарком был самым страшным человеком в республике (после Багирова, конечно). Так вот, заместителя однажды вызывают к Багирову, а это

было в Баку то же самое, что быть вызванным к Сталину в Москве; как вспоминал Хрущев, «идешь и не знаешь, вернешься или нет». Замнаркома входит в огромный кабинет, в самом конце которого сидит за письменным столом Багиров, кивком головы молча подзывающий его. Пока он шел через кабинет, он шестым чувством ощутил, что кто-то еще здесь есть, и, бросив взгляд в угол, увидел там своего шефа, грозного наркома, который сидел на краешке стула и дрожал, «как собака, вышедшая из воды». Заместитель подошел к столу Багирова и услышал только одну фразу: «Возьмешь это говно, повезешь в Москву. Иди!» Ему пришлось конвоировать своего, уже опального, начальника, в Москву, где того быстро подключили к какому-то очередному списку врагов народа и расстреляли. А заместитель вернулся в Баку, где его вскоре сняли с работы и посадили, но он уцелел и рассказал — десятки лет спустя — эту историю.

Однажды в Баку приехала делегация иранских парламентариев. Можно представить себе, как их угощали и что им показывали; один из них, однако, проявил черную неблагодарность и в газетной статье рассказал, что азербайджанские партийные руководители живут так, что тегеранская знать по сравнению с ними — просто бедняки. Сталин узнал об этом, рассердился и отправил в Баку комиссию госконтроля для проверки финансовых дел. Багиров распорядился поселить членов комиссии, молодых еще людей, в лучшей гостинице, окружить их всяческим вниманием и заботой. Финансовая проверка — дело долгое, московские гости не устояли перед обильными возлияниями и красивыми девушками, и в конце концов Багиров отправил Сталину полное досье на членов

комиссии, включая заснятые подробности их веселого времяпрепровождения в Баку, с комментарием: «Вот кого прислал нам Мехлис». Этим людям, естественно, снимали с работы и выгнали из партии, а дело об источниках богатства и роскоши бакинской элиты тихо утасло.

Багирова расстреляли по «делу Берия». На процессе он держался мужественно, признал свои злодеяния, категорически отвергнув обвинения в шпионаже и измене, и заявил, что гордится тем, что был цепным псом Сталина.

Из среднеазиатских руководителей колоритной фигурой уже позднесталинского периода был первый секретарь в Узбекистане Усман Юсупов, при котором, как говорят, и началась знаменитая узбекская коррупция, расцветшая потом при Рашидове. Рассказывают, что однажды, после того как Сталин провел в Москве пленум по кадровым вопросам, Юсупов решил сделать то же самое в Ташкенте, чтобы распечь своих подчиненных, и выглядело это так: «Министр просвещения товарищ Кадыров — вставай, пожалуйста. Что доложить можешь, как высшим образованием руководишь? Сам за всю жизнь две с половиной книжки прочитал, что в просвещении понимаешь? Садись, пожалуйста. Следующий — министр здравоохранения товарищ Абдуллаев. Абдуллаев, вставай, пожалуйста. О положении в больницах что знаешь? Полтора литра водки в день пьешь, больше ничего не умеешь. Садись, пожалуйста». И так далее.

Но это было уже после войны, а в тридцатых годах было не до смеха. Руководитель моей дипломной работы Кузнецов, зам. директора института, где я учился, перед войной был вторым секретарем ЦК Таджикистана. Он

рассказывал, что в 37-м году было ясно, что кого-то арестуют — или первого секретаря, или его, Кузнецова, и каждый из них собирал на другого компрометирующие материалы, чтобы в случае ареста свалить на того вину за провалы в борьбе с врагами народа. Помощники обоих секретарей ЦК прятали эти материалы в памирских пещерах, каждый в своей. Забрали первого секретаря, но вытасченный его помощником компромат на Кузнецова оказался, видимо, не слишком тяжелым, и Кузнецов отделался переводом на дипломатическую работу в Иран.

Этот же Кузнецов рассказал мне, что в 39-м году он был свидетелем последнего появления на публике Ежова. Было какое-то большое совещание, присутствовал сам Сталин. Был, как водится, предложен состав президиума, в который включили и Ежова, как наркома внутренних дел. И вдруг встает Жданов и дает отвод Ежову! Как рассказывал Кузнецов, все ахнули и замерли: Жданов, конечно, фигура, но чтобы выступить против «кровавого карлика»? Ежов идет к трибуне, бледный как полотно (он уже, конечно, все понял: разве мог бы Жданов осмелиться на такой шаг по своей инициативе?), и сбивчиво произносит несколько фраз: «Товарищи, заверяю вас, что все, что я делал, было по личному указанию товарища Сталина... Товарищи, я ничего не предпринимал без согласования с товарищем Сталиным...» Все молча смотрят на Сталина; тот побагровел, усы у него поднялись кверху (признак гнева), и вот он произносит роковые слова: «Вы черный человек, Ежов! Вам не место в партии». Все ясно, Ежова уже считай что нет на свете. И действительно, через несколько дней Ежова сняли с должности и назначили наркомом водного транспорта, а вскоре



арестовали и расстреляли. Наркомом стал Берия. Был почти полностью заменен аппарат наркомата; сотни чекистов, руки которых были по локоть в крови, теперь сами получили пулю в затылок. Десятилетия спустя один старый зек, с которым я разговорился в одной из лекторских поездок, рассказал мне, что в лагерь, где он отбывал заключение, в 38-м году прибыла комиссия с Лубянки, наделенная правом пересматривать приговоры заключенным. Чекисты работали не спеша, рассматривая дела «врагов народа», и время от времени некоторым заключенным, приговоренным к десяти годам, заменяли срок на «вышку», после чего расстрельная команда уводила этих людей за сопку. Комиссия закончила работу и готовилась отбыть в Москву, как вдруг оттуда приехала другая группа чекистов (власть на Лубянке сменилась) с задачей проверить работу самой комиссии. Вновь прибывшие оценили работу комиссии как вредительскую и тут же на месте вынесли приговор. Членов комиссии увели за ту же сопку...

А страна жила, и люди пели «радостные песни о великом друге и вожде».

## МОСКВА ТЕХ ВРЕМЕН

Да, страна жила. А как она жила, какие были люди, какая была Москва, например? Я иногда, когда выдается свободное время, люблю побродить по городу, в котором прошла вся моя жизнь, и чуть ли не на каждом шагу — воспоминания. Вот площадь Маяковского —

«моя» площадь, моя с самого детства. Не было ни зала Чайковского, ни гостиницы «Пекин», на ее месте стоял пороховой завод, впоследствии взорвавшийся. Главное, на ней был кинотеатр «Москва», который я посещал, наверное, не меньше раза в неделю. Другая близкая мне площадь — Пушкинская; там, где сейчас «Макдональдс», был кинотеатр «Унион», а потом, когда его снесли, — известная на всю Москву пивная; напротив, где сейчас «Известия», — еще один кинотеатр, «Центральный». Каждый уголок в центре города о чем-то напоминает. Вот Малый Каковинский переулок около Смоленской площади, где жили мой дядя, бабушка с сестрами, рядом была ныне исчезнувшая Собачья площадка, переименованная в 30-х годах в Площадь советских композиторов, еще дальше — родильный дом имени Грауэрмана (теперь он оказался на Новом Арбате, тогда такой улицы не было), там я родился, а спустя много лет там же родилась моя дочь.

Я еду по Садовому кольцу между Смоленской и Кудринской, въезжаю в туннель, его не было, а был бульвар, ходил трамвай «Б» («букашка»). Вспоминаю, как я гордо вел по этой улице мой грузовик в первый день, как только самостоятельно сел за руль — уже не как стажер, а как «хозяин машины». Как же мало было тогда транспорта; если бы мне показать тогда эту же улицу — сегодняшнюю, с бешеным потоком автомобилей — я бы решил, что мне показывают Нью-Йорк. А как примитивно тогда все было, начиная от самой машины — не было стартера, мотор заводился ручкой — и кончая правилами движения: например, указателей поворотов еще не существовало, хочешь повернуть налево — выки-

дываешь из окошка руку горизонтально, направо — вертикально.

Вот Тверская: и тогда она (улица Горького) была главной, самой оживленной улицей Москвы, всегда переполненной людьми, но как отличалась та толпа от сегодняшней! Одевались люди бедно и некрасиво, зимой ходили, как правило, в демисезонных пальто (шубы были только у богатых). Галстуки и шляпы считались атрибутами «буржуев», все мужчины носили кепки, а мальчики — тюбетейки; зимой все ходили в шапках-ушанках. Без головного убора выйти на улицу было почти так же неприлично, как без штанов. Советские служащие («совслужки») носили «толстовки» или френчи полувоенного покроя, из рубашек распространены были косоворотки, белых сорочек не было вообще. Зимой все ходили в валенках; представьте себе Тверскую, по которой идут сотни мужчин и женщин, все до единого в валенках. С наступлением весны все надевали галоши; в школе мы их сдавали в раздевалку, и на красной подкладке галош чернильным карандашом была написана фамилия — чтобы «не сперли».

Я еще застал (правда, ненадолго) время, когда женщины носили на голове косынки, потом в моду вошли береты, на ногах — короткие носочки, юбки, конечно, ниже колен, волосы завиты «шестимесячной завивкой» («перманент»), У мужчин летом были в моде белые туфли, их начищали мелом.

Как люди развлекались, проводили свободное время? Сейчас трудно себе представить, что ведь не было не только телевидения, но и радиоприемников, магнитофонов и всего прочего. В тридцатых годах были граммофоны,

их вытеснили патефоны, появились радиолы (как пел Окуджава: «Во дворе, где каждый вечер все играла радиола, где пары танцевали, пыля...»). Танцевали фокстрот и танго, из окон и дворов неслись «Утомленное солнце», «Рио-Рита». Дворы вообще играли огромную роль, там дети, особенно мальчишки, в отличие от теперешних, проводили все свободное время, в некоторых дворах стояли не только радиолы, но и небольшие бильярдные столы, на которых играли металлическими шариками. Бильярд и волейбол были самыми распространенными играми, на пустырях были и футбольные площадки. Велосипедов, как я уже сказал, было мало, они появились в большом количестве уже после войны, и началось повальное увлечение велосипедной ездой. Очень распространено было катание на лодках в подмосковных прудах и на дачах, а зимой невероятное оживление было на катках; вся молодежь по вечерам и в выходной день отправлялась на катки — в Центральный парк культуры и отдыха, на Чистые или Патриаршие пруды.

Радио и кино — вот что было главным, если говорить о том, что сейчас называют индустрией развлечений. В каждой комнате коммунальной квартиры была тарелка-радио. Сначала была одна станция — имени Коминтерна, потом появилась вторая. Оттуда шли все новости — и музыка, музыка... Уже в десятилетнем возрасте я знал почти наизусть главные арии из «Евгения Онегина», «Пиковой дамы», «Князя Игоря», «Фауста», «Садко», «Русалки», «Руслана и Людмилы», «Севильского цирюльника» и так далее, сам пел ломающимся голосом басовые арии из репертуара обожаемого мною Шаляпина. Кстати, официальное отношение к Шаляпину было

резко отрицательным (монархист, эмигрант), и написанная Михаилом Кольцовым рецензия на книгу его мемуаров, вышедшую за границей, заканчивалась словами: «Довольно, закроем гнусную книжку; это писал даже не белогвардеец». Знал бы Кольцов, что он, в отличие от Шаляпина, умрет не в своей постели, а от пули в лубяном застенке — как «даже не белогвардеец», а еще хуже — как «фашистский шпион»... Поэтому я мог слушать Шаляпина не по радио, а по старым грампластинкам. С тех пор я также запомнил на всю жизнь массу русских народных песен и романсов — все благодаря радио.

А кино? О, это было, конечно, главное развлечение: минимум один фильм в неделю, а то и два-три. В «неделю» — это неточно, недель тогда не было, вместо них были «шестидневки»: пять дней были рабочими, а шестой — выходным, так что такие слова, как «воскресенье» или «вторник» вообще не употреблялись, о них знали только из книг о дореволюционной жизни, так же как, скажем, о Рождестве или Пасхе. Поэтому говорили, например: «Получка будет пятого» или «В театр пойдем двенадцатого». В театр мне доводилось ходить редко, кроме детского — билеты для нашей семьи были слишком дорогие, до войны я лишь несколько раз бывал в Большом. Зато во время войны мой товарищ, работавший осветителем в Художественном театре, доставал мне контрамарки, и я буквально десятки раз смотрел «Дни Турбиных», «Анну Каренину», «Мертвые души», «Чайку», «Три сестры», «Царь Федор Иоаннович» — и с каким составом! Качалов, Хмелев, Москвин, Тарасова, Яншин, Андровская, Прудкин, Масальский, Тарханов... Даже

в самые тяжелые, голодные военные времена зал Художественного театра всегда был полон.

Еще помню, что в довоенное время очень распространена была игра в карты, взрослые обычно собирались не меньше чем раз в неделю. В нашей семье этого, правда, не было, и я научился играть лишь в первый послевоенный год, когда работавший у нас в гараже грузчиком парень, уроженец Бессарабии, познакомил меня с покером, причем все названия комбинаций я выучил на румынском языке. Я в свою очередь научил играть в покер моих друзей, и в течение года или двух мы «резались» по несколько раз в неделю.

Ну и, конечно — футбол. Об этом уже много написано, был фильм «Футбол нашей юности», и ничего нового я не скажу. Перед наиболее интересными матчами ажиотаж был невероятный, достать билеты невозможно. Помню знаменитые «прорывы» на стадионе «Динамо» в конце сороковых годов, когда толпа болельщиков, навалившись всей массой, пробивала в одном узком месте цепь милиции, и сотни людей с огромной скоростью устремлялись к трибунам. Однажды, когда к нам впервые приехала венгерская команда, я с несколькими друзьями проник на стадион рано утром и несколько часов прятался под трибуной, а когда подошло время матча и уже народу было столько, что милиции было не до безбилетников, мы выползли и уселись на ступеньки. Вообще я «болел» за две команды — ЦДКА (позже переименованный в ЦСКА) и тбилисское «Динамо». Мне посчастливилось много раз видеть таких игроков, как Федотов, Бобров, Пайчадзе, Бесков, Карцев, Гринин, Пonomарев, Сальников, Симонян, Яшин, Месхи, Метревели

и другие, но моим подлинным кумиром был Эдуард Стрельцов.

Атмосфера на стадионах была вполне спокойной и добродушной, ни о каком футбольном хулиганстве, побоищах между «фанатами» не могло быть и речи. На стадион шли не просто безбоязненно, а весело, как на праздник.

Я ходил на футбол и в других городах, куда я приезжал в качестве лектора. Помню, в Баку сидел на матче между местным «Нефтяником» и одной из московских команд; бакинцы побеждали, особенно отличился форвард Маркаров, и я сказал своему спутнику: «Все-таки какой мастер Маркаров!» Человек, сидевший рядом ниже, тут же обернулся ко мне: «Что ты говоришь? Мастер... Не мастер, а Бетховен, слышишь? Бетховен». А в Одессе мне рассказали, как там проходил матч между местным «Черноморцем» и одной из лучших московских команд, кажется, «Динамо». К неописуемому восторгу одесситов, их игроки забили один за другим четыре мяча, и вот вдруг на весь стадион раздается вопль: «Милиция!» Никто не может понять, в чем дело. Опять: «Милиция!» И все увидели пожилого человека, который громко закончил свою мысль: «Милиция! Проверьте паспорта у этих игроков, это не «Черноморец», это бразильцы!»

Такое могло быть только в Одессе. Манера разговора там вообще была бесподобная. Помню, я плыл на катере из Аркадии в Ланжерон (два пригорода), и ко мне на палубе стали приглядываться два типичных «биндюжника», похожих на нынешних бомжей, явно «под градусом». Спустя какое-то время один из них подошел ко мне со словами: «Слушай, мы — низкие люди, мы идиоты

пожизненные; ну скажи свое веское слово, дай десятку». Или такие фразы, которые довелось слышать: «Аркадий Львович, слава богу, вы выздоровели, я вас видел вчера гулять на бульваре», «Жора, сделай дверь наружу, кошка имеет войти». Только в Одессе. Но — уже в прошлой, навсегда ушедшей Одессе...

Возвращаясь к Москве и тогдашним нравам, хочу отметить, что не только на стадионах, но и вообще в городе каких-либо массовых беспорядков, побоищ, агрессивных молодежных выходов, стычек никогда не было. Разумеется, случаев хулиганства, пьяных драк было сколько угодно, как всегда на Руси. Народ не осуждал буянов. Я видел однажды, как на Неглинной милиционеры вязали руки разбушевавшемуся пьяному парню, а какая-то старушка причитала: «Да оставьте вы его, это не он дерется, это водка дерется», и люди явно ей сочувствовали. В их глазах пьяное состояние, видимо, оправдывало любое безобразие. Все-таки интересный у нас народ: на базаре воришку избыют до полусмерти, а приговоренного судом к тюрьме жалеют. Разница в том, что «мир» вправе вершить самосуд, а государство — это нечто чужое, враждебное, угнетающее.

В быту люди вели себя несравненно скромнее, я бы даже сказал приличнее, чем сейчас. Не потому, что они были «лучше», а под влиянием общих жизненных условий и «духа времени». В этой связи — несколько слов об отношениях между полами. Любовные отношения протекали в невообразимо стесненных условиях ввиду того же самого, отмеченного Булгаковым, «квартирного вопроса». О какой «приватности», интима можно говорить, если два, а иногда даже три поколения жили в одной комнате?



Один мужчина говорил мне, что он ни разу в жизни не видел свою жену голой. А где могли встречаться влюбленные пары? Неудивительно, что в подъездах, подворотнях, на скамейках бульваров можно было видеть далеко не целомудренные сцены. Вместе с тем господствовала та мораль, которую сегодня назвали бы старомодной: так, девушки старались, насколько это было возможно, сохранить невинность до замужества; в сугубо интимном плане никакие «вольности», выход за пределы абсолютно ортодоксального сексуального поведения, как правило, не допускались, это было вообще неизвестно подавляющему большинству людей, считалось распущенностью, развратом. Правилom были долгие ухаживания, хождения в кино, прежде чем дело дойдет даже до первого поцелуя, не говоря уже ни о чем другом.

Если говорить о том, что можно назвать общественно-политическими настроениями, то я бы отметил, что наше общество было высоко политизированным, но не идеологизированным, несмотря на все усилия власти. Коммунистическая идеология как таковая, в подлинном, глубоком смысле была, в общем, чужда людям, за исключением части образованной столичной молодежи. Я никогда не слышал, например, чтобы люди всерьез говорили о том, какая будет жизнь при коммунизме; удивительно, но факт — это даже официально не обсуждалось, об этом не писали, хотя иногда появлялись какие-то научно-фантастические повести на эту тему, не оставлявшие в сознании людей никакого следа, кроме, может быть, занятной фабулы. Но вот политизированным наше общество действительно было — в том смысле, что население живо интересовалось тем, что происходит за рубежом

и внутри страны. В значительной мере это объяснялось постоянным страхом перед возможностью войны: до 41-го года все ожидали войны с Германией и Японией, после 45-го — боялись, что вот-вот на нас нападет Америка. Боялись атомной бомбы, потом стали бояться китайцев; вечное ожидание, вечный страх. Капиталистическое окружение, все кругом — враги. В тридцатые годы господствовал маниакальный страх, настоящая паранойя, боязнь вредителей, диверсантов, шпионов. После войны это утихло, но к иностранцам все равно относились с величайшим подозрением. Неизвестный, непонятный, чужой, недружественный мир отталкивал, но и тянул; в течение всего послевоенного периода люди интересовались — кто будет президентом в Соединенных Штатах, насколько сильны реваншисты в Западной Германии и так далее. Что же касается внутренних дел, интерес вызывали — помимо, естественно, таких вопросов, как снижение цен, дефицит товаров или жилищное строительство, — слухи о перемещениях и снятиях тех или иных высокопоставленных лиц. Сидишь в очереди в академической поликлинике, и малознакомый человек, поздоровавшись, спрашивает: «А вы не слышали — правда, что Воронова снимают?» Что ему Воронов, какой-то ничтожный Председатель Совета Министров РСФСР, и что изменится, если его снимут?

Конечно, многое объяснялось просто недостатком информации. Официальным сообщениям почти никто не верил, всегда было желание узнать — а что происходит на самом деле, но иных источников информации не было. Коротковолновые приемники появились в достаточном количестве только после войны, и все стали слушать

Би-би-си и «Голос Америки», люди моего поколения помнят лондонского обозревателя Анатолия Максимовича Гольдберга (его называли «лучшим другом советской интеллигенции»), но уже году в сорок девятом, если я не ошибаюсь, «голоса» начали глушить, и вот это уже был настоящий «железный занавес». Об иностранных газетах нечего было и думать, за границу никто еще не ездил, и люди читали нашу прессу, пытаясь что-то выловить между строк. Самиздат появился значительно позже, но чтение такой литературы было сопряжено с огромным риском. Тем не менее всеми правдами и неправдами люди ухитрялись обмениваться самиздатовскими книгами и журналами, делились информацией. Что-то по капельке просачивалось в наглухо закрытое общество. Власти скрывали правду о катастрофах, но население все равно почти сразу же узнавало и о землетрясениях, и о крушениях самолетов, люди шепотом сообщали об этом один другому. Официально подразумевалось, что у нас ничего такого не может быть; так, когда погибла в авиакатастрофе лучшая хоккейная команда ВВС, об этом в газетах не было ни строчки. Нелепо? Но таких нелепостей было сколько угодно. Взять хотя бы указание Сталина о том, что все мировые рекорды во всех видах спорта должны принадлежать советским спортсменам. Все! — во всех видах! И ведь старались. В 1952 году наша футбольная сборная в Финляндии проиграла Югославии. Сталин был в ярости — кому проиграли? Проклятым титовцам — да лучше бы немцам, туркам, кому угодно, но югославам? Моментально разогнали лучшую команду страны — ЦСКА, причем без всякого объяснения и без сообщения в печати. Об этом

разрешено было сказать спустя десятилетия. И так было во всем. После венгерских событий 1956 года лучшие игроки венгерского футбола решили остаться за границей; спустя много лет один из них, знаменитый Пушкаш, ставший уже игроком испанской команды, был включен в сборную мира, выступавшую в матче против команды Англии. Матч транслировался у нас по телевидению, я его смотрел и помню, что каждый раз, когда мяч попадал к Пушкашу, комментатор говорил: «Мяч у игрока сборной мира», не называя фамилии — это было запрещено, хотя все наши болельщики прекрасно знали, кто этот безымянный игрок. Кстати сказать, такие умолчания практиковались вплоть до 80-х годов: когда выигрывала теннисный матч чехословацкая «невозвращенка» Навратилова, в наших газетах писали, что ее соперница «уступила» с таким-то счетом, а кому уступила — неизвестно, фамилию упоминать было нельзя.

Вот в такой атмосфере народ и жил. Но время брало свое, времена менялись. Уже в 50-х годах даже внешний облик людей начал становиться иным. Забыты френчи и «толстовки», в моде костюмы, галстуки, широченные штаны уступают место узким брюкам. Речь людей становится более грамотной, уже неприлично говорить «мне за это заплотят», «его скоро в тюрьму посадют», «да ведь он — беспартийный» и т. д. Скоро, скоро начнется неизбежный, неотвратимый процесс обуржуазивания общества. Но об этом — потом.

## Я СТАНОВЛЮСЬ ЖУРНАЛИСТОМ

**Ж**урналист должен знать все о чем-нибудь и что-нибудь обо всем», — тоном, не допускающим возражений, говорит мне пожилая, но весьма молоджавая, излучающая апломб, энергию и уверенность в себе женщина. Это заместитель главного редактора еженедельника «Новое время» Сергеева объясняет мне суть моей новой профессии. Я уже кандидат наук, после трехлетних занятий в аспирантуре защитил диссертацию по новейшей истории Ирака и вот, благодаря моему другу Льву Степанову, принят литсотрудником в отдел стран Азии, Африки и Латинской Америки популярного политического журнала. Сергеева, принимавшая меня на работу, была главным мотором редакции. Горючая смесь казачьей и еврейской крови, она, как говорили, в свое время могла позволить себе даже кричать на Молотова, курировавшего еженедельник в пору его создания, во время войны. Сергеева оттеснила в тень второго заместителя «главного» — Валентина Бережкова, бывшего переводчика Сталина и будущего известного американиста, а сам «главный» — экономист Леонтьев — в текущие дела почти не вмешивался. Видную роль в редакции играл Ровинский, бывший одно время, перед войной, главным редактором «Известий». От него мы слышали немало «баек» о нравах прошедших времен. Помню одну из них; дело было в конце 30-х годов, на Кубе было очередное восстание, и «Известия» опубликовали материал под названием «Успехи кубинских повстанцев». По чьей-то вине вместо «кубинских» было напечатано

«кубанских», и одна буква решила судьбу нескольких человек; в ту же ночь были арестованы зав. отделом, корректор, метранпаж и еще кто-то, причем некоторых взяли прямо в типографии еще прежде, чем успел быть отпечатан тираж. Вообще-то рассказ об известных мне политических «ляпах» в советской журналистике занял бы слишком много места, и я ограничусь здесь, поскольку затронута эта тема, упоминанием еще лишь одной трагикомической истории. Где-то, кажется, в Курской области, в соцсоревновании районов по уборке урожая первенство захватил Титовский район (очевидно, от названия села Титово или деревни Титовка), и областная газета вышла с «шапкой»: «Титовцы идут впереди». А дело было в конце 40-х годов, маршал Тито был «кровавым палачом», и легко себе представить судьбу руководства газеты; тут уж ссылкой на опечатку, на одну злополучную букву они не могли оправдаться.

В журналистике надо было держать ухо востро. Первый же, хотя и небольшой, конфликт с заведующим отделом Бочкаревым у меня произошел в самом начале работы. В какой-то статье, которую мне было поручено редактировать, прошло упоминание о Достоевском как о «великом писателе», и Бочкарев сказал мне: «Вы разве не знаете, что есть установленная градация эпитетов, прилагающихся к писателям? Пушкин или Толстой — великие, а Достоевский, ввиду его реакционных взглядов — разве что выдающийся». Оказалось, что градация действительно четкая: известный, видный, выдающийся, великий. Много такого рода вещей мне еще предстояло узнать, и мое мнение о журналистской профессии сильно изменилось.

Тем временем бурные политические события в стране продолжались. После падения Берия борьба развернулась между Маленковым и Молотовым, причем оба они, на свою беду, упустили из вида, совершенно недооценили Хрущева, считавшегося еще со сталинских времен несерьезной фигурой, неотесанным «хохлому», мужланом, чуть ли не клоуном. Близорукость потрясающая — ведь уже роль Хрущева в организации заговора против Берия должна была подсказать им, какими качествами обладает этот человек. Но нет, они относились к нему как к серой личности, хотя и полезной для борьбы с соперниками, — точно так же, как в свое время Зиновьев, а вслед за ним Бухарин относились к Сталину. И весь сценарий двадцатых годов был воспроизведен в пятидесятых: Хрущев, блокируясь сначала с Молотовым против Маленкова, устранил последнего с поста председателя правительства, на эту должность был назначен Булганин, бывший в тот момент «человеком Хрущева». Этому предшествовала длительная борьба; Булганин — министр обороны, фигура значительная, одно время колебался, не зная, на какую лошадь поставить. В одном из «закрытых писем» ЦК, зачитывавшихся в парторганизациях, цитировался, например, перехваченный телефонный разговор Маленкова, еще бывшего тогда главой правительства, с Булганиным: «Ты долго еще будешь Молотову в рот глядеть? Смотри у меня, не одумаешься — пойдешь в министры культуры!» Но Булганин все же примкнул к Хрущеву и Молотову, Маленков был сброшен, причем Хрущев отобрал у него дачу и со злорадством сам въехал в нее (а незадолго до этого они были самыми близкими друзьями, и Хрущев, в бытность свою первым секретарем

ЦК на Украине, во время приездов в Москву всегда останавливался на квартире Маленкова).

Вскоре старые, наиболее близкие к Сталину «вожди» раскусили Хрущева. Молотов объединился с Маленковым, так же как в свое время Зиновьев и Каменев объединились было против Сталина и Бухарина со своим, как им прежде казалось, главным врагом — Троцким, да было уже поздно. В 1957 году Молотов и Маленков составили заговор против Хрущева. Дело было уже не только в личном соперничестве: на карту, как они поняли, была поставлена их политическая жизнь. Ведь этому предшествовал знаменитый доклад Хрущева на двадцатом съезде с разоблачением «культа личности» Сталина.

До сих пор продолжают споры о том, что именно толкнуло Хрущева на этот необычный и совершенно неожиданный шаг, сыгравший столь роковую роль в судьбе Советской власти. Одни полагают, что Хрущев в предвидении неизбежных разоблачений нанес упреждающий удар, стремясь возложить всю вину за сталинские злодеяния на Молотова, Маленкова и Кагановича и таким образом отвести от себя возможные обвинения в том, что на его руках тоже кровь партийных кадров в тридцатые годы (а это было именно так, достаточно вспомнить роль Хрущева в 37-м году, когда он, первый секретарь Московского городского комитета партии и член Политбюро, с таким же ожесточением, как и все его коллеги, громил «врагов народа»). Другие считают, что Хрущев, пусть и с опозданием, осознал страшный урон, нанесенный партии и стране сталинскими репрессиями, и решился на то, чтобы сказать правду и предостеречь народ от повторения злодеяний. Третьи думают, что здесь сыграла роль



личная ненависть к Сталину, избравшему Хрущева как мишень для насмешек и издевательств. Мне представляется, что есть резон во всех этих точках зрения, и решение Хрущева было мотивировано как стремлением обелить себя в глазах истории, так и реальным пониманием кошмарных результатов сталинского террора. При этом он, конечно, преследовал цель раз и навсегда избавиться от соперников, старых «исторических вождей», еще пользовавшихся авторитетом в партии в силу их прошлой близости к Сталину и к тому же начавших оспаривать некоторые направления проводившейся им политики, как внутренней, так и внешней. Хрущев вообще был личностью непростой и противоречивой, несмотря на свою простоватость и необразованность. Несомненно, он на голову превосходил своих оппонентов по силе воли, решительности, лидерским и бойцовским качествам. Когда я в первый раз увидел всех членов Политбюро на встрече с Тито в Кремле, где я присутствовал как корреспондент «Нового времени», мне сразу стало ясно, кто из них первый. На фоне Молотова, Маленкова, Ворошилова, Кагановича, Микояна, Булганина и прочих Хрущев выглядел — и держался — как единственный и подлинный лидер, как прирожденный вожак. Он и физически выглядел несравненно лучше их, моложе, веселее, энергия била из него, как из динамо-машины.

Доклад Хрущева потряс общество. Объективно это был первый гвоздь, забитый в гроб сталинизма, а значит — и ленинизма, и большевизма в целом. Вопреки своим намерениям, Хрущев стал первым и главным могильщиком Советской власти. Вторым, спустя тридцать лет, и тоже не по своему желанию, станет Горбачев.

С этим докладом связан и любопытный эпизод в моей жизни. Я в это время по линии общественной работы вел семинары по международным вопросам в Московском райкоме партии. В тот февральский день 56-го года я как раз читал лекцию о Югославии. Это было вечером, но днем произошло следующее: главный редактор нашего журнала, Леонтьев, присутствовал в качестве гостя на заседании съезда, где Хрущев делал свой доклад. Потрясенный всем услышанным, он вернулся после обеда в редакцию, созвал всех заведующих отделами и подробно рассказал им обо всем. Мой начальник Бочкарев, в свою очередь, не утерпел, собрал тут же сотрудников отдела и пересказал нам сенсационные новости. Впечатление было оглушительным, и вот в таком состоянии я отправляюсь на свой семинар в райком. Лекция прошла нормально, я ни о чем не обмолвился, наступило время вопросов, которые задавали мне слушатели, и вот звучит вопрос: «Почему сегодня в «Правде» опубликована статья о Бела Куне по поводу годовщины его дня рождения? Известно ведь, что Бела Кун был расстрелян как враг народа». А Бела Кун был вождем венгерских коммунистов, видным участником нашей Гражданской войны (и, как впоследствии стало известно, организатором зверств в Крыму). Здесь я уже не выдерживаю (хрущевские разоблачения у меня в голове — жуткие подробности, услышанные несколькими часами ранее), срываюсь и говорю: «Товарищи, это только первая ласточка. Мы услышим еще о многих революционерах, павших жертвами сталинского террора». Страшная тишина в зале; люди не верят своим ушам. Прозвучали невозможные слова — «сталинский террор». Но советский человек есть

советский человек: никто открыто не сказал ни слова, а через день мне звонит заведующий отделом агитации и пропаганды Москворецкого райкома партии и дрожащим голосом говорит: «Немедленно приезжайте». В райкоме она мне сообщает, что меня на следующий день вызывают в горком партии; оказывается, многие из моих слушателей сразу же после семинара написали на меня «телеги» (доносы) — кто в горком, кто прямо в КГБ. Я являюсь в горком, полный мрачных предчувствий, но вызвавший меня товарищ сам куда-то вызван, и все переносится на завтра. А на следующий день, когда встреча состоялась, я слышу слова: «Ваше счастье, что только что принято решение ознакомить членов партии с докладом Никиты Сергеевича, его будут зачитывать на закрытых собраниях. Если бы вы пришли сюда вчера, вышли бы отсюда уже без партбилета. Намотайте это себе на ус и никогда не лезьте поперек батьки в пекло. Можете идти».

А через три месяца созывается партийное собрание в редакции (я вступил в партию в 53-м году, после смерти Сталина). Секретарь партбюро извиняется, что нарушен устав, три месяца не проводилось собрание — «партбюро не могло найти повестку дня». Я вскакиваю с места: «Как же так? После доклада товарища Хрущева, который потряс всю партию и должен заставить нас все переосмыслить — партийное бюро политического еженедельника не находит повестку дня для собрания?» И дальше — о попытках обелить Сталина, несмотря на доклад Хрущева: «Некоторые говорят, что вот, мол, Сталин был великим революционером. Да, он был революционером, но стал деспотом и палачом». Все молчат, некоторые

смотрят на меня с осуждением, встает Ровинский (тот самый, который многое рассказывал о жутких тридцатых годах) и говорит что-то о заслугах Сталина в годы строительства социализма, об индустриализации, пятилетках. «Нельзя все забывать, все чернить». Сколько раз впоследствии я буду слышать такие речи!

А в стране — «оттепель». Мы, молодые — в страшном возбуждении. Что-то меняется на глазах, что-то рухнуло навсегда, наступают новые времена. Происходят великие события: взбунтовались поляки, к власти пришел недавно еще сидевший в тюрьме Гомулка, в Польше подули новые ветры. Но вот — венгерские события, и маятник качается в обратную сторону. «В Венгрии — контрреволюция». Наши танки в Будапеште. Зачитывается закрытое письмо ЦК об антипартийных выступлениях в некоторых парторганизациях. Югославов вновь называют ревизионистами. Хрущев где-то говорит о том, что, мол, дай бог, чтобы мы все были такими революционерами, каким был Сталин. «Оттепель» подходит к концу. Но политическая жизнь бурлит — «у нас не соскучишься». Маленков, Молотов и Каганович, обвиненные Хрущевым в соучастии в сталинских преступлениях, окончательно решают, что с Никитой пора кончать. К ним присоединяются Булганин, Ворошилов, Сабуров, Первухин, Шепилов. Пользуясь своим большинством в Политбюро, они снимают Хрущева. Но это только первый раунд. Опытные и поднаторевшие в интригах царедворцы оказываются ничтожествами в обстановке открытой политической борьбы. Хрущев с помощью Жукова, Серова, Фурцевой и других переигрывает сталинских мастодонтов. Созван пленум ЦК, Жуков организовал срочную

переброску членов ЦК в Москву на военных самолетах, армия и КГБ на стороне Хрущева, и к моменту открытия пленума он уже в президиуме, он — хозяин положения, а они, жалкие, как в воду опущенные — внизу, как бы уже на скамье подсудимых. Разоблачение «антипартийной группы Маленкова—Молотова—Кагановича и прикнувшего к ним Шепилова». Какие имена! Какой позорный конец старой сталинской гвардии. Правда, после падения Берия и разоблачений на двадцатом съезде это уже не производит оглушительного впечатления. Но где же Ворошилов, Булганин, Сабуров, Первухин? Их имена замалчиваются, иначе вышло бы, что чуть ли не все Политбюро входило в антипартийную группу. Булганин даже остается премьером на какое-то время. Ворошилова тоже компрометировать не стоит — герой Гражданской войны, живая легенда. Но все это уже не так важно. Дело сделано. Период коллективного руководства закончился. У нас опять один хозяин. Однако Хрущев — не Сталин. Что-то уже ушло и никогда не вернется.

Заключительным аккордом 57-го года стало сенсационное падение министра обороны, маршала Жукова. Хрущев, многим ему обязанный в борьбе с «антипартийной группой», решил, как и Сталин десятком лет раньше, что Жуков — слишком опасный человек, слишком популярный в народе и малоуправляемый. Его сняли типично советским способом, таким же, как за пять лет до этого сняли Берия, а через семь лет снимут самого Хрущева: воспользовавшись его поездкой за границу и подготовив в его отсутствие заговор, а затем привезя его прямо с аэродрома на уже срежисированный пленум ЦК. Свалив Жукова, Хрущев обезопасил себя от единственного на тот

момент в стране человека, чья популярность превышала его собственную, но тем самым вызвал сильное недовольство в армии. Это сработает через несколько лет против него. Насколько в армии боготворили Жукова, я понял, находясь как раз в это время на сборах офицеров запаса во Львове. Когда в газетах сообщили, что Жуков освобожден от должности министра обороны в связи с переходом на другую работу, и кто-то воскликнул в изумлении: «Что делается! Жукова сняли!» — заместитель начальника курсов по политработе сурово отчитал его: «Только политически неграмотный человек может подумать, что маршала Жукова сняли. Его могут только повесить!» Но вот на партсобрании читают письмо ЦК о пленуме, где Жукова кроют почему зря, и в первую очередь, как водится у нас, его соратники и бывшие подчиненные военного времени. Итак, Хрущев победил всех; он — наверху, и угрозы его единовластия уже нет ни с какой стороны.

### **«ВСЕ ЕГО ГЛУПОСТИ НОСЯТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР»**

**В**зволнованный девичий голос пищал в трубку: «Товарищ Мирский? Это говорят из подготовительного комитета Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Наша группа будет на фестивале курировать арабские страны, и нам вас рекомендовали, чтобы вы прочли нам несколько лекций про арабский мир». Чертыхнулся про себя: этого еще не хватало, я как раз заканчиваю брошюру, спешу сдать в срок, а тут еще ездить к ним,

лекции читать. Вслух сказал: «Давайте созвонимся попозже, поближе к делу, и вообще еще рано, до фестиваля еще полгода, может быть, он и не состоится». Я как-то не подумал, что в это время за границей развертывалась кампания за отмену фестиваля в знак протеста против советского вторжения в Венгрию. И вот через несколько дней ответственный секретарь подготовительного комитета Кочемасов звонит заместителю главного редактора нашего журнала Сергеевой: «Ваш сотрудник Мирский распускает слухи, что фестиваль не состоится. Вы понимаете, что это политическое дело и кому это на руку?» Сергеева в ярости дает мне нахлобучку; правда, дело удалось замять. Но тут припомнили прошлогодний случай: к Международному женскому дню в редакции вывешивается приказ с поздравлением женщин-сотрудниц, напечатаны в алфавитном порядке все их фамилии. Я из озорства снимаю листок и перепечатаваю его, вставив в соответствующем месте фамилию одного из наших мужчин, Сагателяна. Все сбегаются, читают, смеются, включая самого Сагателяна, но начальник отдела кадров редакции, заявив, что это политическое дело (ведь речь идет о государственном празднике), обходит все кабинеты, чтобы выявить виновника. Я и не думаю отказываться от авторства. Мне дают выговор с формулировкой «за недопустимый поступок, граничащий с политическим хулиганством». И на отчетно-выборном партсобрании Сергеева, давая характеристики сотрудникам, заявляет: «Мирский — способный работник, но почему-то все его глупости носят политический характер». Звучит зловеще. Мне уже не хочется работать в журнале. А как раз незадолго до этого в Академии наук был создан Институт

мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), и мои друзья переманивают меня туда. В феврале 1957 года я прощаюсь с журналистской профессией и начинаю академическую карьеру. Мне тридцать лет, я — младший научный сотрудник.

А фестиваль молодежи и студентов все-таки состоялся осенью 57-го года, и я даже принимал в нем участие в качестве внештатного корреспондента телевидения. Запомнился такой эпизод: мне было поручено взять интервью у кого-либо из участников массового гулянья советской молодежи в Центральном парке культуры и отдыха. Я подобрал пару ребят из Подольска, проинструктировал их, что надо говорить, и отпустил минут на пятнадцать, пока вел репортаж другой комментатор. Это была ошибка: через четверть часа я как бы случайно заметил их и, уже в эфире, сказал: «Ну вот, уважаемые телезрители, давайте спросим у кого-нибудь, вот хотя бы у этих двух молодых людей, рядом с нашей камерой, о значении фестиваля. Ребята, влезайте на грузовик», и стало ясно, что они успели сбежать и что-то принять для храбрости. Я спрашиваю: «Откуда вы, хлопцы?» — «Из Подольска». — «Ну и как в Подольске подготовились к фестивалю?» В ответ, вместо слов об успехах трудовых коллективов слышу (в не очень твердом произношении): «Ну как подготовились... Ну, вроде меньше грязи стало на улицах». Все, с этого уже много не возьмешь, обращаюсь к другому: «Какое, по вашему мнению, значение имеет этот фестиваль?» — «Я считаю, что это ужасный...» Пауза; у меня сердце уходит в пятки — ведь я в прямом эфире, нас смотрят миллионы людей. Он опять: «Ужасный...» Я в панике. «Ужасный... страшный удар по поджигателям войны».



Слава богу, обошлось. Я благодарю его, заканчиваю на этом интервью, выхожу из эфира и бегу к ближайшему ларьку, чтобы хлопнуть сто грамм для успокоения.

Заодно упомяну и о смешном эпизоде, происшедшем на состоявшейся вскоре Спартакиаде народов СССР. В правительственной ложе в Лужниках сидят рядом, среди прочих, Хрущев и Фурцева, секретарь ЦК, уже немолодая, но довольно привлекательная женщина; поговаривали, что у нее с Хрущевым были более чем служебные отношения, но я думаю, что это просто сплетня. В какой-то момент корреспондент, глядя на арену, а не на монитор, где как раз крупным планом показывают Хрущева и Фурцеву, говорит: «А сейчас, товарищи, вы видите киргизскую народную игру «Волк ловит лисичку». Реакцию зрителей нетрудно себе представить...

К этому времени я уже в ИМЭМО, быстро и легко вошел в новый коллектив. Все мне нравится, люди приятные, интеллигентные, основной костяк сотрудников — примерно мои ровесники, атмосфера дружеская. Директор Арзуманян почему-то сразу ко мне расположился, вскоре я уже стал старшим научным сотрудником, а затем — заведующим сектором. В конце 57-го года Арзуманян получает приглашение в Англию на десять дней, сообщает мне, что берет меня с собой — как помощника и переводчика. Я на седьмом небе, документы уже оформлены — и тут осечка: на меня нет решения ЦК. Арзуманян озадачен, а я спрашиваю у сотрудника, занимающегося международными связями: «В чем дело, кто меня зарубил?» Он смотрит на меня угрюмо: «Кто, кто... С луны, что ли, свалился, не знаешь, кто?» И я вспоминаю, что со мной случилось в прошлом году...

## МЕНЯ ВЕРБУЮТ В КГБ

Средних лет, весьма приятный на вид мужчина пожимает мне руку, с улыбкой приглашает сесть, представляется: «Павлов, начальник районного отделения КГБ». Дело происходит в подвале какого-то здания на Малой Бронной. Меня привезли туда на машине из районного военкомата, куда я был вызван повесткой; обычное дело, время от времени офицеры запаса проходят перерегистрацию. Мне говорят: «Вот тут товарищ хочет с вами побеседовать». Товарищ говорит: «Надо будет проехать в другое помещение». Приезжаем, он вводит меня в подвал и уходит. Подполковник Павлов спрашивает меня о жизни, о работе — и вдруг: «А вы с Всеволодом Раценом продолжаете поддерживать связь — с тем, на квартире у которого вы вели антисоветские разговоры?» Сева Рацен был мой школьный товарищ, брат которого вышел из ГУЛАГа в начале сороковых годов и много порассказал. «Нет, я его не видел уже лет восемь-девять. А антисоветские разговоры — да что это было такое по сравнению с тем, что недавно рассказал Никита Сергеевич?» — «Да, но вы-то тогда не могли знать то, что сейчас сообщил Никита Сергеевич». Так. Первый крючок. Далее: «А вам известно, что мать Тамары Антуфьевой, той девушки, за которой вы ухаживали в институте, арестована и сидит?» — «Нет, неизвестно». И вот наконец: «Две недели тому назад в ресторане гостиницы «Советская» вы беседовали с канадцами и сказали, что очень хотели бы поехать в Америку, — так ведь?» Я вспоминаю. Дело было так: Евгений Примаков,

работавший тогда на радио, продолжая поддерживать со мной с институтских времен приятельские отношения, принес в редакцию статью, она мне не очень понравилась, и я ее почти целиком переписал. Статью напечатали, и Примаков, придя за гонораром, сказал: «Я не могу взять гонорар, фактически ты сделал эту статью, пойдем на эти деньги в ресторан» — и пригласил заодно двух моих коллег из отдела. Мы хорошо посидели в ресторане, и к концу пиршества я услышал английскую речь, доносившуюся с соседнего столика. Первый в жизни шанс поговорить по-английски! Я подошел к ним, заговорил. «О, вы так хорошо говорите по-английски, вы бывали в Америке?» — «Да нет, никогда, но очень бы хотел». Все было записано на магнитофон. Впоследствии мой однокашник, работавший в ресторане «Арагви» метрдотелем, рассказывал мне, что самое трудное даже не то, что ломаешь голову — как разместить посетителей, а то, что потом всю ночь надо сидеть, расшифровывая пленки.

Еще несколько вопросов такого же типа — и затем заключение: «Мы ведь о вас много знаем, Георгий Ильич, очень много». Что верно, то верно. Наконец, кульминация: «Вы работаете в политическом журнале, с разными известными людьми встречаетесь, и нашими, и иностранцами, много чего слышите. Вы ведь патриот? Так вот, услышите что-нибудь, сообщите нам. Хорошо?» Мучительная пауза; в принципе, конечно, надо отказаться — не становиться же стукачом. Но — страх, вбитый с детства, страх перед всемогущим государством, да еще предстоящим перед тобой в лице органов госбезопасности... Нет времени даже подумать, прикинуть, что конкретно они могут сделать в случае категорического отказа

сотрудничать — арестовать, лишить работы? Страх с одной стороны, а с другой — уверенность в том, что заставить меня делать подлое дело они все равно не смогут. Результат — мгновенный компромисс. «Да, конечно, если что-нибудь такое услышу — дам вам знать». — «Отлично. Держите связь со мной, я буду звонить сам. Что сочтете нужным сообщить — сразу давайте в письменном виде, подпишитесь «Ильин». Договорились? Ну все, я вскоре с вами свяжусь, будет одно небольшое поручение. А пока что — вот, с вами учился студент К. Вы с ним, кажется, время от времени встречаетесь в одной компании, у вашего общего друга на Бутырском Валу. Так вот, вы не замечали, что он вроде бы как-то странно настроен, под чьим-то влиянием, может быть, какие-то не наши взгляды у него, а?» — «Да нет, ничего такого не припомню». — «Нет, я не хочу сказать, что он антисоветчик какой-нибудь или с кем-то связан, просто, может быть, чего-то недопонимает товарищ, наслушался «голосов» или выделиться хочет — вот, мол, я какой. Подумайте». — «Нет, в самом деле ничего такого о нем сказать не могу». — «Ну ладно, на сегодня довольно». Выхожу в жутком состоянии. Вот оно, начало. И действительно, это лишь начало. Через несколько дней — новая встреча; на этот раз расспрашивает о некоем Б., сотруднике журнала, и об одном преподавателе МГИМО. Даю такие же ответы, чувствую его неудовлетворенность. «А кстати, Георгий Ильич, вы не слышали, что нескольких шоферов, с которыми вы в «Теплосети» работали, посадили за разные темные дела — хищения, спекуляцию?» — «Да, слышал, меня даже лет семь назад на Петровку, 38 вызывали, допрашивали на этот счет, но я не был в курсе дела,

ничего не смог подтвердить». — «Но вы сами в этих делах не участвовали? А то ведь, знаете, опять могут поднять дело, неважно, что десять лет прошло». Ясно: опять небольшой шантаж, угроза. «Нет, я совершенно чист, в жизни ничем противозаконным не занимался». (А на самом деле в 46-м году картошку-то вместе с другими из Подмосковья раза два привозил, но большую часть ее не продавал как все, по спекулятивной цене, а себе с матерью на пропитание брал; у нас участок был на кооперативном огороде в Черкизове, от «Теплосети» получили, и вот по осени кто-то ночью всю картошку выкопал, мы остались на бобах.)

Нет, ни в этот раз, ни при последующих встречах с Павловым ни на кого компромата я не выдал. Постепенно понял всю механику: вот вызывают человека, завербованного в стукачи («сексоты», секретные сотрудники), и расспрашивают про кого-то. «Нет, ничего про него сказать не могу». При следующей встрече — тот же вопрос и тот же ответ. «Странно, странно, ведь вы с ним дружите, а ничего такого необычного от него не слышали. А у нас на него сигналы есть, что он политические анекдоты рассказывает. Подумайте, может вспомните». Через месяц опять то же самое, и опять ничего не припоминается. «Удивительно, неужели он при вас только молчит, а вот все говорят, что он Советскую власть недолюбливает и вслух об этом говорит». И «стукач» соображает, что он сам уже на подозрении — покрывает нелояльного человека, а ведь его самого уже давно на какой-то крючок поймали, иначе и не согласился бы он с КГБ сотрудничать. И вот он выдавливая из себя: «Да вот, действительно припоминаю, однажды какой-то анекдот он

рассказал сомнительный». — «Ну вот, видите, я так и думал, что вы вспомните. Садитесь, напишите, что, где и когда». Готово дело — еще одна бумага ложится в досье.

Главное при этой системе было — завести досье, а уж потом информация пойдет, листочки один на другой ложиться будут. Со мной, как я установил впоследствии, дело было так: первоначально досье было заведено на основании доноса кого-то из членов нашей юношеской компании в середине сороковых годов, когда мы собирались у Севы Рацена. В конце сороковых моя мать вышла замуж в третий раз; отец мой, напомним, умер от инфаркта перед войной, второй муж — Иванов — погиб на фронте. Последний муж, Глеб Вячеславович Сахаров, инженер, в 47-м году вышел из заключения, отбыв десятилетний срок по 58-й статье («враг народа»), и женился на матери, но через два года был арестован опять; шла кампания арестов тех, кто был взят во времена «ежовщины», получил десять лет (тогда это был максимальный срок) и теперь вышел на волю. Их стали сажать опять, сфабриковав какое-нибудь новое дело. В сороковых годах уже максимальный срок заключения был увеличен до двадцати пяти лет. Глеб Сахаров получил небольшой второй срок; во всяком случае, лет через пять он вышел, вернулся в Москву и рассказал мне, что во время следствия его, в частности, спрашивали про меня: «А правда ли, что ваш пасынок поступил учиться в такой-то институт с тем, чтобы уехать за границу и остаться там? Говорил ли он вам об этом?» Я никогда ничего подобного не говорил, но показательно, что моего отчима об этом спрашивали.

Но обычное российское разгильдяйство, головотяпство и неразбериха были присущи всем советским системам,

не исключая и КГБ, иначе чем объяснить, что в 1952 году, когда я заканчивал институт, меня собирались взять именно в эту организацию? Вообще-то я был рекомендован в аспирантуру, но на распределительной комиссии представитель «органов» вцепился в меня мертвой хваткой, и директор института Тарковский сказал мне: «Вы же понимаете, что с этой организацией мы спорить не можем». Я уже примирился с мыслью, что аспирантуры мне не видать, как вдруг директор вызывает меня и говорит: «Вопрос отпал, в этом году нужды в арабистах у них нет, можете идти в аспирантуру». Я сразу понял, что проверка дала свои результаты, система нашла в своих недрах досье, составленное на меня, и не стала брать к себе на работу такого человека. К этому времени в досье уже, конечно, была и описанная выше история с маршалом Тито, и многое другое. Во всяком случае, много лет спустя женщина, когда-то учившаяся со мной в институте и уже тогда завербованная в КГБ, рассказала мне, что ее еще в то время чекисты предупреждали, чтобы она от меня держалась подальше: «Мирский — антисоветски настроенный человек». Я был всегда неводержан на язык, и новые и новые бумаги ложились в мою папку на Лубянке.

После нескольких безрезультатных встреч с Павловым мне наконец было дано задание. «В Москву приехала одна девушка из Швеции, вам надо с ней познакомиться. Приходите завтра днем в два часа в ресторан «Арабат», там будет сидеть с этой девушкой наш товарищ, сейчас я вас с ним познакомлю, чтобы вы его узнали, и вы с ними посидите». Прихожу в ресторан, знакомлюсь с прелестной блондинкой, сидим втроем, обедаем,

болтаем по-английски. На следующий день — опять у Павлова. Он доволен: «Мы уже знаем, что вы произвели на нее хорошее впечатление. Через три дня она уезжает, времени в обрез. Сходите с ней завтра в театр, я вам дам билеты, потом поужинайте в ресторане и ведите ее к себе домой». Куда? — я живу с матерью в одной комнатухе в коммунальной квартире. Смеется. «Я знаю, я вам дам ключ от квартиры на Тверской». Выхожу, думаю — как же быть? Девушка, конечно, очаровательная, но позволить использовать себя в таком качестве? Я ведь понимаю, что все, что должно произойти в квартире на Тверской, будет записано на пленку и использовано для того, чтобы ее шантажировать, — для чего, не знаю, вряд ли она сама по себе что-то значит, может быть она чья-то дочь? Надо обмануть Лубянку, и я быстро придумываю, как именно. Как раз в это время в Москве находится в качестве гостя редакции суданский журналист, и я работаю с ним. На следующей неделе я должен лететь с ним в Ташкент, а пока что он едет завтра в Ленинград с одним из моих коллег, сотрудником редакции. Я предлагаю ему поменяться: «Я завтра поеду с суданцем в Ленинград, а ты на будущей неделе в Ташкент. Идет?» Он, конечно, согласен — в Ленинград, в отличие от Ташкента, все ездят по нескольку раз в год. Звоню Павлову: «Редакция посылает меня завтра на два дня в Ленинград с африканским гостем». Павлов взбешен, но сделать ничего не может — ведь нельзя же ему позвонить моему начальству в редакцию и все объяснить, кагебешные дела — тайные, он просто не имеет права их раскрывать. Вся затея со шведкой рушится. Не сомневаюсь, что Павлов раскусил мою хитрость. После двух-трех неудачных



попыток что-нибудь из меня выудить меня оставляют в покое. Сотрудничество с КГБ закончено.

И вот спустя год меня не пускают в Англию. А затем в Египет. А затем в Индию. И так далее — на протяжении тридцати лет. Сколько приглашений я получал за это время — не помню, не считал. Каждый раз в последний момент мне сообщают: урезан состав делегации, или не успели оформить документы, или еще что-нибудь. Отлично знают, что я понимаю, что они врут — ну и что?

Поразительная система: идут годы, я становлюсь доктором наук, профессором, заведующим крупным отделом в институте, уже написал ряд книг по проблемам третьего мира, но в этот самый третий мир — не говоря уже об Америке или Англии — меня не пускают. Две параллельные, несходящиеся линии: здесь, внутри, мне никто палки в колеса не ставит, да и зачем бы? — я не связан ни с иностранцами, ни с диссидентами, я не опасен, а вот за границей — другое дело: наболтаю чего-нибудь или даже попрошу убежища.

Сколько бумаг пошло на все эти оформления за эти годы! Процедура оформления в загранпоездку — это нечто фантастическое. Главным документом в выездном пакете была характеристика, составлявшаяся по установленному стандарту и заканчивавшаяся словами «политически выдержан, морально устойчив». Но прежде чем писать характеристику, нужно было пойти к начальству с полученным из-за границы приглашением и получить устное согласие на начало оформления. Характеристику должны были подписать: сначала «треугольник» отдела — заведующий, секретарь парторганизации и профорг, затем секретарь парткома института и председатель

месткома и уже в последнюю очередь — директор. После этого характеристика шла в райком партии, где сначала поступала в комиссию, неофициально называвшуюся комиссией старых большевиков (активисты-пенсионеры, задававшие оформляемому вопросы о внутреннем и международном положении), потом утверждалась на заседании бюро райкома и подписывалась вторым секретарем райкома. Оттуда бумаги возвращались в институт и направлялись в соответствующее отделение Академии наук, где должны были быть завизированы высокопоставленным чиновником (кажется, одним из вице-президентов). После этого выездное дело шло в Министерство иностранных дел, откуда — тоже после визы соответствующего начальника — направлялось в главную инстанцию - ЦК КПСС; кстати, в целях какой-то глупой маскировки было принято на совещаниях и вообще в официальных разговорах избегать слова с ЦК» и вместо этого говорить «инстанция», так что часто слышалось: «а в инстанцию документ посылали?», «а какое мнение в инстанции по этому вопросу?». Итак, пакет поступает в ЦК, где он последовательно проходит через отдел науки, международный отдел и наконец — самое главное, решающее звено — выездной отдел (это был фактически филиал КГБ; его сотрудники либо сами уже располагали необходимыми сведениями об оформляемом, либо обращались с запросом к «соседям», т. е. на Лубянку, откуда могли получить, например, лаконичную справку: такой-то для выезда в капиталистические страны не рекомендуется). Обросшая подписями заместителей заведующих всех трех отделов ЦК бумага при благоприятном варианте возвращалась в Министерство иностранных дел, которое

оформляло визу, а если «решения ЦК» не было — в институт сообщали, что поездка не состоится. Тогда отдел международных связей института информировал человека, что он не едет, придумывали какой-либо предлог.

Вместе с характеристикой и другими документами в выездной пакет входило еще обоснование поездки, а также «директивные указания», где, в частности, указывалось, что оформляемый обязан во время пребывания за рубежом знакомить тамошнюю общественность с достижениями советской науки, разъяснять линию партии и информировать о решениях последнего пленума ЦК КПСС.

Вот так оформлялась поездка в любую страну, даже в Болгарию или ГДР. Меня в социалистические страны пускали; там я, видимо, вреда причинить не мог. Я довольно часто ездил в эти страны. Но вот один мой коллега, на которого, судя по всему, был незадолго до поездки в Венгрию найден компромат, получил отказ, хотя его жена и дочь в эту поездку благополучно отправились.

В «директивных указаниях» (этот документ в последние годы Советской власти был для благозвучия переименован в «научно-техническое задание») обязательно указывался «глава делегации». Я однажды поехал в Польшу в единственном числе и в документе был назван главой делегации.

Директор Арзумян, которому в конце концов надоело раз за разом подписывать мне блестящие характеристики, с которыми выездной отдел не считался, однажды отправился к заместителю заведующего международным отделом ЦК Белякову — специально, чтобы выяснить причины моих отказов. Беляков, из уважения к родственнику Микояна, обещал разобраться и попросил

Арзуманяна придти к нему еще раз через неделю. Во время второй встречи на столе перед Беляковым лежала пухлая панка — это было мое досье, затребованное им с Лубянки. Перелистывая его (но не показывая Арзуманяну), он сказал: «В общем-то дело не стоит выеденного яйца, одни разговоры. Но их много, придется с товарищами поработать». Но Арзуманян умер через два месяца, и все на этом закончилось.

А «разговоров», действительно, было немало — «язык мой — враг мой». Особенно досаждали кагебешникам мои тосты на банкетах: тогда было принято по поводу защит диссертаций устраивать пышные банкеты в ресторанах, и я неизменно бывал тамадой. Однажды, войдя в зал и окинув взглядом собравшихся, я сказал: «Итак, сорок человек, не считая стукачей». Другой раз, узнав утром, что в Киеве такого рода банкеты запретили, я сказал в первом же тосте: «Мне сегодня сообщили по телефону, что па Украине банкеты по поводу защит запрещены; остается посмотреть, откуда идут политические тенденции в пашей стране — с Украины в Москву или наоборот». Все поняли намек на брежневскую «днепропетровскую мафию», было доложено куда следует, и уже через два дня сменивший Арзуманяна на посту директора нашего института Иноземцев вызвал меня к себе и крепко отчитал за этот тост.

Кажется, в декабре 1968 года защищал докторскую диссертацию Евгений Примаков; он тоже попросил меня быть тамадой на его банкете. В разгар пиршества меня попросили сказать тост в честь присутствовавшего в зале Фельдмана, руководителя издательства «Правда», от которого зависело издание многих наших публикаций.

К нему сразу же подбежали, чтобы чокнуться или даже обняться, четыре директора академических институтов — Иноземцев, Арбатов, Тимофеев и Солодовников. Я не удержался и выкрикнул: «Товарищи, смотрите и запомните — когда еще вы увидите, как четыре директора целуют одного Фельдмана!»

Все такие выходки докладывались в КГБ и сообщались руководству института. Один мой коллега сказал мне спустя много лет, что он как-то разговаривал с Иноземцевым по поводу моих выездных дел и тот ему поведал, что он, Иноземцев, ходил по этому поводу к большому кагебешному начальству, но безрезультатно. «Мне дали прослушать его голос», — сообщил Иноземцев; это могло означать лишь, что КГБ продолжал накапливать пленки с записями моих высказываний. Одна сотрудница отдела международных связей нашего института конфиденциально сообщила мне, что ее шеф прямо заявил ей: «Мирский непроходим».

Итак, все присылаемые мне приглашения бесполезны. Я пишу книги о Египте, Ираке, Бирме, Бразилии и так далее, на эти же темы читаю курсы лекций в престижнейшем МГИМО, но ни в одной из этих стран мне не будет дозволено побывать. Я также никогда не увижу Парижа, Лондона и Нью-Йорка. Я примирился с этой мыслью — в конце концов в этом была какая-то горькая справедливость: ведь я не люблю Советскую власть, распускаю язык — почему власть должна любить меня? Как однажды сказал мне Примаков во время прогулки по Будапешту, «у нас выезд в капстраны — это привилегия, ты же знаешь, и она дается только лояльным людям». Он также посоветовал мне приглядеться к моим

друзьям: « Кто-то из близких к тебе людей стучит на тебя». Я ответил: «Женя, я не буду гадать, не буду даже об этом думать, иначе как я смогу жить?»

Мог ли я тогда думать, что в городах, которые я так часто видел во сне, понимая, что это всего лишь сон, — во всех этих городах мне уже на старости лет доведется-таки побывать, и не раз? Мог ли я предвидеть, что уже живет на земле, работает, делает большую карьеру человек, благодаря которому мои мечты осуществляются, и что спустя десятки лет где-нибудь в Вашингтоне или Нью-Йорке я буду за ужином обязательно поднимать первый бокал за Михаила Сергеевича Горбачева?

## ЦК КПСС

Секретарь ЦК Мухитдинов диктует тезисы очередного важного документа, который затем мы должны изложить в полной форме. «Мы» — это группа молодых сотрудников Академии наук и руководитель нашей только что сколоченной бригады — консультант международного отдела ЦК. «Югославские ревизионисты, как цепные псы империализма...» Дело происходит в 1958 году. Я, как это иногда со мной бывает, не выдерживаю и срываюсь: «Нурэддин Акрамович, как же так? Всего два года назад на встрече в Кремле Никита Сергеевич говорил: «Дорогой товарищ Тито», а мы сейчас их цепными псами называем». Хитро прищурив глаз, Мухитдинов отвечает: «Так мы же не говорим «цепные псы», мы говорим «к а к цепные псы».

Я вовсе не хочу сказать, что руководство партии в своем большинстве состояло из деятелей типа Мухитдинова, но уже тот факт, что человек такого уровня смог попасть на самую верхушку пирамиды, о чем-то говорит. Мне повезло: я имел дело почти исключительно с международным отделом ЦК, а там состав работников был вполне приличный, особенно группа консультантов, интеллектуальная элита отдела. Это были в основном мои коллеги и ровесники, кандидаты наук, выходцы из ИМЭМО, Института США и Канады, Института востоковедения и т. д. Референты и заведующие секторами были уровнем пониже, но и среди них встречалось уже мало людей «старой гвардии», сталинской закалки. Если судить по международному отделу и отделу социалистических стран, где группой консультантов руководил Георгий Арбатов, кадровый цековский состав в послесталинские годы значительно изменился в лучшую сторону, там был хороший интеллектуальный климат, общаться с этими людьми, особенно с консультантами, было приятно. Я мало встречался с заведующим отделом Пономаревым и был этому только рад; в основном я имел дело с руководителем группы консультантов международного отдела Брутенцем, впоследствии ставшим заместителем заведующего, и с другим заместителем, Ульяновским. Наиболее сильное впечатление всегда производил на меня Карен Брутенц, бывший, безусловно, на голову выше всех других руководящих работников отдела, — человек с непростым характером, резкий в обращении, но наделенный недожизненными способностями и интеллектом, энергией и работоспособностью. Я всегда считал, что именно Брутенц лучше всех подходил бы на роль руководителя

отдела, но он так им и не стал, — думаю, потому, что он обладал слишком сильным и независимым умом и характером, а также, вероятно, ввиду его армянской национальности. Вообще подход к «национальным», т. е. нерусским, кадрам в партийном руководстве был своеобразным: в самом высшем эшелоне партийных руководителей «нацмены» всегда были представлены, начиная от Орджоникидзе, Берия, Микояна (не говоря уже о самом Сталине) и кончая Шеварднадзе, Кунаевым, Алиевым. Видимо, это было нужно в послесталинскую эпоху — во-первых, ради демонстрации «дружбы народов» и, во-вторых, для того чтобы еще крепче привязать к Кремлю верхушку национальных республик. А вот уже в следующем эшелоне, на уровне заведующих отделами, надо было быть русским (или украинцем).

Ульяновский, человек весьма неглупый и образованный, несмотря на то, что он просидел в ГУЛАГе лет семнадцать, оставался работником прежнего, сталинского склада. Он принадлежал к числу людей, которых называли «недосидевшими», т. е. ничему так и не научившимися в сталинских лагерях. Помню, уже году в 89-м, когда Ульяновский был давно на пенсии, в Институте Африки на одном заседании я сказал, что Сталин уничтожил больше коммунистов, чем Гитлер; Ульяновский не выдержал и вышел на трибуну: «Я не позволю охаивать Сталина, я сам был в лагерях, но при Сталине была создана современная экономика, построены дороги...» и т. д.

Для молодых работников, особенно пришедших из академических институтов и из университетов, такие «старорежимные» настроения были не характерны. Почему они пришли работать в ЦК? Для многих решающую



роль играли материальные и престижные соображения: дают хорошую квартиру, «кремлевское» питание и лечение, первоклассные места в гостиницах и на транспорте, возможность зарубежных поездок, приобретение по особым книжечкам книг, которые простой смертный не достанет, служебное удостоверение открывает все двери, во время командировок в провинции все вокруг тебя крутятся и носятся, сажают в президиум и пр., и пр. Ты приобщаешься к элите, уже какая-то грань отделяет тебя от обычных людей, ты — на ступеньку выше своих прежних коллег, ты стал избранным. Но и не только это. Некоторые рассуждали так: конечно, система дерьмовая, вся эта болтовня о коммунизме и о «загнивающем капитализме» — чушь собачья, но ведь изменить все это невозможно, власть неимоверно прочна и могущественна, единственный шанс что-то улучшить появится только тогда, когда на руководящих должностях будет побольше умных, образованных и порядочных людей, иначе эти должности заполнят болваны и подонки. При этом как-то не хочется и думать, что система всегда будет сильнее отдельной личности, что она перемелет, перемолотит любого, продавит через свое сито, наложит на свой трафарет, а если не пройдешь — выкинет вон. И на моей памяти примеры того, как человек, абсолютно вроде бы «свой» по духу, уже проработав в ЦК всего несколько месяцев, в чем-то неуловимо менялся, начинал говорить официальным языком, небрежно бросал: «У тебя нет достаточной информации, а отсюда все видится иначе».

И тем не менее, глядя из сегодняшнего дня, я должен признать, что в чем-то правы были люди, считавшие, что «ради общего блага» именно таким, как они, и следует

пробиваться на верхи партийной иерархии. Да, система перемалывала, гнула и приспособлиwała их, но что-то от их взглядов, их мнений и предложений незаметно просачивалось на самую верхушку. Например, я уверен, что, допустим, без Анатолия Черняева Горбачев вряд ли пропитался бы такими взглядами, которые позволили ему решиться на радикальные преобразования в сфере идеологии, приведшие к демократизации политической жизни и к торжеству гласности (и уже, как следствие, вопреки его собственным намерениям — к разрушению системы).

Но это все будет потом, а пока что — новый сотрудник погружался в мир иерархии и номенклатурных привилегий. Один консультант из ЦК сказал мне, что, наверное, нигде в мире нет такой четко разработанной иерархической системы, как у нас. Другой мой коллега работал с молодыми кубинскими коммунистами, прибывшими на стажировку в ЦК; по его словам, они были поражены тем, что, например, заведующему приносят бутерброд с черной икрой, а его заместителю — с красной, или что такой-то цековский чиновник имеет право только на «кремлевскую» столовую, а другой, ступенькой выше — и на покупку продуктов в знаменитом магазине на улице Грановского, что один начальник получает бесплатную путевку на юг вместе с женой, а другой, помельче, за путевку жены должен платить и т. д. Кубинцев, еще мечтавших об эгалитарном государстве, такая система иерархических привилегий в первой стране победившего социализма, разумеется, не могла не шокировать. Мы-то, привычные к таким вещам с детства, воспринимали все как должное. Я до сих пор не забуду цековский буфет в третьем подъезде (там находился международ-

ный отдел), все эти деликатесы — осетрину, семгу, буженину и прочее, — и все по поразительно низкой цене.

Так же обстояло дело и в провинции. В этом я убедился однажды в Петропавловске-Камчатском, куда попал в составе пропагандистской группы ЦК; мы обычно обедали в ресторане на набережной вместе с работниками местного обкома партии в особом заднем зале, и наиболее популярными блюдами у нас были крабы в голландском соусе и нерка в кляре — ну просто объедение! Как-то раз в воскресенье мы гуляли по городу и зашли в тот же ресторан пообедать, но уже в общий зал, так как с нами не было обкомовцев. Заказали «как обычно» и, едва отведав крабов и нерку, переглянулись: что за черт, вкус совсем не тот, гораздо хуже. Но уже в следующую секунду, все сообразив, мы расхотались...

Все это, однако, в общем не так важно по сравнению с существом дела, с нашей работой. А ведь работа в ЦК «по заданию» считалась наиболее ответственной и почетной в таком «придворном» институте, как наш; нескольких человек, уже как бы прошедших проверку на первых заданиях, привлекали для работы в ЦК постоянно, мы сидели неделями в основном в самом здании на Старой площади, а иногда на загородной даче. Я входил в группу из пяти-шести человек, которая под руководством Брутенца составляла важные партийные документы по проблемам третьего мира. Доводилось также писать куски, целые фрагменты выступлений Хрущева, Брежнева. Сулова, Микояна, Пономарева; потом они шли на обработку к помощникам «больших людей», и, читая текст в газетах, я его не узнавал — настолько все было засушено, обезличено, изуродовано. А сколько человеко-часов

на все это уходило — невозможно подсчитать. В 63-м и 64-м годах, например, мы буквально месяцами не вылезали со Старой площади, работая над «Тезисами ЦК КПСС по проблемам национально-освободительного движения» (они так почему-то и не были опубликованы, все оказалось напрасно). Сейчас, перечитывая сохранившиеся наброски этих материалов, я поражаюсь: сколько же времени и энергии ушло на составление абсолютно никому не нужных текстов, в лучшем случае банальных, а чаще — просто фальшивых, не имевших никакого отношения к тому, что действительно происходило в странах Азии, Африки и Латинской Америки! Ведь буквально все наши прогнозы оказались ложными, все произошло совсем не так, как мы предполагали, основывая наш анализ на «гранитном фундаменте марксистско-ленинской теории».

Конечно, и то, что мы, научные сотрудники, «творили» в наших институтах, сочиняя плановые монографии, было ненамного лучше. Считалось, что мы занимаемся научными исследованиями, но ведь данный термин означает, что предмет действительно и с с л е д у е т с я, изучается с тем, чтобы на основании анализа и обобщения фактов и тенденций придти к объективным выводам, найти истину. Ничего подобного не было и в помине, выводы и заключения были известны заранее. Например, если планировалась коллективная монография на тему индустриализации развивающихся стран, то ее конечный вывод — тот, который по завершении работы излагался на последних страницах, в заключении, — мог быть сформулирован еще прежде, чем была написана первая строчка первой главы: развитие промышленности по капиталистическому образцу приведет лишь к усилению

зависимости от империализма и не даст решения насущных проблем развивающихся стран, только научный социализм даст такое решение. И под это подгонялись на протяжении сотен страниц все факты. В работе о внешнеполитических проблемах стран третьего мира заранее постулировалось, что неоколониализм стремится дестабилизировать обстановку в этих странах, разжечь там конфликты, закрепить свое господство, в то время как только государства социалистического содружества во главе с Советским Союзом являются искренними и последовательными друзьями народов этих стран, и т. д. и т. п. И все изложение перемежалось бесконечными цитатами из Ленина и из документов ЦК КПСС. Спрашивается: кого мы старались во всем этом убедить? Общественность развивающихся стран? Лишь считанные единицы из числа местных марксистов могли читать все это и верить в правоту наших рекомендаций (а если они им следовали, то тем хуже для этих стран). Нашу советскую публику? Ей эта проблематика была чужда и безразлична. И целые институты с огромным штатом сотрудников тратили немалые деньги на совершенно бесполезное дело.

То же самое было и с нашими цековскими заданиями: надо было как можно убедительнее обосновать те основополагающие установки, которые нам в тезисном виде диктовали большие начальники. Считалось удачей найти какой-то свежий, нестандартный аргумент для подтверждения банальной предпосылки, какой-нибудь афоризм или даже пословицу; помню, как один мой коллега для того, чтобы характеризовать лицемерие империалистов, прикидывающихся друзьями отсталых стран, а на самом деле грабящих их, откопал откуда-то пословицу

«Люблю как душу, трясую как грушу», и это было признано удачной находкой. А вообще масса времени уходила на «расщепление волоса», на разработку тонких нюансов и дефиниций, таких как: народно-демократические и национально-демократические силы и партии, революционная демократия и национальная демократия и т. п. Я сам поднаторел в таких играх и считался одним из признанных специалистов; моя должность называлась «заведующий сектором проблем национально-освободительных революций». В центре наших исследований находилась проблематика некапиталистического пути развития стран третьего мира, или, как это стали называть позже, социалистической ориентации. В моем секторе, равно как и в аналогичных коллективах близких по профилю академических институтов, работало немало способных молодых ученых, которые в иных условиях могли бы изучать то, что действительно было крайне важно для понимания реалий развивающихся стран и что нам, варившимся в собственном соку, было практически неизвестно — культурно-цивилизационные особенности их народов, их традиции и религию, менталитет и политическую культуру, клановую и патронажно-клиентельную структуру обществ Востока, специфику их приобщения к научно-техническому прогрессу и восприятия ими императива модернизации и т. д. Надо сказать, что иногда попытки такого рода делались: я должен упомянуть, например, интересную коллективную монографию, опубликованную сотрудниками Института востоковедения под руководством одного из самых мыслящих и талантливых ученых в нашей области, Нодари Симония. Он, кстати, еще до этого пострадал от преследования ортодоксов

во главе с уже упоминавшимся Ульяновским за то, что в своей индивидуальной работе затронул, причем в оригинальной, новаторской трактовке, общие проблемы революций, что было «вотчиной» и сферой монопольной разработки Института марксизма-ленинизма, работники которого пришли в ярость и устроили беспрецедентную травлю Симонии. Более слабого человека такая травля могла бы сломить, но с Симонией этого не получилось, он выдержал бурю и продолжал плодотворно работать. Однако этот эпизод был исключением, в целом же вся господствовавшая атмосфера препятствовала тому, что можно было бы назвать свободным творческим полетом; в наших работах мы были скованы, ограничены со всех сторон необходимостью не выходить за рамки «основополагающих» догматических установок.

Мне в известном смысле повезло: я нашел себе собственную нишу — стал заниматься, наряду с проблематикой революционной демократии и социалистической ориентации, изучением вопроса о политической роли армии в развивающихся странах. Сама жизнь, все эти бесчисленные перевороты и военные режимы в Африке, Азии и Латинской Америке подсказывали необходимость заняться данной темой, над которой на Западе ученые давно работали. Я защитил докторскую диссертацию и написал три книги на эту тему, причем не обошлось без трудностей: моя первая книга несколько месяцев лежала без движения в Главлите — организации, осуществлявшей цензуру всех печатных изданий. Парадокс заключался в том, что официально цензура у нас вроде бы и не существовала, и редактора моей книги даже не допустили бы в Главлит, чтобы выяснить, какие

там претензии к книге. Заведующий издательством, покойный Олег Дрейер, мой друг, пробился-таки в Главлит и поговорил с женщиной-цензором, занимавшейся моей книгой. По его словам, он увидел целые страницы, испещренные красным карандашом, без всяких замечаний, и цензорша сказала ему, что, будь ее воля, книга Мирского вообще не увидела бы света. К этому, видимо, дело и шло, Дрейер был бессилён что-либо сделать, и выручил меня Брутенц, в то время заведующий группой консультантов в международном отделе ЦК. Достаточно было телефонного звонка, и книга получила «добро». Так и осталось неясным, что именно в этой работе вызвало негодование цензуры; возможно, сработало классовое чутье — что-то в стиле и языке книги было не вполне «нашим», ведь не случайно она потом получила высокую оценку американских специалистов.

Время шло, я стал профессором и начал читать курс (по совместительству) в МГИМО, продолжая выполнять эпизодические задания ЦК. Там, в третьем подъезде, в международном отделе, меня ценили, а в соседнем подъезде, где помещался выездной отдел, упорно «рубил» при всех попытках выехать за рубеж. В то же время еще в одном подъезде, где занимались агитацией и пропагандой, мои акции тоже котировались весьма высоко, то и дело меня включали в так называемые пропгруппы ЦК, направлявшиеся в разные области и республики для пропаганды решений съездов или пленумов. Там меня встречали, естественно, со всем подобающим уважением и почетом, и местные лекторы, записывавшие мои выступления чуть ли не дословно, говорили после лекций: «Ну спасибо, какой интересный материал вы нам привезли!



Еще бы, вы ведь во всех этих странах побывали, весь мир, наверное, объездили». Им, конечно, и в голову никогда не могло придти, что московский профессор ни разу не был в тех странах, о которых он им рассказывал.

## ПАДЕНИЕ ХРУЩЕВА

**К**урорт Пицунда, октябрь 1964 года. Мы с моим коллегой Меньшиковым едем на такси на местную птицеферму, чтобы полакомиться знаменитыми тамошними цыплятами. Проезжаем мимо правительственной дачи, и таксист резко тормозит: из ворот дачи выкатываются три черных машины. В первой сидит Ворошилов с Аджубеем (зятем Хрущева), во второй — Хрущев с Микояном, в третьей — охрана. Они проезжают совсем рядом, мы отчетливо видим лица: Хрущев — загорелый, улыбающийся, Микоян рядом с ним — старый, желтый, угрюмый. Я говорю Меньшикову: «Смотри, как Никита здорово выглядит — как огурчик!»

Через день утром, как обычно, включаю на своем портативном приемнике Би-би-си и вдруг слышу: «Из Москвы сообщают о том, что Никита Хрущев ушел в отставку по состоянию здоровья». Я не верю своим ушам, хотя давно привык доверять информации лондонского радио. Какая чушь — состояние здоровья, два дня тому назад я видел его в блестящей форме. Но вскоре новость подтверждается. Хрущев освобожден от обязанностей Первого секретаря ЦК и Председателя Совета Министров и отправлен на пенсию.

Сейчас уже почти все известно о том, как был организован заговор против Хрущева, как его вероломно выманили в Москву на пленум — поступив с ним точно так же, как он сам обошелся с Берия и Жуковым. То, что члены ЦК, как и всегда в таких случаях, единодушно поддерживали тех, кто к моменту открытия пленума оказался хозяином положения, вполне естественно. Гораздо важнее другое: я убежден, что и при совершенно свободном, тайном голосовании пленум в своем подавляющем большинстве все равно поддержал бы противников Хрущева точно так же, как семью годами раньше этот пленум — в том же самом составе — поддержал бы, наоборот, Хрущева в борьбе против маленковско-моловской группы. В чем тут дело?

Яснее всего по этому поводу высказался выступавший на пленуме секретарь, если не ошибаюсь, ростовского обкома партии: «Теперь уже никто не будет нам указывать, кому ехать на ярмарку, а кому с ярмарки». Дело в том, что Хрущев незадолго до этого постановил ограничить срок пребывания на должности региональных партийных секретарей, бросив при этом реплику: «Многим уже давно пора, как говорится, с ярмарки ехать, а они все сидят на своих постах». Так вот, именно этим, думается, Хрущев и подписал себе смертный приговор.

При Сталине региональные партийные лидеры, эти «бояре», пользовались, конечно, огромной властью у себя, но жили всегда под страхом: 37-й год был памятен всем. Они облегченно вздохнули после смерти диктатора, почувствовав себя наконец в безопасности; после казни Берия и его приспешников в 53-м году уже никого больше не расстреливали по политическим мотивам.

Молотов, Маленков и Каганович были живым олицетворением сталинского режима, и в 57-м году «бояре» рады были от них избавиться, Хрущев получил полную поддержку. Но, хотя Хрущев и не стал вторым изданием Сталина, был не диктатором, а лишь первым среди более или менее равных, он оказался на вкус «бояр» чересчур своенравным и непредсказуемым. От него можно было ожидать чего угодно, его то и дело «заносило», провинциальные вельможи стали опасаться если не за свою жизнь, то за сохранность своих должностей.

Вообще деятельность Хрущева, в соответствии с двумя цветами памятника на его могиле, может быть окрашена и белым и черным. С одной стороны, к его несомненным достижениям должна быть причислена десталинизация и реабилитация жертв сталинского террора, а также развитие промышленности (например, «большая химия»), освоение целинных земель, введение реального пенсионного обеспечения, развертывание строительства жилых кооперативов. С другой стороны — такие явно провальные и не оправдавшие себя кампании, как насаждение кукурузы, создание совнархозов, разделение парторганизаций в областях на промышленные и сельскохозяйственные, равно как чрезмерный упор на развитие ракетного комплекса в ущерб авиации и другим родам обычных Вооруженных сил. Все в стране делалось только по инициативе Хрущева, все держалось на его бешеной энергии. Но — наши недостатки суть продолжение наших достоинств: безграничная уверенность Хрущева в том, что он все знает лучше всех, его стремление всем руководить, во все вникать, за всем следить, всех поучать, наконец, избыток темперамента — в конечном

счете породили суетливость и мельтешение, задержали страну. Он не давал «боярам» спокойно жить; при нем они, едва оправившиеся от шока сталинских репрессий, не получили желанной стабильности, устойчивости своего положения, определенности своих личных перспектив, и именно это, повторяю, представляется мне главной причиной той озлобленности, с которой они огрызнулись на него и, улюлюкая, изгнали из Кремля.

Конечно, и здесь все не было фатально детерминировано. Можно представить себе вариант развития событий, при котором Хрущев сумел бы вовремя раскрыть заговор. Но все равно он был обречен и должен был рано или поздно пасть, — это диктовалось всей логикой развития Советской власти, — логикой, востребовавшей такого человека, как Брежнев, при котором система окончательно отлилась в адекватную ей послесталинскую форму. «Бояре» вздохнули наконец свободно. Отныне они могли править и владеть в своих вотчинах, не опасаясь непредсказуемого, взбалмошного и капризного правителя.

Хрущев, как и Берия одиннадцатью годами раньше, потерял бдительность. Он не ожидал удара, презирая своих соратников, считая их (вполне справедливо) ничтожествами. Он не понимал, что только в арифметике сумма нулей все равно дает нуль, а в политике эти нули, если они заручатся поддержкой армии и сил госбезопасности, могут стать пешками, способными снять с доски короля.

Общественность осталась равнодушна к падению Хрущева. Этого он тоже не ожидал, убаюканный созданным подхалимами миникультотом «нового вождя». Народ не боялся Хрущева, но и не любил его. Прирожденный

лидер, он не обладал все же некоторыми качествами, необходимыми для царя. Вроде бы его простонародный язык и плебейские повадки, его бросавшееся в глаза отсутствие интеллигентности и учености должны были импонировать массам, и в какой-то степени так оно и было, особенно вначале. Но этого оказалось мало: народу, конечно, приятно видеть, что страну возглавляет не высококолотый интеллеktуал, а простой мужик, но при этом еще надо, чтобы он все же обладал чем-то, что позволяет смотреть на него снизу вверх. Он должен быть «своим», «одним из нас», но в чем-то «выше нас», чтобы нельзя было сказать: «да он такой же, как я, ничуть не лучше и не умнее». В лидере должно быть нечто, не вполне доступное пониманию подданных, даже таинственное и мистическое. В Хрущеве этого не было. В Брежнев, разумеется, этого не было и подавно, по сравнению с Хрущевым он был серой посредственностью, но он ни на что серьезно и не претендовал, не мешал жить.

Заслуги Хрущева, тем не менее, неоспоримы. Он изменил всю историю страны, вбил первый и главный гвоздь в гроб Советской власти. Только он, с его смелостью и решительностью, мог произнести на двадцатом съезде доклад, разоблачающий Сталина, а еще через пять лет пойти на то, чтобы вынести Сталина из мавзолея. Антисталинист, он при этом оставался искренним и убежденным сторонником социализма: этот хрущевский «социализм без сталинизма» не был еще «социализмом с человеческим лицом» или горбачевским вариантом Советской власти с плюрализмом, но это все же была предпоследняя (перед Горбачевым) попытка сочетать монопольное господство авторитарной партократии с некими гуманными

началами. В то, что такое сочетание возможно, Хрущев верил так же, как в принципиальное превосходство социализма над капитализмом. Когда он умер, некролог во французской «Монд» был озаглавлен «Смерть последнего оптимиста». Да, он был оптимистом, жизнерадостным как в личном плане, так и в отношении видения будущего. А это видение у него было и в том, что касалось международных отношений, — не даром ведь именно он отверг фатальную неизбежность мировой войны. Для доказательства преимуществ социализма, способного и без войны одолеть капитализм, Хрущев не гнушался фальсификацией: готовя двадцать второй съезд партии, он через Микояна велел его родственнику Арзумяну, директору нашего института, опубликовать «от имени науки» прогноз, согласно которому СССР должен был в обозримом будущем обогнать Америку по экономическим показателям. Хрущев не мог не знать, что подготовлена «липа», но он был большевиком, для него это было приемлемо и оправдано. Ничтоже сумняшеся, он приказал вписать в новую программу партии бессмертную фразу: «Партия торжественно обещает, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Верил ли он в это сам? И каким он видел коммунизм?

Десятилетия спустя одна моя студентка в Американском университете в Вашингтоне написала в курсовой работе, что Хрущев только болтал и ничего не делал. Я решительно возразил ей при всех, нарушив американское правило не делать замечаний студентам в присутствии других учащихся. «При Хрущеве, — сказал я, — впервые в жизни я получил возможность переехать из коммунальной квартиры в кооперативную. Это ничтожный

факт, по он о многом говорит». Уж что-что, а делал Хрущев много, даже больше, чем было нужно. Не был бы он таким деятельным, он умер бы на своем посту — как, между прочим, и Горбачев, с которым его многое роднит. Но он умер в полном забвении, и та самая Советская власть, для оздоровления которой он столько сделал, отплатила ему в типичной для нее манере: когда однажды утром в 1970 году я, услышав по лондонскому радио, что «сегодня Хрущева хоронят на привилегированном московском кладбище», вскочил в машину и подъехал к Ново-Девичьему кладбищу, я увидел картину, которую можно было лицезреть только в стране Советов. Перед закрытыми воротами кладбища толпились люди, в основном иностранные корреспонденты, глядя на дощечку с надписью: «Санитарный день». Гроб ввезли через задние ворота, и никто из официальных лиц, включая его собственных выдвиженцев, равно как никто из реабилитированных им людей, не удосужился придти, чтобы отдать последние почести человеку, чья смерть была упомянута в лаконичном сообщении московской газеты как кончина «пенсионера союзного значения». А потом в течение долгих лет знаменитая сцена встречи Хрущева с прилетевшим из космоса Гагариным будет монтироваться в кинохронике таким образом, чтобы Хрущева даже не было видно: Гагарин рапортует, а кому — неизвестно. Имя Хрущева оставалось практически неизвестным школьникам, знавшим о Ленине и Сталине. И лишь иностранцы, эти наивные иностранцы, неспособные понять логику тоталитаризма, посещая знаменитое кладбище, шли и шли к творению рук Эрнста Неизвестного, увековечившего память «последнего оптимиста» (а может быть — последнего коммуниста?).

## С ЛЕКТОРСКОЙ ТРИБУНЫ

Секретарь сельского райкома партии смотрит на меня с уважением, широко улыбается, вот-вот одобрительно похлопает по плечу: «Здорово, товарищ Мирский, отлично. Вот такие лекции нам нужны! Только знаете что (доверительным тоном): завтра, на следующей лекции, пожалуйста, не говорите, что в Америке сейчас нет кризиса. И вам будет спокойнее, и мне».

Дело происходит в Белгородской области, в начале 60-х годов. Я уже лектор со стажем, с опытом, с хорошей репутацией. Моя тема, естественно, международное положение, народ это любит, валом валит, интересуется. Ведь газетам не то чтобы совсем не верят, но не особенно, да и скучноватые они, однообразные. Вот из Москвы лектор приедет — это да, у него информация. Какая именно информация может быть у московского лектора — никто толком не знает, но все уверены, что он-то, конечно, сообщит то, чего не найдешь ни в газетах, ни на телевидении. И лектор знает, чего от него ждут, и старается не ударить в грязь лицом. Уж очень не хочется повторять то, что люди и так читали или слышали. И вот тут-то начинается самое трудное — хождение по канату, если не по острию ножа, балансирование на грани допустимого. Надо сказать что-то новое, чтобы люди почувствовали, что не зря деньги выбросили, чтобы потом другим пересказывали, — и вместе с тем ухитриться не выйти за рамки дозволенного, не перегнуть, не «подставиться», не получить вслед «телегу» — ведь в каждой аудитории непременно есть стукачи, да и не только в них дело:



обычные добропорядочные советские граждане, нюхом учуяв что-то «не то», сочтут своим долгом сигнализировать. Что из этого получается? Там же, в Белгороде, мне только что рассказали, как погорел один из лучших лекторов соседней Курской области. Оказывается, ему в глухой деревне попался, может быть, единственный интеллигент, который задал вопрос: «Почему на Западе, в индустриальных странах, до сих пор нет революции — ведь классики предвидели, что она произойдет именно там, где есть наиболее многочисленный и сильный пролетариат, а вместо этого революции побеждают в отсталых странах вроде России?» Учитывая общий уровень аудитории, лектор решил объяснить людям эту ситуацию самым примитивным и понятным образом: «Вот представьте себе двух собак: одна — голодная, ее спустить с цепи, она бросится как бешеная за куском мяса, а другая — сытая, ей покажешь еду, а она только хвостом завиляет». На его беду, в деревне оказался не только один интеллигент, но и по крайней мере один стукач. О метафоре сообщили куда следует, и на этом лекторская карьера данного товарища закончилась.

Забегая вперед, расскажу еще одну историю, происшедшую с лектором общества «Знание» в 1968 году, сразу после ввода наших войск в Чехословакию. Его спросили, какова площадь Чехословакии; к несчастью для него, он знал, сколько квадратных километров насчитывает территория этой страны и, назвав цифру, добавил: «Как видите, территория сравнительно небольшая, оккупировать такую страну нетрудно». Это была его последняя лекция.

В райцентре Белгородской области меня спросили, насколько силен экономический кризис в Америке, и я

ответил, что согласно закону циклического развития капиталистической экономики кризис не может быть постоянным, а сменяется на какое-то время другими фазами. Я даже не произнес таких слов, как «оживление» или «подъем», но присутствовавший на лекции секретарь райкома заметил, что я отрицаю наличие кризиса в Америке в данный момент, и посоветовал мне в дальнейшем этого не говорить. Ему было наплевать на теорию циклическости, он просто знал, что при капитализме все плохо, всегда должен быть кризис; вернее, он знал, что так надо говорить в аудитории. А один мой коллега по институту, выступая в военном училище в Ейске с лекцией о мировой экономике, в ответ на соответствующий вопрос привел цифры, характеризующие экономическое положение Соединенных Штатов, без каких-либо комментариев. В Москву на него пришел донос в виде письма, подписанного чуть ли не всем личным составом училища; он обвинялся в восхвалении американского капитализма.

Я иногда должен был вертеться как уж на сковороде. Например, весьма нелегко приходилось выступать во Дворце культуры в Киеве, на Подоле, в районе, где жило много евреев и соответственно много антисемитов. Лекция была о Ближнем Востоке, и записки поступали вперемежку — одна юдофобская, другая, как тогда говорили, «просионистская». Нужно было в одну секунду переключаться и, давая отпор антисемитам, следить, чтобы не перегнуть в другую сторону, иначе «телега» была бы обеспечена. Однажды, когда я там рассказал о том, что главной ударной силой Израиля, элитой армии являются ВВС, поступила записка: «Почему же арабские патриоты совместно с еврейскими коммунистами не могут

организовать террористические акции — взорвать казармы с израильскими летчиками?» Это вызвало общий смех, и я был избавлен от необходимости даже что-либо ответить. Но бывало и потруднее. Так, где-то на Дальнем Востоке в 1963 году в лекции о международном положении я упомянул, как тогда было положено, о культе Мао Цзэдуна, сравнив его со Сталиным. Какой-то подвыпивший парень кричит с места: «Что там культ Мао и Сталина — а у нас сейчас нету что ли культа Хрущева? За что ему еще одну звезду дали?» Я ответил: «Никита Сергеевич много работает, он и Первый секретарь ЦК и Председатель Совета Министров». Парень не растерялся: «Нам бы его паек, мы бы тоже много работали». И народ сочувственно захихикал; ободренный этим, парень продолжает шуметь: «Так какая разница между Сталиным и Хрущевым?» И тут я тихо и спокойно сказал: «А разница в том, что вот сейчас после лекции ты пойдешь домой, проспиться и опохмелишься, и никто тебя не тронет, а в сталинские времена тебя за такие слова прямо из этого зала увезли бы сам знаешь куда». Смех, аплодисменты, инцидент исчерпан.

Конечно, полностью уберечься от «телег» я все же не мог, время от времени меня даже отстраняли на короткий срок от чтения лекций. Однажды это было после того, как в 1969 году, выступая в парке «Ривьера» в Сочи, в ответ на вопрос, почему не мы, а американцы первыми высадились на Луне, я сказал: «Это только в песне можно было петь «Мой Вася — он первым будет даже на Луне», а в реальной жизни США являются первой промышленной державой мира, а СССР — второй, и вполне закономерно, что тот, кто стоит выше по показателям

индустриального развития, имеет больше шансов добиться такого достижения». Донос не замедлил последовать, В другой раз, в 1980 году, уже после мирного соглашения между Израилем и Египтом, я, упомянув, естественно, о предательстве Садата по отношению к палестинцам, позволил себе все же назвать египетского президента весьма смелым и инициативным человеком. Этого нельзя было делать: такой человек, переметнувшийся от нас к американцам, по определению не мог быть никем, кроме как подлым предателем, и никаких иных, даже нейтральных, эпитетов не заслуживал. После этого выступления меня не выпускали с лекциями несколько месяцев.

Бывали и комичные ситуации. В 1964 году в Ярославле я должен был читать лекцию на автомобильном заводе как раз в то время, когда по радио транслировали футбольный матч между «Торпедо» и тбилисским «Динамо», решавший судьбу то ли первенства, то ли кубка. Заядлый болельщик, всегда симпатизировавший грузинской команде, я был крайне раздосадован и решил выйти из положения таким образом: я захватил с собой транзисторный приемник, незаметно пронес его на сцену и поставил под трибуной в ногах. Читая лекцию, я в то же время слушал трансляцию со стадиона, включив приемник на малую мощность, так, чтобы аудитория не слышала. Все было хорошо, пока не забили гол, и на стадионе поднялся такой шум, что я не мог расслышать, кто именно забил. Я ногой чуть-чуть прибавил громкость, но не рассчитал, и в зале несколько минут был слышен голос футбольного комментатора. Я сделал вид, что уронил листок, нагнулся и выключил радио, но многие уже заметили, в чем дело. Лекция закончилась нормально,

никто ничего не сказал, но вскоре в Москву, в общество «Знание» прислали из Ярославля экземпляр заводской многотиражки с заметкой, озаглавленной «Лектор развлекается» с описанием всего эпизода. Последствий это не имело, и когда на следующий год я опять приехал в Ярославль и читал лекцию на том же заводе, многие рабочие подходили ко мне и вспоминали прошлогодний инцидент чуть ли не с восхищением. В лекторских кругах Москвы об этой истории часто рассказывали, когда упоминалось мое имя.

Благодаря лекторской деятельности я побывал во всех республиках Советского Союза и во многих областях Российской Федерации, включая такие экзотические места, как Камчатка, Сахалин и Курильские острова. Кроме как с лекциями, попасть в такие края для меня было бы невозможно, и некоторые эпизоды остались в памяти как уникальные. Вот мы едем по лесной дороге на «газике» в глубинном Малковском районе Камчатки и видим, как недалеко от нас спокойно переходит дорогу медведица с двумя медвежатами; едем дальше, и сидящий рядом со мной секретарь райкома партии, уже крепко «поддавший» за обедом, видит в кустах зайца, велит водителю тормозить и бросается за зайцем в кусты (конечно, не поймал, но весь исцарапался). Вот я сижу на берегу Днестра недалеко от Каменец-Подольска в великолепной дубовой роще, где местное начальство устроило в мою честь пикник на открытом воздухе, и партийные боссы вместе с девушками-официантками заводят чудесные украинские песни (в России так не поют, и вообще настоящее хоровое пение я в своей жизни слышал только на Украине, в Грузии и в Германии). Вот я брожу

по самой настоящей тайге недалеко от Братска. Вот я принимаю ванну в целебном источнике на Кунашире, одном из островов Курильской гряды; меня привезли туда пограничники на «джипе», дорог на острове почти нет, одно шоссе от аэродрома до главного города, по которому ездил чуть ли не единственный в то время на Кунашире легковой автомобиль, возивший председателя местной администрации. Вот я сижу рано утром в маленькой тбилисской «забегаловке», куда пришел, чтобы поесть хаш (особое кавказское горячее блюдо из свиных потрохов, лучшее средство от похмелья), официант долго не приходит, и мои соседи по столику зовут его, я заказываю и получаю хаш, а они уже поели и уходят — и расплачиваются также и за меня, а когда я протестую, говорят мне: «У нас такой обычай, ты гость». Так я знакомлюсь со знаменитым кавказским гостеприимством.

Вот я читаю лекцию в бывшем бассейне у дворца бухарского эмира, взгромоздившись на вышку для прыжков в воду, а в бассейне сидят отдыхающие — теперь там дом отдыха; сопровождающий меня работник обкома партии спрашивает: «Ну видишь, как эмир жил? Там, где ты сейчас на вышке лекцию читал, эмир сидел, а в бассейне жены плавали; какой жена ему понравилась, в ладоши хлопал, ему вели. Воробьев ел». — «Зачем воробьев?» — «О, ты ничего еще не знаешь. Десять жареных воробьев в день съешь — хочешь не хочешь, к девчатам побежишь. Самый сильный мясо воробейский». Вот я ужинаю дома у второго секретаря бухарского обкома, а его жена (не простая женщина, а член обкома) только приносит еду и выпивку, за стол с нами не садится. Секретарь ставит пластинку, играет музыка, я

приглашаю его жену танцевать, она смущается, но идет, потом выходит, мы пьем опять, через какое-то время я ему говорю: «Еще потанцевать захотелось, позови жену», а он отвечает: «Слушай, дорогой, хочешь танцевать — танцуй со мной». И немало таких воспоминаний осталось у меня с тех времен...

Говоря о Бухаре, вспоминаю еще такую забавную историю: я читал лекции в отдаленном кишлаке. Вечером в мою честь устраивают ужин под открытым небом. Водка, коньяк, шашлык, плов. Со мной сидят только местные старики — почитаемые люди, молодежь не заслужила того, чтобы принимать московского гостя, тем более что я приехал в Узбекистан в составе пропгруппы ЦК. Говорим мало — по-русски они говорят плохо, стесняются, а по-узбекски перед гостем неудобно. Надоело только есть да пить, и я вдруг начинаю нараспев читать первый стих Корана: «Бисмилляхи-рахмани рахим, альхамду лилляхи...» и так далее. Старики в изумлении переглядываются, что-то говорят. Представитель обкома мне на ухо: «Знаешь, что они говорят? Это — святой человек, из ЦК партии приехал, Коран знает!» Уже не знают, чем меня еще ублажить, посылают мальчика к ручью, чтобы воду принести, освежить меня (Средняя Азия, июль, жара дикая). Окатывают меня ведром воды. После всего выпитого я забываю, что в кармане трусов у меня партбилет (хожу при этой жаре, естественно, без пиджака, а билет должен быть при себе в такой командировке — ведь я от ЦК приехал, в местные обкомы партии являюсь). Утром вытаскиваю билет — он весь намок, кроме первой страницы с фотографией, все отметки о партвзносах расплылись, а через два дня в Москву

и как на грех — делать очередное задание в ЦК, там при входе в третьем подъезде партбилет проверяют. Подготовился: когда офицер в подъезде спрашивает насчет намочшего партбилета, смотрю на него «значительным» взглядом и говорю: «Да, пришлось выкупаться». Он смотрит на меня с уважением и все последующие дни пропускает без звука.

Вообще воспоминания о поездках в среднеазиатские и закавказские республики — самые колоритные. В Душанбе участвую в конференции по проблемам некапиталистического развития. После конференции — грандиозный ужин на даче первого секретаря ЦК партии Таджикистана Расулова, присутствуют представители всех среднеазиатских республик, произносятся тосты. Я приготовился услышать цветистые восточные речи, а вместо этого — одно за другим: «Разрешите, товарищи, поднять этот тост за президиума (*именно в такой надежде*) Верховного Совета Узбекской ССР, за Центральный комитет и правительство республики...» — и так далее, абсолютно одно и то же, меняются только названия республик. Мне надоело, и я обращаюсь к главному человеку, первому секретарю ЦК: «Товарищ Расулов, а вы знаете, что значит по-арабски ваше имя? Расул — посланник Аллаха!» Вождь таджикского народа смотрит на меня с подозрением, ничего не отвечает — вдруг какой-то подвох? А на следующий день сидим в ресторане «Вахш», внезапно с одного из столиков раздается вопль: «Ленин — Сталин!» Все замирают, никто ничего не понимает, и опять: «Ленин — Сталин!» Пахнет скандалом, я подхожу к столику, откуда раздаются странные крики, вижу старика, который при моем приближении убегает, успев напоследок



выкрикнуть: «Ленин — Сталин, всю жизнь Ленин — Сталин, наконец Хрущев!» Что он хотел этим сказать?

В Ереване я оказался в дни празднования 2750-летия армянской столицы. Нет смысла даже и пытаться описать то, что творилось в городе. Но все, что было выпито, съедено, наговорено в тостах, — забылось, а в памяти осталось: «Ереван — старший брат Рима». (Незадолго до этого праздновалось 2700-летие Рима, а Ереван оказался на 50 лет старше, и по радио то и дело слышалось: «старший брат Рима».) Была даже такая острота: что такое Ереван? — Рим плюс пятьдесят лет Советской власти.

Лекторская работа была не для людей со слабым здоровьем; я имею в виду не только способность читать по три лекции в день. После турне по Азербайджану я, наверное, целый месяц не мог даже думать о коньяке и шашлыке. Иногда эта работа помогала весьма неожиданным образом; однажды я прилетел на неделю в Гагру, там мой друг уже снял для меня комнату. Больше недели я пробыть там никак не мог, поскольку торопился на защиту докторской диссертации другого моего друга, Николая Шмелева, в будущем известного экономиста и писателя; я выступал у него оппонентом. Оказалось, что авиабилеты в Москву продаются в Гагре не позже чем за десять дней до вылета, и в кассе мне сказали, что ничего сделать не могут. Не могут? В Грузии? Я набрался нахальства и пошел к секретарю горкома партии. Отрекомендовался и, глядя на него невинными глазами, сказал: «Вы знаете, у меня есть привычка: куда бы я ни приезжал отдыхать, я иду в горком и предлагаю свои услуги — сделать доклад о международном положении

для партийного актива». Секретарь смотрит на меня с недоумением, благодарит, вызывает зав. отделом агитации и пропаганды, поручает ей тут же договориться со мной о лекции, та записывает мои координаты, уходит. Секретарь спрашивает: «Может быть, вам надо помочь устроиться с жильем?» — «Нет, спасибо, я уже снял комнату». Встаю, прощаюсь, он смотрит на меня как на сумасшедшего. У дверей оборачиваюсь: «Да, кстати, я вспомнил, здесь трудности с обратным билетом». Вижу в его глазах облегчение: все-таки оказалось, что перед ним нормальный человек. Берет телефонную трубку: «Арчил? Слушай, тут профессору из Москвы билет в Москву сделаешь, он к тебе придет». Все в порядке.

Коснувшись темы курортов, вспоминаю еще один смешной случай в конце 70-х годов. Я читал лекции в Крыму, и местное начальство в знак благодарности устроило меня на две недели в ялтинскую гостиницу «Интурист», где отдыхали только иностранцы или же те из наших, которые попадали туда «по благу» (например, маникюрши жен больших начальников). Пляж был разделен на две неравные части: огромная полоса только для иностранцев, куда пускали только по пропускам, и маленький кусок для своих, в то время как соотношение отдыхающих было обратным. Хуже всего было то, что только на полупустынном «иностранном» пляже располагались киоски с напитками и едой. Пройти с нашей полосы на иностранную было нельзя, охрана не пропускала. Я придумал вот что: взяв в рот металлический рубль, которого хватало как раз на стакан минералки и бутерброд, я уплывал со своего пляжа в море, разворачивался и плыл на иностранный пляж; на берегу охрана

не стояла. И однажды, выплыв на берег, слышу, как меня кто-то окликает. Это был мой хороший знакомый, профессор из Лейпцига. Когда я ему объяснил, в чем дело, он с женой долго смеялся и обещал рассказать всем в Лейпциге, как он видел советского профессора вылезавшим из моря с рублем во рту.

Говоря о лекторской работе, замечу: труднее всего было то, что, владея массой информации (я ведь всегда слушал «голоса» по приемнику, их глушили на русском, но я слушал Би-би-си на английском), удержаться от того, чтобы поделиться этой информацией со слушателями лекций, выбрать то, что было бы для них новым, но так, чтобы не сказать лишнего, не «погореть». Помню, при мне на одном республиканском семинаре лекторов известный лектор ЦК, отвечая на вопрос, почему ушел в отставку английский премьер Вильсон, сказал: «Да он давно говорил, что как только ему стукнет пятьдесят лет, он уйдет; считает, что после пятидесяти человек уже не может полноценно управлять государством». Сказал — и обомлел: аудитория зашумела, люди хихикают — ведь все знают, сколько лет нашим-то руководителям. Когда он шел с трибуны, на него жалко было смотреть. Не знаю, прислали ли на него «телегу».

Опять возвращаюсь к вопросам, задаваемым после лекции. Неоднократно приходилось читать записки с таким вопросом: «Скажите, какой национальности Сахаров и Солженицын?» (Дело в том, что неофициально распускался слух, что настоящие фамилии этих людей - Цукерман и Солженицер.) Я всегда отвечал: «Жаль огорчать товарища, задавшего этот вопрос, но оба они — чисто русские».

По мере возможности я всегда старался — и чем дальше, тем больше, — давать слушателям более или менее правдивую, объективную картину событий. Это облегчалось тем, что по большей части я читал не общие лекции о международном положении, а специальные — по Ближнему Востоку. Здесь было больше возможностей говорить правду, уходя от той чудовищной фальсификации, которая была неизбежна при чтении общих лекций. Конечно, все равно приходилось кривить душой. Я читал лекции как ради заработка, так и для того, чтобы поездить по стране. Это было неотъемлемой частью моей жизни, той жизни, которую я добровольно для себя выбрал в тот момент, когда решил поступить учиться в институт политического профиля.

## ПРАГА, 1968

Голос секретаря парткома нашего института Петрова звучал в телефонной трубке напряженно, взволнованно. «Ты, конечно, уже слышал о Чехословакии? Так вот, по указанию райкома сегодня в два часа в институте митинг, все члены парткома будут выступать, так что подготовься». — «Дима, я не приду в институт». — «Как не придешь?» — «А вот так. Не хочу быть на митинге». Пауза, потом: «Ну, старик, это даже странно. Думаешь, мне и другим приятно выступать на такую тему?» — «Дима, в тот момент, когда ты согласился стать секретарем парткома, ты согласился хлебать дерьмо полной ложкой. Вот и хлебай. А я не приду, если спросят — говори что хочешь».

Это, конечно, 21 августа 1968 года. Занятно, что именно в этот день я должен был прилететь в Прагу для участия в конференции по проблемам европейской безопасности, и у меня до сих пор сохраняется номер пражской газеты «Руде право», которую я тогда выписывал, за 20 августа, и на первой полосе — сообщение об открывающейся на следующий день конференции, перечисляются ее иностранные участники, в том числе я. Но 19-го мне сообщили, что конференция откладывается, и вот — 21-го в Прагу вместо меня прибывают другие люди, на другом транспорте.

К этому времени я уже регулярно посещаю социалистические страны по линии Академии наук, свободно читаю на восточноевропейских языках (кроме венгерского), а по-польски вполне прилично говорю. Я видел такие чудесные города, как Прага, Будапешт, Краков, бывал в прелестных маленьких немецких городках. Близка мне по-настоящему только Польша, я много читаю по-польски, у меня в Варшаве друзья. Польская кровь? Но во мне ведь есть и немецкая, а тяги ко всему немецкому я как-то не испытываю; правда, люблю петь немецкие песни, как и польские. Меня очаровывает «польский дух», что-то благородное и трагическое, что ощущается во всей истории Польши (недаром Энгельс назвал ее «бессмертным рыцарем Европы»), в польских стихах, песнях, кинофильмах. А вот ныне живущее поколение поляков никаких эмоций во мне не вызывает; я вижу, что как бы в знак протеста против собственного героического прошлого поляки, похоже, отвергли свой традиционный образ романтиков и мучеников, ударились в сугубый прагматизм, в бизнес, торгуют по всей Восточной Европе.

Впоследствии эпопея «Солидарности» покажет, что это не совсем так, что «польский дух» жив, но в 60-х и 70-х годах я этого еще заметить не мог. Заодно скажу, что и по отношению к моей собственной стране, России, я испытываю сходное чувство: люблю ее литературу, музыку, песни, русскую историю, природу, чувствую в себе какие-то черты нашей родимой ментальности, но особых симпатий к окружающему меня населению, к «простому человеку» (для меня он остается Homo Sovieticus, советским человеком) — у меня нет. Вспоминаю в связи с этим, что де Голль писал о своей любви к «некоей идее Франции» (*une certaine idee de la France*) в отличие от современного поколения французов.

В Чехословакии, где я побывал в первый раз в 1961 году, сразу заметил неприязнь к русским; быстро усвоил, что если я хочу, чтобы меня хорошо обслужили, лучше говорить по-немецки, а не по-русски. Любопытно, что чехи немцев не любят, но уважают; раньше они вообще были онемеченным народом и мало отличались от немцев и австрийцев и по своей культуре, и по религии, и в бытовом отношении. Именно поэтому, чтобы сохранить свою самобытность, чехи больше всех других славян культивировали чистоту своего языка, в котором сейчас гораздо больше славянских корней, чем в польском или русском. Противоположность менталитетов, национальных характеров поляков и чехов сразу заметна. Мне рассказывали, что однажды в Кракове состоялся семинар, организованный академиями наук Польши и Чехословакии, на тему об исторических корнях взаимной неприязни поляков и чехов. Напротив, поляки любят венгров, считают их духовно близкими себе, несмотря

на отсутствие общей границы и непреодолимый языковой барьер; у них есть даже пословица: «Поляк з венгжем два братанки, як до шабли, так до шклянки». (Замените «ш» на «с», и все ясно.)

Когда началась Цражская весна, я как-то сразу почувствовал необычность всего, что должно произойти, и... подписался на «Руде право» (вовремя успел, через две недели подписку на эту газету, рупор «социализма с человеческим лицом», уже не принимали). Знание польского языка помогло мне быстро справиться с чешским, и на протяжении нескольких месяцев я буквально упивался информацией о том, какие неслыханные вещи творятся в Чехословакии при Дубчеке. И вот — вторжение. Конец всему. Наш народ поддерживает ввод войск. Водитель, возивший меня на Кубани за месяц до вторжения, говорил: «Чехи все — предатели, всех расстрелять надо». Мои коллеги — лекторы, присутствовавшие на инструктаже в райкоме партии 21 сентября, рассказывали, что им говорили, будто ввод войск Варшавского пакта предвосхитил вступление в Чехословакию армии ФРГ всего на два часа — и многие этому верили!

Итак, я не пришел на митинг. Ничего героического в этом, конечно, не было — я ведь не пошел с протестом на Красную площадь. И все же я был доволен тем, что не поднял руку в одобрение пакости, устроенной советским руководством. Забегая вперед, скажу, что в 1981 году, когда в Польше было введено чрезвычайное положение и арестованы лидеры «Солидарности», меня вызвал секретарь парткома (на этот раз Шенаев) и сообщил, что институт поручает мне («как лучшему оратору») выступить на радио по этому поводу. Я отказался.

Не сомневаюсь, что и в этом случае, как и после 21 августа 1968 года, новые бумаги легли в мое досье на Лубянке.

После вторжения в Чехословакию советская интеллигенция испытала прилив оппозиционных, антирежимных чувств. Это было вызвано как тем, что многие после начала Пражской весны уже стали верить в возможность «самоочищения» советской системы, в то, что дух Праги дойдет и до Москвы, и вот все надежды лопнули — так и тем, что пришлось пережить и дополнительное унижение: скрепя сердце, молчаливо одобрить на митингах то, что было противно своим убеждениям. Мои коллеги говорили тогда, что режим Брежнева совершил огромную ошибку: во-первых, резко упадет международный престиж СССР, с нами не будут иметь никаких дел, во-вторых — это страшный удар по зарубежным коммунистам, и, в-третьих, поднимется ненависть к Москве в других странах Восточной Европы. Вывод был такой: Кремль продемонстрировал отсутствие у него чувства реальности и понимания исторической перспективы.

Сейчас, ретроспективно, можно констатировать, что интеллигенция ошибалась. Не оправдались ожидания международного остракизма СССР; Запад «проглотил» Прагу, так же как и двенадцатью годами ранее Будапешт. Уже через четыре года после интервенции Никсон приехал в Москву, развернулась «разрядка». Коммунистическому движению в Европе был, конечно, нанесен тяжелый удар, но, по большому счету, на положении Советской власти это не отразилось: в самом деле, разве она могла пострадать от того, что итальянские и французские коммунисты критиковали ее действия и число



поданных за эти партии голосов на выборах уменьшилось? В общем балансе мировых сил это было не так уж важно. Что же касается Восточной Европы, то рост неприязни к Советскому Союзу компенсировался тем, что фрондерствующая интеллигенция в Польше и Венгрии поняла, что в случае ее перехода к активным действиям по примеру Дубчека и его команды Москва ответит беспощадной силовой акцией. «Солидарность» смогла появиться не ранее чем через десять лет.

И все же, глядя на те события с учетом того, что мы знаем сегодня, можно сказать: вторжение в Чехословакию было ошибкой кремлевского режима, сыграло свою роль в подготовке падения Советской власти. Ведь те внешние факторы, негативное влияние которых на судьбу системы, вопреки надеждам нашей интеллигенции, оказалось несущественным, все равно не сыграли значительной роли в процессе крушения этой системы двадцатью годами позже. Система рухнула под давлением, шедшим изнутри и особенно сверху. К этому я еще вернусь, пока скажу лишь, что, по моему убеждению, роковую роль здесь, в конце 80-х годов, сыграла позиция верхушки советской интеллигенции, ее элиты, влияние которой на Горбачева и его сторонников неуклонно росло и проявилось в движении за гласность и демократизацию. А вот на эти настроения советской интеллектуальной элиты немалое влияние оказала и интервенция в Чехословакии; в 1968 году брежневский режим окончательно показал себя во всей красе, предстал перед обществом в виде мрачного монстра, готового душить все ростки свободы, «ащить и не пушать». И всем, условно говоря, прогрессивно настроенным людям этот облик

власти был отвратителен, хотелось от него избавиться, трансформировать его во что-то хотя бы мало-мальски приличное, цивилизованное, даже если при этом еще не было и мысли о том, чтобы покончить с социалистической системой вообще. И когда взгляды этих сторонников демократизации режима, «прогрессистов» стали серьезно влиять на Горбачева, Яковлева и других реформаторов — стал возможен процесс, приведший, вопреки намерениям его инициаторов, к падению всей, казалось бы, несокрушимой, конструкции. В этом смысле Прага 1968 года стала еще одним шагом на пути крушения советской системы.

## **СТАЛИНИСТЫ В ГРУЗИИ - И НЕ ТОЛЬКО ТАМ**

**В**торой секретарь горкома партии Кутаиси ходит за мной по пятам. Я приехал из Тбилиси всего на один день, и он присутствовал на трех моих лекциях, делал записи, расточал мне комплименты. Вечером мы — трое москвичей и наши грузинские хозяева из горкома — сидим в ресторане на вокзале в ожидании поезда; я, естественно, сижу за столиком со вторым секретарем — он не отходил от меня ни на шаг весь день. Дело происходит в 1982 году, разговор заходит о приближающейся двухсотой годовщине Георгиевского трактата, по которому Грузия перешла под покровительство России, и вдруг секретарь горкома говорит: «А знаете, Георгий Ильич, за эти двести лет Грузия ничего не дала миру...» —

я с удивлением смотрю на этого грузина, а он заканчивает фразу: «кроме Сталина».

Не желая затевать конфликт, я тем не менее спокойно говорю ему: «А разве вы не читали книгу по истории компартии Грузии, она ведь здесь недавно издана, там приводятся данные о том, что в процентном отношении именно Грузия в тридцатых годах потеряла больше коммунистов от сталинских репрессий, чем любая другая республика?» Он отмахивается: «Это все хрущевские выдумки, Сталин репрессировал врагов народа». Я возражаю, но вот подходит поезд, все идут к вагонам, прощание, рукопожатия, объятия... Стоп, а где же мой неразлучный спутник, второй секретарь горкома? Его нет. Он исчез. Неслыханная вещь для кавказского человека — уйти, не попрощавшись с гостем! Но — не вынесла душа сталиниста...

И я сразу вспомнил, как лет за пятнадцать до этого был я в Ханларе, прелестном армянском городке в Азербайджане, и зав. отделом агитации и пропаганды повел меня в парк, где сказал во время прогулки: «А вот здесь стоял памятник товарищу Сталину, третий по величине во всем Закавказье. Кстати, Георгий Ильич, я хочу спросить вот что: я весной был в Москве, побывал у Кремлевской стены, вижу — на могиле Сталина только плита, постамента даже нет, как у других, почему так?» Я начинаю говорить: «Так ведь известно же...» Он не дает мне закончить; неправильно поняв меня, он заканчивает мысль: «Да, конечно, известно, что он был великий продолжатель дела Ленина». Я тогда был моложе и импульсивнее и высказал ему свое мнение о Сталине: «Была бы моя воля, я бы этого продолжателя не на Красной

площади положил, а на Колыме, рядом с теми, кого он убил». У бедного аппаратчика глаза на лоб полезли: ведь антисталинизм уже вышел из моды, исподволь возродилось почитание Сталина, но с другой стороны — я приехал из Москвы по командировке ЦК, так может быть в Москве уже опять задули другие ветры? Не проронив в ответ ни единого слова, он молча проводил меня обратно и вечером на прощальный ужин не явился.

И вот, то же самое с партийным функционером в Грузии. Возвращаемся из Кутаиси в Тбилиси, на следующий день ужинаем с заведующим отделом науки ЦК компартии Грузии. В разгар застолья он предлагает тост в память жертв Отечественной войны, а я добавляю (алаверды): «и жертв сталинского террора». Его глаза становятся стальными, и, выдержав паузу, он говорит: «Знаете, Лев Толстой не любил Шекспира, но я не думаю, что он, приехав в Англию, стал бы плохо о нем отзываться». Я парирую: «Так Шекспир — это гордость своей нации, а Сталин — позор своей». Гостеприимство не позволяет ему дать мне достойный отпор; ужин заканчивается почти в молчании, но на лестнице меня догоняет один из двух секретарей райкомов партии из Кахетии, которые присутствовали на пиру, и, оглянувшись по сторонам, говорит: «Я хочу, чтобы вы знали, товарищ профессор, вот мы с моим другом уже успели сейчас обменяться, мы оба с вами согласны, совершенно правильно вы о Сталине говорили, он всю кровь из нашей партии выпустил».

Но все это — полбеды: я имел дело с откровенными и убежденными сталинистами, с ними спорить бесполезно, как я убедился за долгие годы и даже десятилетия. Вообще прав Наум Коржавин: спорить имеет смысл только

с единомышленниками. С людьми, стоящими на принципиально иных позициях просто потому, что у них абсолютно иная «группа крови», — с такими людьми спорить, убеждать их, приводить аргументы совершенно бессмысленно. Это разговор глухих — они просто не воспринимают то, что ты говоришь. Я не согласен с тем, что в споре рождается истина; это может произойти только, если человек не имеет еще определенных взглядов на какой-то предмет, не владеет информацией — в таком случае есть шанс открыть ему глаза. С людьми по-настоящему убежденными это практически невозможно; им можно приводить массу фактов, цифр, ссылаться на документы — все это отскакивает от них как от стенки. Это дело безнадежное; но вот гораздо хуже, когда сталкиваешься с двоемыслием. Приведу такой пример: в 1985 году я был послан во Фрунзе (ныне Бишкек) на семинар республиканских лекторов по случаю сорокалетия Дня Победы. В результате накладки администрации гостиницы в мой номер подселили другого москвича — генерала, которому предстояло делать основной доклад — о войне. Весь вечер мы сидели с ним и пили в номере, и он рассказывал, как он воевал с первого дня войны, которую он начал командиром роты, и какой был бардак в начале войны, какие были неподготовленные командиры и пр. «А все почему? — говорил он. — Да потому, что лучших командиров Сталин репрессировал в 37-м году, сорок тысяч командиров». И вот на следующий день он выступает на семинаре первым, ему после лекции задают вопрос: «А что стало с внуками Сталина, детьми Аллилуевой?» — и он отвечает: «Насколько мне известно, они не пошли в свою мать, а стали

хорошими, порядочными людьми, достойными Иосифа Виссарионовича». Следующий вопрос: «Правда ли, что ко Дню Победы Волгоград будет обратно переименован в Сталинград?» Ответ: «Точно не знаю, но исключать этого нельзя. Это было бы правильно — ведь я, например, помню, как я поднимал солдат в атаку с возгласом «За Родину, за Сталина!». И это говорил тот самый человек, который накануне кипел от возмущения, рассказывая о сорока тысячах командиров, репрессированных Сталиным.

Советский человек — что тут скажешь... Все знает, все понимает, наедине с тобой скажет одно, а вот на трибуне — другое дело, надо говорить, «что партия велела». А партия после свержения Хрущева велела молчать о всех сталинских преступлениях. О «сталинских репрессиях» или даже «репрессиях времен культа личности» уже нельзя было и заикнуться. Помню, в институте хоронили старого члена партии Громова, отсидевшего длительный срок; в некрологе описывалась его жизнь и были такие слова: «в 1937—1947 гг. работал в угольной промышленности» (это было правдой: добывал уголь в лагере на Воркуте). Упомянуть в печати о том, что человек стал жертвой репрессий и потом был реабилитирован, можно было только по специальному разрешению ЦК. А когда хоронили другого бывшего лагерника, Далина, его старые друзья (тоже отсидевшие срок), выступая над гробом, говорили как-то иносказательно о том, что «в его жизни были трудности, о которых все знают». Я спросил одного из них, почему он не сказал прямо об этом периоде в жизни Далина, и он испуганно ответил: «Да что вы, об этом же нельзя говорить».

Реакция наступала по всему фронту. Атмосфера становилась все более удручающей. Но только в идеологическом плане, в смысле гражданских свобод. А в повседневной материальной жизни период брежневского «застоя» был ознаменован существенным прогрессом. На глазах формировалось «общество потребления».

## **ОБУРЖУАЗИВАНИЕ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА**

**Н**иколина Гора в Подмоскowie. Я приглашен знакомым моего приятеля на дачу. Такого я еще не видел. Как говорится, шик, блеск, красота. Размеры комнат, мебель, дорогие иностранные вина, роскошные иномарки, подвозящие гостей — да, это советская элита. Я давно знал, что примерно так живут министры и высшие партийные чины, но хозяин дачи к этой категории не относился; не был он также и знаменитым режиссером или лауреатом Ленинской премии, даже академиком, а просто — хозяйственником. А какую виллу отгрохал! Это уже десятилетия спустя, в Лос-Анджелесе мне довелось побывать в районах Беверли-Хиллз и Бель-Эйр на таких виллах, по сравнению с которыми дача на Николиной Горе была просто жалкой халупой, но тогда, в начале 70-х, я и в самом деле был потрясен. Как же меняется наше общество!

Так уж получилось, что общество потребления стало формироваться у нас буквально через несколько лет после смерти Сталина, при Хрущеве. Появились кооперативные

квартиры, можно было записаться в очередь на автомобиль (правда, ждать «москвича» надо было первоначально лет пять), в жизнь людей вошло телевидение. В 60-е годы люди уже всюду покупали автомашины, мебель для кооперативных квартир, телевизоры, холодильники, пылесосы, магнитофоны и т. д. Это было, разумеется, неизбежным результатом процесса экономического развития; интересно, как отнесся бы к такому потребительскому буму Сталин? Его китайский аналог Мао Цзэдун однажды сказал: «Социализм надо строить, пока народ еще нищий». Он был прав — при условии, что социализм вообще есть нечто такое, что можно построить. Уже в 60-е годы, когда в партийной программе было провозглашено, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, стало ясно, что даже и социализмом никаким у нас не пахнет, не говоря уже о коммунизме: настолько разительным был контраст между эгалитаристскими антисобственническими утопиями адептов социалистического учения и стремительно «прибавлявшимся» (употребляя распространенное тогда слово) советским обществом.

При Сталине примитивному нищенскому базису, говоря марксистским языком, соответствовала столь же примитивная идейная надстройка. Страх и энтузиазм исчезли после смерти Сталина и хрущевских разоблачений. Образовался идеологический вакуум; мало кто уже всерьез верил в грядущую победу социализма, а затем, когда стали расширяться внешние связи и десятки тысяч людей стали ездить за границу — вообще исчезла вера в то, что капитализм «загнивает». В обществе происходил двойной процесс — обуржуазивания и деидеологизации.



Вырастало весьма прагматичное, если не сказать циничное, поколение, знавшее, что придется всю жизнь жить при этой бездарной и бестолковой системе и что поэтому надо находить свою нишу и устраиваться как можно удобнее, не забывая при этом умения в любой момент отбарабанить без запинки основные догмы марксистско-ленинского учения.

Будучи профессором МГИМО, я с изумлением наблюдал, как отпрыски советских вельмож откровенно тянулись ко всему американскому, начиная от рок-музыки, слэнга, манеры поведения и кончая «шмотками», как они запросто рассказывали антисоветские анекдоты и слушали песни Галича и Высоцкого.

Страна менялась. Уже в начале 50-х годов городское население превысило деревенское; если в 1939 году на тысячу рабочих приходилось лишь 87 человек с образованием выше начального, то к середине 80-х годов их было уже 861 человек. За это же время более чем в десять раз увеличился процент людей с законченным высшим образованием. Параллельно этому росла и прослойка тех, кто обладал, комфортабельными квартирами, дачами, автомобилями, стереосистемами, видеомэгагнитофонами, кто ездил за границу, слушал иностранные «голоса» и т. д. Все это вместе взятое приводило к тому, что все большее число людей становилось абсолютно невосприимчивыми к государственной пропаганде, смотрело на нее просто как на правила игры. Теорию никто не принимал всерьез, а практика все более отчетливо демонстрировала несостоятельность системы. Престиж руководства давно испарился; кто мог испытывать уважение, например, к дряхлевшему на глазах Брежневу? Никакого стержня

в обществе не осталось — ни веры, ни страха перед террором. И если бы что-нибудь новое, динамичное, способное вдохнуть жизнь в удушливую, застоявшуюся атмосферу лицемерия и двоемыслия, могло появиться — оно было бы встречено передовой частью общества, созревшей для перемен, с распростертыми объятиями.

Именно это и произошло, когда появился Горбачев и началась перестройка.

К этому времени уже произошли важные перемены в идеологической элите. Конечно, номенклатурные работники, занятые в партийном, административном и хозяйственном аппаратах, были поглощены рутинными делами и могли себе позволить вообще не думать об идеологии. Но существовала огромная армия идеологических работников, начиная с сотрудников отделов или секторов идеологии в партийных организациях всех уровней (от ЦК до парткома учреждения или предприятия), включая преподавателей общественных наук, журналистов, лекторов и т. д. Поскольку профессиональная обязанность всех этих людей как раз и состояла в том, чтобы не дать угаснуть факелу коммунистических идей, перемены в данной сфере были весьма показательны. Тезис о мировой революции практически был предан забвению еще при Сталине, а в 50-х годах утвердились концепции мирного сосуществования двух мировых систем. Эвентуальная победа социализма в мировом масштабе официально не подвергалась сомнению, но поскольку неизбежность мировой войны была отвергнута при Хрущеве, центр тяжести был перенесен на экономическое соревнование в соответствии с ленинским положением о том, что решающую роль играет более высокая производительность труда.

Однако уже в 70-х годах стало очевидно, что о превосходстве социалистической системы в этой области нечего и думать; главный козырь всей аргументации был бит. Оставалась «чистая идеология», то есть прокламируемое преимущество социализма в общественном, этическом, моральном плане, идея воспитания «нового человека», преданного идеалу и приверженного уравнительно-коллективистским антисобственническим идеям.

Но реальная жизнь показывала, что советское общество эволюционирует в прямо противоположном направлении. Че Гевара однажды заявил: «Кардинальная цель марксизма состоит в том, чтобы элиминировать частный интерес как психологическую мотивацию». Ничего похожего не происходило: общество потребления, сформировавшееся в Советском Союзе в 60-х годах, было фактически буржуазным по своей глубинной сути и даже более индивидуалистическим, чем на Западе, где в принципе действовали такие ограничители, как уважение к закону и порядку, гражданский долг, чувство ответственности, христианская мораль — то, что полностью отсутствовало в советском обществе. Сугубый индивидуализм, атомизация общества, «приватизация» жизни были заметны уже в период брежневского «застоя»; разрастание теневой экономики, «блата» и коррупции, умение устраиваться по принципу «хочешь жить — умей вертеться» — все это было отдаленным предвестником жизненной практики и морали тех «новых русских», которые вроде бы неожиданно появились в 90-х годах.

Но все это будет еще нескоро. А тогда, в 70-х годах, ни одному человеку и в голову не могла придти мысль о том, что нашей системе жить осталось недолго. Как

пелось в одной песне, «у Советской власти сила велика». Да, она была так велика, что власть казалась несокрушимой крепостью. И лишь внешним признаком этой силы была военная мощь, наглядно демонстрировавшаяся на парадах, когда по Красной площади маршировали железные шеренги солдат, ползли танки и ракеты. Здесь-то как раз все было ясно — сильнее нашей армии на свете нет: Гитлера победили — так кто нам может быть страшен? (Правда, с оговоркой насчет возможной ядерной войны, но тут уж дело было не в наших руках, а где-то на небесах. Помню, спрашивали: «Товарищ лектор, вот вы тут говорите, мы слушаем, а может, она уже летит?») И еще — Китай: «А что мы сможем сделать, если сто миллионов китайцев возьмут и перейдут границу?» Приходилось отвечать: «Если сто миллионов — сами понимаете, здесь уж не сделаешь ни-че-го». Получался какой-то обратный эффект, люди смеялись, наступала разрядка.) Но в целом, повторяю, никто и помыслить не мог о военном разгроме системы — разве что вообще все погибнем от атомной бомбы. А гораздо сильнее было другое: понимание, что внутри страны все «схвачено», как теперь говорят, все учтено и все контролируется, власть — она везде и всюду: и на работе, и на улице, и внутри всего общества. Подсознательно это воспринималось как раз навсегда данная реальность, которая не может быть изменена. Это нечто стихийное. Ты живешь в определенном климате, вокруг тебя вот этот ландшафт, ты можешь только уехать, но климат и ландшафт останутся. Точно так же: ты живешь при советском строе, все вокруг тебя советское, разница в том, что уехать, переменить это окружение, как можно

переменить климатическую зону, ты не можешь. Тебя не пустят. Живи.

А ведь были, конечно же, были люди, не желавшие с этим примириться. Мне не приходилось встречаться с конкретными диссидентами, но я знал тип таких людей, понимал их. Среди них были разные личности: были идеалисты, герои-мученики, сознательно обрেকшие себя на тюрьму и каторгу в надежде, что «не пропадет наш скорбный труд». Но были и закомплексованные, внутренне глубоко советские люди, с болезненным тщеславием и жадой выделиться из массы, преодолеть свою слабость и доказать свою силу, смелость, непохожесть на других. И те и другие, за исключением таких людей, как, например, Сахаров, являлись людьми тоталитарного склада, плодами советской системы, только с обратным идеологическим знаком, и было ясно, что они могут натворить, если дорвутся до власти.

Подавляющее большинство советских интеллигентов ограничивалось тем, что можно назвать «комнатной фрондой». Они все видели, все понимали, никаких иллюзий не имели, но сознавали, что «лбом стену не пробьешь» и «плетью обуха не перешибешь» (не случайно ведь, что именно у русского народа с давних времен бытуют эти поговорки). Оставалось одно — приспособливаться, надеяться и в рамках этой постылой системы прожить жизнь как-то более или менее прилично и с толком, произносить все необходимые слова, ни капельки в них не веря, голосовать «как все», но при этом не «вылезая в отличники», чтобы не было противно перед самим собой и семьей. Можно ли это назвать двоемыслием (doublethink) по Оруэллу? Думаю, не совсем. Ведь

Оруэлл имел при этом в виду способность придерживаться двух взаимоисключающих мнений, одновременно веря в оба. При Советской власти этого не было, по крайней мере, применительно к подавляющему большинству людей. Практически никто не верил в коммунизм, в возможность создания в обозримом будущем идеального бесклассового общества и осуществления лозунга «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Мало кто верил и в то, что наша система обеспечивает людям лучшую жизнь, чем капитализм, хотя многие все же полагали, что в принципе наш строй является более справедливым. Официальной пропаганде о достижениях социализма не верил почти никто — ведь все видели, что делается в стране. (Парадоксально при этом то, что те же самые люди, которые откровенно высмеивали лживость нашей пропаганды в освещении внутренних дел страны, верили ей, когда дело касалось внешних, международных проблем; моя мать, при всей ее неприязни к власти, всегда считала, что «вокруг все враги, надо быть очень бдительными», и в этом, конечно, сказывались психологические последствия шока, испытанного народом 22 июня 1941 года, когда на нас внезапно напали немцы. Советские люди, не имевшие представления о характере западной демократии, искренне верили, что американский президент в любой момент может без всякого предупреждения бросить на нас атомную бомбу; вспомним тот вопрос после лекции: «а может, она уже летит?».)

Двойственность проявлялась не столько в мысли, сколько в речи. Человек настолько привыкал к тому, что «положено» говорить то-то и то-то, что делал это автоматически, без всяких затруднений, совершенно безбо-

лезненно. Просто никто об этом даже и не задумывался, и никаких серьезных переживаний по поводу лицемерия, пронизывавшего всю жизнь, не могло и быть.

И еще в одном ошибался Оруэлл: он преувеличивал, безмерно преувеличивал степень преданности партийных работников общему делу, степень их искренней ангажированности, их энтузиазма, их готовности беззаветно служить партии, пренебрегая личными интересами. В его книге О'Брайан говорит Уинстону: «Индивид — это всего лишь клеточка. Изношенность клетки — это мощь организма. Разве вы умираете, когда вы отстригаете себе ногти?» Трудно даже представить себе что-либо более чуждое образу мыслей работника советского партийного аппарата, включая кагебешников, этих аналогов О'Брайана. Винтики общего механизма — да, но уж никак не клетки организма, которыми можно пренебречь, никак не ногти, которые отстригают для пользы общего тела (общего дела). Личный интерес, забота о собственном благополучии у партработников, во всяком случае в послесталинскую эпоху, была ничуть не меньшей, чем у западных «буржуев», просто она была неотделима от их работы на партию, на государство, никакого противопоставления, никакой коллизии тут не было. Об идеалах, во имя которых надо чем-то жертвовать, никто не помышлял. В оруэлловском «двоемыслии» слово «одновременно» обманчиво, его нельзя понимать буквально: ведь человек не может в одну и ту же единицу времени придерживаться двух противоположных точек зрения, получилась бы просто шизофрения. На самом деле оруэлловский человек в принципе имел в голове две взаимоисключающих картины окружающего мира и мог по мере

необходимости включать их попеременно; включая «позитив», он становился горячим энтузиастом, фанатиком дела партии; включая «негатив», он опускал руки, видя вокруг себя сплошную «липу». У советского аппаратчика не было ни того ни другого, в его голове не было четких, энергичных образов со знаками «плюс» или «минус», он не мог включить ни горячий, ни холодный кран, его вода всегда была тепловатой. Его нельзя было назвать ни пламенным борцом за дело партии, ни ее критиком. Это ленивое равнодушие, эта «размытость» образа мира, неспособность ощущать как подлинный энтузиазм, так и негодование, создавали идеальную атмосферу для торжества перманентного и органического лицемерия. Ты все видишь, понимаешь всю «липу» — и ничего. Как писал Салтыков-Щедрин, «он говорил, и его не тошнило, а мы слушали, и нас тоже не тошнило». Собственно говоря, это было в России еще сто лет тому назад - способность сознать окружающую мерзость и ничего не делать, чтобы это изменить. Опять цитируя Щедрина, «все у нас воруют и все при этом, хохоча, приговаривают: «Ну где еще такое безобразие видано!»

Впоследствии мне доводилось в Америке возражать тем из моих коллег, которые утверждали, что в истории не было более жестокой системы, чем советская. Я говорил, что, вероятно, история знает и более свирепые и кровожадные деспотии, но не знает более лживой и лицемерной. Это, к сожалению, осталось и до сих пор: нашему человеку, будь он бизнесмен или — особенно — государственный чиновник, соврать — раз плюнуть. Здесь уже можно говорить о специфической черте того общественного строя, который именовали социалистическим,



оскорбляя тем самым понятие «социализм», исторически имевшее совсем другое значение. Однажды в Восточном Берлине я разговорился с таксистом, рассказавшим мне о порядках в таксопарке и вообще в ГДР - и поразился: все как у нас, один к одному — и это у немцев, с их репутацией честных, работающих, законопослушных людей! Я понял тогда, что социальная система сильнее национальных особенностей, способна нивелировать их. Еще несколько десятилетий, и немцы совсем не отличались бы от советских людей. А недавно я прочел в одной английской книге о гражданской войне в Югославии, что для тамошних политиков, будь это сербы, хорваты или боснийцы, единственно известный вид правды - это ложь. Что ж удивительного — ведь система была та же...

В подобной общественной атмосфере не могло быть места — за редкими исключениями — развитому чувству долга, гражданской ответственности, заботе о сути дела. Один мой знакомый, на многие месяцы прикрепленный к ЦК для выполнения задания, говорил мне: «Главное, что я там понял, — это то, что о деле никто не думает». А думали — о том, как выг л я д и т дело (в глазах начальства, разумеется). Как говорил один цеховский чиновник: «Если пишешь бумагу, главное — уметь при этом заранее видеть выражение глаз твоего шефа, когда он будет ее читать; не дай бог, скажет: нет, еще не созрел товарищ». Слово «показуха» (так же трудно переводимое на любой иностранный язык, как и, например, «приписки») наилучшим образом характеризует советскую систему. Главное — чтобы все выглядело так, как должно выглядеть. Социалистическая ориентация развивающихся стран, например: важно не то, действительно ли там

строят социализм или нет, а то, что на очередном съезде партии Брежнев мог бы прошамкать: «Товарищи, за отчетный период выросло число стран, встающих под знамя марксизма-ленинизма». Я не хочу при этом «огульно охаять» всех работников того же ЦК; скажем, уже упоминавшийся мной Брутенц искренне болел за порученное ему дело, и я знал немало таких же. Но система все равно оказывалась в конечном счете сильнее, и документ, доходя до самого верха, просто не мог не носить на себе черты «показухи».

Лицемерие и равнодушие к сути дела, естественно, порождали и всеобщий конформизм. Многие порядочные люди, голосуя за то, что они внутренне не могли одобрить, делали это не потому, что боялись ареста (сталинские времена давно миновали), а только ради того, чтобы не быть «белыми воронами». Некоторые удивляются: как могли знаменитые ученые подписывать письмо, клеймившее их старого коллегу Сахарова? Ведь им, академикам, лауреатам государственных премий и героям социалистического труда, ничто не угрожало — ни с работы бы их не сняли, ни дачи бы не отобрали, если бы они просто, без объяснений, отказались поставить свою подпись. Так нет ведь, подписались все, а почему? Именно потому, что боялись стать изгоями, отщепенцами в своей привычной среде; может быть, перед их глазами уже заранее были изумленные лица их многочисленных учеников, аспирантов, коллег-профессоров — «как же мог уважаемый академик так нас всех подвести?». А может быть, на них давил груз всех тех орденов, которые они раз за разом получали из рук Председателя Президиума Верховного Совета, и они считали себя обязанными

оправдать доверие партии и правительства? Так или иначе, для того чтобы в такой ситуации сказать «нет», надо было обладать мужеством, необходимым для совершения поступка, а этого-то мужества (именно такого, какое было у самого Сахарова) у них и не было. Это же относится и к известнейшим писателям, коллективно клеймившим Пастернака, а потом Сияевского с Даниэлем. Исключения бывали, но это были именно исключения, а правилом был конформизм. Хотелось быть «нашим человеком».

В 1982 году, когда в нашем институте был большой политический скандал (о нем речь впереди), вполне вроде бы приличные и порядочные люди, доктора наук, демократы по убеждениям, самым трусливым и подхалимским образом поддерживали на заседании конкурсной комиссии линию дирекции и парткома, добивавшихся изгнания из института одного из наших коллег, ученик которого оказался за решеткой по обвинению в создании антисоветской организации. Им лично никакие санкции начальства не грозили, но... «партия сказала: надо». Мне потом рассказывали, как кто-то из них, идя домой после этого заседания, сказал другому: «А что же мы нашим женам-то скажем?» Типично для значительной, если даже не преобладающей части российской советской интеллигенции: сделать подлость, а потом: «что скажу?».

Все закономерно: такая система не могла воспитать характер. А конформизм, повальное общественное лицемерие не только не мешали жить, но напротив, помогали подниматься по ступеням карьеры, укреплять личное материальное благополучие, вливаться в ширившиеся ряды «прибарахляющихся», обуржуазивающихся.

Бардак вокруг? Да, конечно, кто же этого не видит, но что делать-то? Диссидентов поддержать — так только хуже будет, власть ведь не постесняется и к репрессиям перейти. А в общем все идет в правильном направлении, все стабильно, голода нет, власть легко добывает последних диссидентов и поэтому, даст бог, станет более терпимой, даже великодушной, надо только не дергаться и постепенно, тихонько совершенствовать, совершенствовать систему (это слово стало для многих ключевым). И в самом деле: система устоялась, отлилась в прочные формы. Все казалось стабильным, непоколебимым. И никто не догадывался, какая хрупкость скрывалась за, казалось бы, мощной железобетонной стеной.

## АНДРОПОВ РАСКРЫВАЕТ ПОДПОЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

**В** глазах Иноземцева — напряженность и тревога. «Пойми, — говорит мне директор института, — я был вчера у Гришина (первый секретарь Московского горкома. — *Г. М.*), и он мне сказал: «Вы ведь понимаете, Николай Николаевич, как мне тяжело — ведь это случилось в моей партийной организации, в Москве». И генерал из КГБ приезжал. Это гораздо серьезнее, чем вы все думаете».

А случилось вот что: в апреле 1982 года КГБ арестовал двух младших научных сотрудников нашего института, Фалина и Кудюкина, сообщив руководству института, что эти молодые люди создали какую-то антисоветскую

организацию и издавали подпольный журнал. Их посадили в Лефортовскую тюрьму. Андрей Фадин был сотрудником моего отдела, способным и многообещающим специалистом по Латинской Америке. После этого ареста начался самый большой скандал в истории нашего института.

Выслушав Иноземцева, я спрашиваю его: «Николай Николаевич, ты мне можешь объяснить, в чем дело в конце концов, почему все это так раздули?» Он смотрит на меня бесконечно усталым взглядом и тихо произносит: «Ну что ты от меня хочешь?»

Действительно, чего я от него хотел? Чтобы он рассказал мне подоплеку этого странного дела? Но он не мог, да и не хотел этого рассказывать, хотя знал, в чем дело, и эта-то подоплека вызвала у него тревогу, перешедшую в панику. Ведь фактически дело не стоило ломаного гроша: несколько молодых сотрудников академических институтов выпускали подпольный журнал «еврокоммунистического» направления. Никакой угрозы для Советской власти в этом не было, кому вообще в нашей стране был интересен еврокоммунизм, это распространившееся в некоторых компартиях Западной Европы течение, критиковавшее наше вторжение в Чехословакию и другие аспекты политики советского руководства? Забегая вперед, скажу, что через несколько месяцев, уже после смерти Иноземцева, все арестованные были освобождены без всякого суда, и дело было прекращено. Почему же первоначально был устроен такой скандал?

Семнадцать лет спустя, просматривая рассекреченные протоколы заседаний Политбюро, я натолкнулся на листок под названием: «О подпольной антисоветской

организации в ИМЭМО. Доклад товарища Ю. В. Андропова на заседании Политбюро ЦК КПСС». Оказывается, в апреле 1982 года Андропов сделал на Политбюро специальный доклад, в котором по именам были названы Фалин, Кудюкин и другие участники «группы». Вот такой размах приобрело это ничтожное, в сущности, дело. И об этом заседании, вероятно, информировали Иноземцева, и вот почему он так перепугался. Это было намного хуже, чем беседа с Гришиным. Иноземцев, академик и член ЦК, входивший в брежневский «мозговой центр», понял, что против него лично организована масштабная кампания. Так оно и было: «дело Фадина и Кудюкина» было лишь предлогом, удачно подвернувшимся случаем, а инициатором кампании был секретарь ЦК Зимянин. Не знаю, чем именно насолил ему Иноземцев. Но причем тут Андропов? Я слышал впоследствии такую версию: некий Луньков, один из руководителей Союза студентов СССР, будучи в Грузии, в присутствии иностранцев предложил тост за Сталина, а также одобрительно отозвался о Берия. Переводчица, сотрудница нашего института, сообщила об этом Иноземцеву, а тот — куда-то выше. К несчастью, оказалось, что Луньков — родственник одного из заместителей председателя КГБ, который и пожаловался Андропову, ставшему в это время уже секретарем ЦК. Так возникла уже вторая, кагебешная линия кампании против Иноземцева. В любом случае Иноземцев понял, что его мечтам о большой политической карьере пришел конец, даже если бы он остался директором института.

А в «деле» всплыли новые подробности. Выяснилось, что Фадин встречался на квартире одной нашей

сотрудницы с руководителем компартии Сальвадора, который тогда возглавлял вооруженную борьбу против правящего режима, и спросил его: «Где гарантия, что после победы коммунистов в Сальвадоре не будет установлен режим сталинского типа?» Этот разговор был подслушан КГБ и записан на пленку. Молодую сотрудницу, хозяйку квартиры (она тоже работала в моем отделе), дирекция немедленно уволила из института, но произошла накладка: приказ об увольнении был подписан, когда она была на больничном, и она подала в суд на дирекцию, нарушившую законодательство. Я пошел наперекор дирекции и согласился защищать ее на суде; тогда дирекция отменила свое решение и оставила ее на работе.

Тем временем Иноземцев предпринимал шаги для того, чтобы обезопасить себя. Как мне потом рассказывали, на заседании дирекции он сказал: «Мирского надо снимать с должности заведующего отделом». Он стал по мелочам придирается к работе отдела, и я понял, что за этим последует: на заседании парткома объявят, что я не справляюсь со своими обязанностями, и будут рекомендовать дирекции освободить меня от должности заведующего. Я решил не дожидаться этого. В один прекрасный день в июне я пришел к директору и, когда он начал опять высказывать претензии ко мне по явно надуманным поводам, сказал, глядя ему в глаза: «Знаешь что, Николай Николаевич, лучше я уйду из института». В его глазах я уловил облегчение и, хотя первыми его словами были: «Как уйдешь, куда? И кого на твоё место?» — я понял, что поступаю правильно; тут же взял лист бумаги и написал заявление об уходе по собственному желанию, сказав: «Уйду в Институт научной информации.

я там работаю на четверть ставки, Виноградов меня возьмет старшим научным сотрудником». Директор Института научной информации Виноградов сначала было принял меня с распростертыми объятиями, но затем, узнав, что мое дело будет разбирать райком партии, перетрусил и отказался. Я остался в своем институте на должности главного научного сотрудника.

То, что последовало затем, было обычной советской рутинной. Партком признал работу партийной организации отдела неудовлетворительной, а райком партии вынес мне строгий выговор за потерю бдительности и недостатки в политико-воспитательной работе в отделе. А Иноземцев умер от инфаркта на своей даче в августе того же года.

Ходили слухи, что наш институт вообще собирались закрыть и не сделали этого только потому, что Олег Богомоллов и Александр Бовин лично пришли к Брежневу и попросили его не допускать этого. Новым директором института стал Александр Николаевич Яковлев, бывший посол в Канаде, а до этого высокопоставленный работник ЦК. А вскоре, как я уже упоминал, арестованных ребят выпустили. Фадин стал блестящим журналистом и известным политологом; к сожалению, он трагически погиб в автокатастрофе несколько лет тому назад.

Пока разворачивалось все это надуманное дело, институт лихорадило несколько месяцев подряд. Сколько нервов было потрепано, сколько собраний и заседаний проведено, сколько обвинений выдвинуто! На заседании комиссии, образованной парткомом для расследования крамольного дела, в частности, говорилось: «Мирский хвастался тем, что у него отдел с человеческим лицом,



а оказалось, что в этом отделе орудовали антисоветские элементы». Многие проявили себя с худшей стороны — я уже упоминал о том, как конкурсная комиссия по заданию парткома пыталась изгнать из института Киву Майданика, одного из лучших, наиболее талантливых ученых, вина которого была в том, что он являлся научным руководителем Фадина.

Но жизнь продолжалась, и в стране грянули перемены. В ноябре 1982 года умер Брежнев. Его место занял Андропов, избранный генеральным секретарем на заседании Политбюро (тогда ходила шутка: «Кто проголосовал за товарища Андропова, опустите руки и отойдите от стенки!»). Уже тяжело больной, он властвовал недолго, и после его смерти весной 1984 года ему наследовал еще более немощный и дряхлый, совершенно ничтожный и бесцветный Черненко, в свою очередь сошедший в могилу через год. И вот тогда-то началась новая эпоха. В Кремле появился Горбачев.

## ГЛАСНОСТЬ ПОГУБИЛА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ

**В**рач академической поликлиники разговаривает при мне по телефону с подругой; глаза сияют, голос взволнован: «Люба, ты вчера смотрела выступление Горбачева? Мы уже все утро только об этом и говорим, все в восторге. Какой молодой, как говорит — легко, без бумажки. Наконец-то дождались, после всех этих стариков!»

Популярность Горбачева в эти первые недели после его «вступления на престол» весной 1985 года огромна. Так надоели эти мрачные косноязычные старцы. И вдруг - указ о борьбе с алкоголизмом. Моментально отношение к новому вождю в народе меняется. Об этом шаге, об этой чудовищной ошибке уже много написано. Считается, что душой антиалкогольной кампании был Лигачев, и Горбачев, сам вовсе не будучи энтузиастом этого мероприятия, был вынужден пойти навстречу Лигачеву по каким-то политическим соображениям, чтобы за что-то его компенсировать. Возможно. Но это же надо было додуматься — начать борьбу с водкой в России! Конечно, пьянство и в самом деле достигло совершенно безобразных размеров: помню, на большом заводе в областном центре вахтер при входе обхлопал руками мой пиджак, пояснив: «Извините, такой порядок ввели, чтобы никто бутылку под пиджаком не протасил, а то ведь прямо с собой несут и уже с утра на рабочем месте начинают принимать». И тем не менее! Неужели не слышали о результатах «сухого закона» в Америке? Думаю, что нет, не слышали. Люди, стоявшие во главе государства, не знали истории — вот что поразительно; они были феноменально невежественны, и это касается и еще более важных вещей, чем водка. Влезли в Афганистан, не удосужившись хотя бы бегло ознакомиться с историей, с плачевными для Англии результатами афганских войн. Ельцин начал войну в Чечне, даже не прочтя — я в этом уверен — хоть какой-нибудь популярной книжки о кавказской войне девятнадцатого века, не зная, что за народ чеченцы, каков их характер. Но куда же смотрели помощники, советники, люди с университетским образованием?

Одно из двух: либо от них отмахнулись, не желая даже слышать возражений, либо сами советники, чувствуя, что большие начальники уже твердо настроены на радикальные шаги, сочли за благо даже не делать серьезных попыток их переубедить.

Потом пошла перестройка, потом — гласность. Об этом уже много написано. Был ли конец Советской власти неизбежным? — этот вопрос задается бесконечно и у нас, и за рубежом. Я полагаю, что в принципе, «по большому счету», система была обречена, ее эрозия происходила непрерывно в период брежневского «застоя», но она держалась на страшной силе инерции и рухнула лишь тогда, когда Горбачев своей «перестройкой» (а еще больше — политикой гласности) нарушил эту инерцию. Французский историк де Токвиль еще в девятнадцатом веке вывел такую формулу: «Наиболее опасный момент для плохого правительства наступает тогда, когда оно пытается исправиться». Великие и мудрые слова! Брежнев, при всем его интеллектуальном уровне армейского политработника, инстинктивно чувствовал, что в этой системе нельзя трогать ни единого камешка, иначе все посыплется. У Горбачева этой интуиции уже не было.

По определению лондонского еженедельника «Экономист», Горбачев войдет в историю как человек, который уничтожил все, что он пытался спасти, — свою партию, свой режим и свою империю. А ведь хотел он совершенно обратного — улучшить, оздоровить систему, построить, как сказали бы последователи Дубчека, «социализм с человеческим лицом», сделать Советский Союз действительно мощным, вполне современным государством с высокоразвитой экономикой, конкурентоспособной

на мировом рынке. В 1992 году мне довелось выступать имеете с ближайшим сподвижником Горбачева, Александром Яковлевым (бывшим моим шефом, директором нашего института), на одной конференции в Вене. Ему был задан вопрос: «Какой совет вы могли бы дать Горбачеву шесть или семь лет тому назад, если бы вы могли тогда заранее знать, что из всего этого получится?» Он не смог вразумительно ответить, пытался отшутиться, а я, выступая вслед за ним, сказал: «Александр Николаевич, если бы вам с Горбачевым при помощи «машины времени» удалось тогда увидеть хотя бы одну телевизионную программу новостей нынешнего года и увидеть, что происходит в бывшем Союзе, вы бы оба немедленно сошли с ума, тут же были бы направлены в психиатрическую больницу». Он не ответил, но потом, когда мы летели в Москву и сидели рядом в самолете, согласился: «Да, вы правы».

Личную ответственность Горбачева за гибель Советской власти отрицать невозможно. Никто, кроме него, из «кремлевской плеяды» 80-х годов не мог бы стать инициатором перестройки; достаточно вспомнить Громыко, Гришина, Романова и прочих. В американском журнале «Нэйшенэл интерест» в 1993 году даже была статья под названием «Почки Андропова», автор которой утверждал, что если бы у Андропова здоровье было лучше, не было бы всей той цепи событий, которая привела бы к распаду СССР. Это вопрос спорный и сложный, но трудно не согласиться с тем, что, несмотря на неуклонно увеличивавшийся экономический разрыв между Советским Союзом и Западом, непосредственных признаков взрыва внутри страны не было, недовольство населения не превышало допустимого для руководства

уровня, диссидентское движение было задавлено Андроповым, обстановка была вполне стабильной, никакого освободительного движения в республиках не замечалось. Конечно, подспудно накапливались грозные и потенциально пагубные для Советской власти явления, но все могло бы тянуться гораздо дольше.

Некоторые западные советологи предсказывали, что причиной краха Советского Союза станет борьба нерусских наций за независимость. Этого не произошло. Как всегда в России, все решилось в центре. И губительной для режима оказалась не столько перестройка сама по себе (притом, что, конечно, экономические реформы, составлявшие ее суть, были плохо продуманными и еще хуже осуществленными), сколько гласность, дезориентировавшая, разоружившая и приведшая в замешательство руководящий политический класс, правящую элиту.

Как эта элита могла допустить такой поворот событий? Сошла с ума? Бросилась, подобно киту, сама умирать на берег? Или, наоборот, совершила грандиозный, беспрецедентный исторический маневр, избавившись от марксистского балласта?

Даже если исходить из того, что общество в целом созрело для перемен как в материальном, так и в духовном плане, эти перемены не могли бы произойти, если бы не изменилась правящая элита, в первую очередь ее идеологический компонент, включая тех людей, которые оказывали влияние на Горбачева, когда он начал перестройку.

Намереваясь укрепить и оздоровить советскую систему, Горбачев в какой-то момент осознал, что чисто экономических мер для этого будет недостаточно. Столкнув-

шись с сопротивлением аппарата, с глухим противодействием и скрытым саботажем, Горбачев неминуемо должен был прийти к решению ослабить и дискредитировать верхушку собственной партии, чтобы на популистский манер установить прямую связь с народом. Сделать это можно было, разоблачив прошлые грехи партийного аппарата, его ответственность за то, что творилось при Сталине. Вот здесь-то ему на помощь и пришли те люди новой формации (хотя и не молодые по возрасту, как, например, Черняев, Яковлев, Бовин, Заславская и др.), которые видели в демократизации, а соответственно и в десталинизации путь к обновлению системы. Ни они, ни Горбачев еще не понимали, что десталинизация неминуемо приведет и к деленинизации, к делегитимизации всей системы власти КПСС, что, разрешив людям читать «Дети Арбата» или смотреть фильм «Покаяние», они вколачивают гвозди в гроб режима.

Я помню, как в Тамбове, во время одной из моих последних лекторских поездок по стране, местный руководитель агитпропа с горечью говорил мне, что партия теряет влияние на массы и, более того, утрачивает свое самосознание, собственный дух, веру в руководство, не понимает уже курс и ориентацию Политбюро. Он жаловался, что слово «империализм» исчезло со страниц печати, американцы уже чуть ли не наши друзья, Сахарова вернули в Москву, ежедневно поливают грязью всю прошлую политику партии. «Как же, — спрашивал он, — в этих условиях вести политическую работу, как спорить с теми, кто говорит, что вся деятельность КПСС была сплошной цепью ошибок, если не преступлений?» В этих словах была квинтэссенция происходивших процессов.

Еще раз повторю, что не перестройка сама по себе, а именно гласность погубила Советскую власть, защитники которой сами, своими неуклюжими действиями или своей слабостью и нерешительностью ускорили падение системы. В 1988 году они инспирировали письмо Нины Андреевой, которое не могло не вызвать ответных шагов со стороны Горбачева и Яковлева: разоблачительная, антисталинская линия в средствах массовой информации сразу резко усилилась. В 1991 году «ортодоксы» организовали бездарный августовский «путч», тем самым открыв Ельцину прямой путь к ликвидации сначала КПСС, а затем и Советского Союза.

Ясно, что ни Горбачев с Яковлевым, ни Ельцин, ни тем более внезапно вброшенные ходом истории в центр событий Сахаров, Попов, Собчак, Афанасьев и другие не могли бы сами по себе подорвать доверие народа к режиму, если бы, во-первых, само общество уже не созрело для этого, и, во-вторых, если бы не было мощной и все возраставшей поддержки курса демократических реформ со стороны значительной (и наиболее активной, политически динамичной) части идеологической элиты. Достаточно почитать газеты того периода, чтобы увидеть, как неуклонно и стремительно вздымались волны критики, как с каждым днем подвергались разоблачению все новые и новые ошибки и преступления власти, причем всех периодов, начиная уже с Ленина, так что в конце концов люди не могли не начать спрашивать: а можно ли вообще доверять партии, которая «наломала столько дров», имеет ли она право продолжать руководить страной?

Откуда же взялись эти десятки и сотни авторов и редакторов, стараниями которых разрушался, превращаясь

в грязную и кровавую пыль, величественный, гранитно-непоколебимый образ социализма? Они не с неба свалились, а сошли со скамей советских университетов. Изменилось, неузнаваемо изменилось со времен Сталина общество, — изменилась, раскололась и его идеологическая элита.

В 1988 году правительство, видимо, утратило контроль над экономикой; хозяйственные связи, как вертикальные, так и горизонтальные, рушились; партийно-государственный аппарат, не понимавший и инстинктивно опасавшийся курса Горбачева, был сбит с толку, а затем и вовсе деморализован. Повсеместно ощущалась слабость власти, очутившейся в состоянии конфронтации с невесть откуда взявшейся оппозицией, а также с лидерами вдруг поднявшего голову национального движения в республиках. Авторитет Горбачева падал на глазах. Во время той поездки в Тамбов, о которой я уже упоминал, я выступал в областном управлении Министерства внутренних дел и, как было принято, после лекции был приглашен в кабинет начальника управления для конфиденциального разговора в узком кругу. Кроме начальника, в кабинете были два его заместителя, и вот один из них вдруг говорит: «Знаете, сейчас во всем мире только один человек говорит правду». Я несколько озадачен, спрашиваю: «Кто же это?» Он отвечает: «Фидель Кастро». Я был ошеломлен: что же, спрашивается, происходит в стране, в партии, если полковник МВД в присутствии своего начальника говорит московскому лектору такие вещи, прямо давая понять, что он не верит генеральному секретарю!

Разумеется, Горбачев и его команда, начиная свою «революцию сверху», не могли предвидеть, к чему она



приведет. Так всегда бывает в ходе революций. Еще Сен-Жюст сказал: «Сила вещей, по-видимому, привела нас к таким результатам, о которых мы и не думали». Сила вещей! Вот что толкало процесс преобразований, принявший лавинообразный характер, уже не просто к демократизации системы, а к полному ее отторжению. Но ведь если бы советское общество не оказалось достаточно зрелым для того, чтобы осознать подлинное значение всех разоблачений, появившихся благодаря гласности, оно бы и не смогло воспринять мысль о том, что система как таковая уже безнадежна и неисправима; Ельцин не смог бы одержать верх. Мы все еще жили бы при Советской власти.

Что же случилось? Как только восторжествовала гласность, семена, посеянные еще в предыдущие десятилетия, дали всходы. Подспудно назревавшая десоветизация общества (или его десоциализация, обуржуазивание), готовность интеллигенции и молодежи воспринять идеи свободы и демократии — все это вылилось в настоящий взрыв антисистемных настроений, как только было позволено критиковать Советскую власть. Многие с облегчением увидели, что наконец настало время, о котором нельзя было и мечтать: можно открыто говорить все, что думаешь, — впервые в жизни.

Не противоречит ли все это тому, что говорилось ранее, а именно: в брежневскую эпоху система устоялась, консолидировалась, приобрела законченные формы, а интеллигенция с присущим ей привычным советским конформизмом примирилась со своей участью и вписалась в общую атмосферу общества потребления? Думаю, что нет: ведь там речь шла о массе интеллигенции,

о ее большинстве, но при этом всегда существовала интеллектуальная элита в подлинном смысле слова, прогрессивно мыслящие люди, духовно близкие к чехословацким устроителям Пражской весны. Эта относительно узкая прослойка, о составе которой уже упоминалось, и стала генератором идей, решающим образом повлиявших на мышление «горбачевского ядра» в Политбюро, которое в борьбе с косным и консервативным партийным аппаратом взяло курс на гласность и демократизацию. Тогда-то к этому ядру примкнула внезапно пробудившаяся масса — не только интеллигенции, но молодежи, представителей самых различных общественных слоев. Реформаторское движение вышло на улицу; я никогда не забуду этих грандиозных демонстраций в Москве, не забуду, как я шел по Садовому кольцу, по Калининскому проспекту в сотысячных колоннах, среди массы охваченных невиданным ранее энтузиазмом людей с плакатами — сначала просто забавными, вроде «Партия, дай порулить!», а затем уже такими, как «Долой Лигачева!», «Вся власть Советам!», «Да здравствует мирная Февральская революция!». Ни до, ни после этого я не испытывал такого подъема, пьянящего чувства свободы. Глядя на просветлевшие лица людей, объединенных новой для всех атмосферой солидарности, братства и надежды, я думал: «Мог ли я когда-нибудь представить себе нечто подобное? Я дожил, дожил до таких счастливых дней! Бастилия рушится на моих глазах!» Как же это все сейчас далеко! Все ушло безвозвратно; краткий, невероятно краткий миг, прмелькнувший и навсегда погасший огонек...

Инициированная Горбачевым перестройка обогнала и перехлестнула его. Подтвердились вещие слова де Токвиля

о том, что бывает с плохим правительством при попытке исправиться.

Для «твердолобых» сторонников социализма все случившееся оказалось катастрофой, но им некого винить, кроме самих себя. Вспомним их запоздалую реакцию на несшую им гибель гласность, их неспособность противостоять Горбачеву, их малодушие и некомпетентность в августе 1991 года, панику, овладевшую ими после краха ГКЧП, когда они безропотно склонили голову перед Ельциным, — и станет ясно, что эти люди не заслужили ничего, кроме постигшего их краха. Если уж даже у руководителей министерств внутренних дел, госбезопасности и обороны не нашлось решительности, беспощадности, большевистской свирепости для расправы с врагами системы — значит, сама эта система была воистину обречена.

А пока происходили эти исторические события, радикальные перемены случились и в моей личной судьбе.

## ЛУБЯНКА ДАЕТ ДОБРО

Помощник директора института по безопасности Ким Иванович широко улыбается: «Георгий Ильич, у меня для вас хорошие новости; ваши выездные дела вроде бы меняются к лучшему. Пока что, пожалуйста, ответьте на два вопроса. Первый: в 82-м году, когда у вас была машина «вольво», кто-то разбил у нее ветровое стекло. Вы не могли достать его в Москве и обратились к вашим коллегам в институте, занимающимся Скандинавией,

и они связали вас с корреспондентом норвежского телевидения. Он достал вам стекло и привез к вам домой, вы его пригласили к себе. Верно?» — «Да, конечно, а как же еще? Посидели, выпили». — «С тех пор вы с ним не встречались?» — «Нет». — «Хорошо; второй вопрос: в 86-м году, когда у вас была машина «рено», вы летом поехали по Киевскому шоссе по направлению к Внукову, по дороге остановились на шоссе и пошли в лес. Недалеко была припаркована машина западногерманского бизнесмена (*называет фамилию, я уже ее не помню*). Вы с ним знакомы?» — «Никогда о таком не слышал». — «Ладно, я с вами еще свяжусь». И через две недели: «Все в порядке, можете оформляться в первую же подходящую для вас командировку в капстрану». Разговор происходит в октябре 1988 года, и я понимаю: все мои бесчисленные политические высказывания за десятки лет уже не имеют значения, КГБ беспокоится только по поводу возможных связей с иностранцами. Если они не подтверждаются — все, меня можно выпускать.

И вот в ноябре я лечу в Аргентину. Я еще не верю, и только когда самолет взлетает в воздух, облегченно вздыхаю: наконец-то! После тридцати лет! Историческая справедливость, как у нас принято говорить, восторжествовала. Сколько раз я видел во сне, что я в Париже, в Лондоне, — и, просыпаясь, осознавал реальность: нет, никогда мне там не бывать. И вот — свершилось! Я выступаю на конференции в Буэнос-Айресе, еду в Мар-дель-Плата и плаваю в Атлантическом океане. Овладев с грехом пополам, на одном энтузиазме, разговорным испанским языком, даже делаю доклад, мешая испанские слова с английскими, на собрании актива компартии

аргентинской столицы. Тема — «Сталин и сталинизм». После доклада ко мне подходит старый человек: «Я член компартии с 1940 года, когда умер Сталин, я плакал три ночи подряд. Конечно, с тех пор я узнал правду о Сталине, а сейчас, после вашего выступления, окончательно понял, какой это был «ихо де пута\*».

А через два месяца я уже в Лондоне. Выхожу на Пикадилли Серкус — чуть ли не слезы на глазах. Прощаясь перед отлетом после окончания конференции, говорю английским коллегам: «Да, Лондон — это действительно столица мира». Они улыбаются: «Подождите, вы еще не были в Париже и Риме». Потом — Вена, и вот в августе 89-го — Париж. «Сбылись мечты идиота», — бормочу слова Остапа Бендера. Вот после этого уже не так обидно умереть...

В сентябре того же года — Америка. Сначала Нью-Йорк; первое впечатление — подавленность: слишком много всего — людей, автомобилей, небоскребов, фантастический динамизм. Потом Нью-Йорк станет одним из трех моих любимых заграничных городов, наряду с Парижем и Лондоном. Вашингтон: прямо из аэропорта нашу делегацию везут на виллу какого-то нефтяного магната. Уже к середине ужина выясняется, что она расположена в штате Мэриленд. Откуда-то из уголка мозга вылезает боевая песня армии южан во время гражданской войны, я встаю и к изумлению американцев пою: «The despot's heel is on thy shore, Maryland, my Maryland...» Кто-то из присутствующих приглашает меня выступить в Совете по иностранным делам, я делаю там доклад по своей

\* Hijo de puta — сын шлюхи (*исп.*).

специальности — «Советский Союз и Ближний Восток», Ко мне подходит человек, представляется: «Сэм Льюис, президент Американского института мира. Можете сделать такой же доклад в нашем институте?» Конечно, соглашаюсь. Сэм Льюис берет меня на заметку, и на следующий год я получаю от него предложение подать заявку на фант в Институт мира; если примут — шесть месяцев работы в качестве приглашенного «феллоу». Подаю заявку, указываю тему — «Новый мировой порядок». Меня принимают, и с сентября я начинаю работать в Вашингтоне. Но перед этим, в августе 91-го, происходит нечто потрясающее.

## ОСАДА БЕЛОГО ДОМА

**Я** нахожусь в Лос-Анджелесе, меня пригласила корпорация «Рэнд», и я после выступлений бегаю купаться на знаменитый пляж в Санта-Моника, в пяти минутах от здания «Рэнда». У меня обратный билет в Москву на 19 августа, я лечу самолетом компании «Люфтганза». Первая посадка в Нью-Йорке, вторая во Франкфурте-на-Майне. Радио в пути, естественно, не слушаю, ничего не знаю. Как только спускаюсь по трапу во Франкфурте, ко мне подсакивает человек и говорит по-английски, но с немецким акцентом: «Профессор Мирский? Здравствуйте, я корреспондент Эй-би-си, Питер Дженнингс поручил мне взять у вас интервью, пойдете в здание аэропорта, мой оператор уже там». Я удивлен: «Интервью? Да у меня всего пятьдесят минут до отлета

в Москву. Зачем, на какую тему?» — «О последних событиях в Советском Союзе». Сразу соображаю: «Что-нибудь с Горбачевым?» — «Да, его сняли». Ошеломленный, спрашиваю его (почему-то по-немецки, на нервной почве): «Zuruckgetreten\*?» — «Nein, gesturzt\*\*». Я потрясен: «Кто его мог свергнуть?» — «Его же правительство — Янаев, Крючков, Язов. Вот текст их обращения, они создали комитет чрезвычайного положения».

Через минуту все выяснилось. Накануне в Лос-Анджелесе я упомянул, что вылетаю утром «Люфтганзой», и один человек, имевший связь с телекомпанией Эй-би-си, услышав о перевороте в Москве, немедленно позвонил в Нью-Йорк Питеру Дженнингсу, популярнейшему обозревателю. (Американцы, когда заходит разговор о нашем телевидении и, в частности, о Евгении Киселеве, не будучи в состоянии запомнить его фамилию, как и вообще почти все русские фамилии, говорят: «Ну этот ваш, как его, ну русский Питер Дженнингс».) А я с Питером был знаком, месяца за два до этого он прилетал в Москву, чтобы взять интервью у Горбачева. И когда утром 19 августа ему позвонили из Калифорнии и сообщили, что, мол, неплохо бы связаться по этому поводу с известным вам профессором Мирским, он как раз в данный момент летит в Москву на самолете «Люфтганзы», — Питер Дженнингс, с присущей американцам оперативностью, моментально связался с корреспондентом во Франкфурте, и меня поймали.

\* Ушел в отставку (нем.).

\*\* Свергнут (нем.).

Совершенно не помню, что я бормотал в этом интервью; раздается звонок из Нью-Йорка. Питер: «Джордж, спасибо за интервью; надеюсь, ты не полетишь теперь в Москву?» — «Как так не полечу? Да уже через десять минут посадка». — «Нет, Джордж, оставайся пока что во Франкфурте, мы тебя поместим в гостиницу, надо выждать время, неизвестно, какой режим будет в Москве, тебя могут опять не выпустить за границу». — «Нет, Питер, я лечу». — «Ну ладно, но обещай мне, что завтра с утра придешь в офис Эй-би-си в Москве, будешь вести прямой репортаж». — «О'кей».

И вот я в Шереметьево. У девушки на пограничном контроле спрашиваю: «Так что, уже без Горбачева живем?» Она равнодушно улыбается. На Ленинградском шоссе танки, в остальном все как обычно. Утром еду в офис Эй-би-си на Кутузовском проспекте, там меня уже ждут и сразу посылают к Белому дому. Оставив у офиса машину, иду через мост, перелезаю через баррикады, смешиваюсь с огромной толпой, стоящей у Белого дома (внутри не пропускают). Какая-то странная, непонятная атмосфера. С одной стороны — все спокойно, на танках рядом с солдатами сидят девушки, я подхожу, разговариваю, угощаю танкистов сигаретами. С другой стороны — при мне создают отряды обороны, разводят их по местам, ждут штурма. Встречаю знакомых, в том числе моих бывших студентов. Возвращаюсь в Эй-би-си, уже три часа дня, в Америке раннее утро. Питер Дженнингс интервьюирует меня в прямом эфире, в передаче «Good Morning, America», потом говорит: «Сейчас будет выступление президента Буша, а ты тем временем опять сходи к Белому дому и часа через три снова выйдешь в эфир».



Я так и делаю. Болтаюсь вокруг Белого дома, разговариваю с людьми, выясняю настроения. Уже темнеет, никто не сомневается, что скоро начнется штурм. Возвращаюсь, даю Питеру второе интервью: с Питер, у меня такое ощущение, что сегодня ночью будет showdown\*». — «Почему?» — «Да потому что я из разговоров понял, что с каждым часом позиции Ельцина укрепляются, а новый режим теряет силы; чтобы выиграть, они должны будут действовать». Пауза. Питер осторожно спрашивает: «Джордж, а ты не опасаясь?» — «Чего?» — «Ну все-таки ты из Москвы говоришь». Намек понят. Пауза. «Питер, конечно, если новая власть консолидируется, и у меня, и у многих других будут причины опасаться, но тогда уже будет в любом случае все равно».

Этот разговор происходит вечером 20 августа. Вернувшись домой, смотрю по телевизору пресс-конференцию новых властителей: жалкое зрелище — и такие люди надеются противостоять Ельцину, уже произнесшему свою знаменитую речь, стоя на танке! Утром 21-го соседка по дому дает мне пачку листовок с текстом обращения Ельцина. Иду в ближайший пункт Союзпечати, там стоит очередь за газетами. Кладу листовки на прилавок, говорю: «Берите листовки, это обращение Ельцина, потом детям и внукам будете показывать». Стоящий рядом милиционер с подозрением смотрит на меня, но молчит. Листовки расхватывают мгновенно. Повторяю вчерашний маршрут: Эй-би-си—Белый дом. Поспеваю к баррикадам как раз к моменту, когда разносится весть: члены ГКЧП бежали из Кремля. Все поздравляют друг

\* Решающий момент, открытие карт (*англ.*).

друга, обнимаются. Даю последнее интервью для американцев: «Хунта бежала. Полный провал путча. Люди ликуют. Свобода торжествует». И через два дня опять улетаю в Америку, как и было намечено. Надо же такому случиться — как будто специально судьба меня отправила в Москву именно на эти дни; прилететь в Москву точно 19 августа! И с сентября я уже приступаю к работе в Институте мира в Вашингтоне.

Бывают моменты, о которых потом можно сказать: это были исторические дни в моей жизни. Они не связаны с перипетиями личной судьбы. Речь идет о жизни общественной. Я могу насчитать несколько таких дней: большая паника в Москве 16 октября 1941 года, уличные демонстрации конца горбачевской эры и, наконец, августовские события 1991 года. Эти события можно трактовать по-разному. Есть мнение, что масштаб их был искусственно преувеличен: ведь вокруг Белого дома было несколько десятков тысяч человек, незначительная часть населения столицы. Большинство заняло пассивную, выжидательную позицию. Это верно, но можно посмотреть на вещи шире. В конце концов, число людей, участвующих в любых крупных исторических событиях, обычно бывает не слишком велико, и исход этих событий определяется не количественными показателями. Стоит задать вопрос: а что было бы, если бы ГКЧП победил?

Подавляющее большинство жителей России не оказало бы сопротивления новой власти. Партийные и государственные руководители, военные, сотрудники Министерства внутренних дел и органов госбезопасности, все местные начальники послушно и дисциплинированно принесли бы присягу новому руководству, причем

в большинстве случаев сделали бы это вполне искренне: Горбачев в их глазах уже полностью потерял авторитет, а к Ельцину они относились с недоверием и опаской. Программа ГКЧП их вполне устраивала, они видели в ней единственный способ сохранить как Советскую власть (то есть и свою собственную, личную власть), так и Советский Союз, уже стоявший перед угрозой распада. А «простой народ», сбитый с толку и дезориентированный, подчинился бы любой стабильной власти.

Советский Союз сохранился бы, хотя и в усеченном виде. Скорее всего, Прибалтику, Грузию и Азербайджан удержать бы не удалось, но Украина осталась бы, а это главное: СССР мог существовать без любой другой республики, но не без Украины. Правда, там уже развертывалось сильное сепаратистское движение, но только в западной части республики; властные элиты Киева, Харькова, Днепропетровска при опоре на силовые структуры, еще мало затронутые «западным вирусом», сумели бы удержать ситуацию под контролем, выторговав у центра большую степень автономии (как, например, Татарстан в сегодняшней Российской Федерации).

Внутри России репрессии были бы неизбежны, в противном случае новой власти трудно было бы создать стабильный режим: слишком активными и эффективными оказались к этому времени демократические, реформаторские силы, передовая часть интеллигенции и молодежи, особенно журналисты. Хунта просто обязана была бы эти силы подавить в интересах самосохранения. Конечно, гэкачеписты отнюдь не отличались решительностью и свирепостью, но победа в Москве позволила бы им обрести уверенность, они «вошли бы во вкус»

и не постеснялись, имея за собой поддержку армии и КГБ, бросить в тюрьмы многие тысячи людей, уволить с работы всех инакомыслящих. Вернулись бы догорбачевские времена.

«История не знает сослагательного наклонения» — эту всем понравившуюся фразу цитируют без конца. Но это относится только к истории в ее реальном измерении, т. е. к тому, что уже произошло, а история как наука вправе оперировать и сослагательным наклонением, — ведь нет железной детерминированности событий, всегда есть развилки, варианты. Кажется, покойный Михаил Гефтер заметил, что голова историка устроена таким образом, что он ретроспективно всегда может обосновать неизбежность именно такого хода событий, который и имел место в действительности. Я с этим согласен. Но это не означает, что нельзя с ничуть не меньшей степенью убедительности обосновать и возможность иного развития событий — ведь иногда все висит на волоске, все зависит от того, проявятся или не проявятся определенные качества характера у того или иного исторического деятеля. Можно, конечно, сказать, что раз эти качества не проявились — значит, их и не было, в этом проявилась историческая закономерность, и «по большому счету» именно так все и должно было произойти. Николай II оказался никудышным царем, погубил свою власть и всю империю — значит, она была обречена, и не случайно именно такой ничтожный монарх оказался на троне в начале двадцатого века: «кого боги захотят погубить, того они лишают разума». Временное правительство в 1917 году бездарно упустило все шансы, предоставленные историей, и позволило маленькой большевистской

партии за несколько месяцев стать силой, способной взять власть, — значит, оно, само того не сознавая, было инструментом судьбы, ведшей старую Россию к гибели. Все такого рода соображения в основе своей верны, и все же здесь присутствует некий фатализм. «Могло быть так, и только так».

Гэкачеписты в августе 1991 года проиграли в первую очередь вследствие собственной бездарности, безволия — это бесспорно. Можно было бы даже утверждать, что не столько выиграл Ельцин, сколько проиграли они, эти бесталанные авантюристы, имевшие на руках все козыри и своими руками отдавшие противнику власть. Среди них не нашлось лидера, способного понять — и настоять на этом, — что в сложившейся на следующий же день после их путча обстановке единственным шансом для ГКЧП было решиться на штурм Белого дома, силой устранить Ельцина и его команду. Но к таким действиям они не были готовы; планируя смещение Горбачева, они рассчитывали создать новый режим мирно и плавно, конституционно-бюрократическим путем: Верховный Совет во главе с их единомышленником Лукьяновым должен был легализовать ГКЧП, припертый к стене Горбачев должен был, поколебавшись и отсидевшись в Форосе, примкнуть к ним и дать их власти окончательную легитимность, а все остальное у них уже было: армия, КГБ, все структуры госаппарата, несомненная поддержка региональных властей. Что могли этому противопоставить Собчаки и поповы, либеральная московская интеллигенция, группы свободомыслящей молодежи и радикально настроенные журналисты? Да и сам Ельцин, которого они, конечно же, к этому времени уже успели оценить

как наиболее сильную и популярную, потенциально самую опасную для них политическую фигуру, — разве он не будет рад свержению своего главного соперника, не поторопится заключить сделку с гэкачепистами, чтобы выторговать для себя нишу в новой структуре власти? Разумеется, по их понятиям, он именно так и должен был поступить, иначе он вообще останется не у дел, «на задворках истории».

Вот тут-то как раз они и просчитались. Недооценили, не поняли Ельцина, его смелость и решительность, его властолюбие и бойцовские качества, его способность рисковать и идти напролом в критической ситуации — все то, чего не хватало Горбачеву. Аппаратная логика гэкачепистов не сработала, события пошли не по их канцелярскому календарю. Ельцин встал на танк и объявил их изменниками — и они растерялись, заметались. Почему Крючков, единственный из них, кто по логике вещей должен был взять на себя роль лидера, даже диктатора, так и не посмел отдать военным приказ о штурме Белого дома? Да потому, что он был типичным советским чиновником, бюрократом, плодом брежневской системы, воспитанным в духе аппаратных интриг и извилистых кагебешных ходов, а такое воспитание не благоприятствует развитию в человеке инициативы, смелости и готовности идти на риск. Могут возразить: а Ельцин — разве он не был взращен в том же климате, этот провинциальный обкомовец? А вот Ельцин-то и оказался исключением, ошибкой системы, ее роковой осечкой. Не случайно только Ельцин осмелился в 1987 году бросить на пленуме ЦК вызов Горбачеву — пусть слабый и половинчатый, сопровождавшийся вскоре жалким раскаянием,

но все же это был вызов, нарушение всех правил аппаратной игры. Уже тогда стало ясно, что Ельцин в каком-то смысле «белая ворона» в советском руководстве, недаром все остальные «вороны» тут же, не сходя с места, стали его «клевать» на пленуме в традиционном советском партийном духе. Эту неординарность Ельцина гекачеписты должны были бы учесть — да ума не хватило. Он застиг их врасплох, и его воля оказалась сильнее.

И здесь опять сразу же могут последовать возражения: не преувеличивается ли при такой трактовке событий роль Ельцина, не был ли он — в соответствии с сугубо материалистической, детерминистской концепцией исторического развития — всего лишь орудием истории, функцией той закономерности, которая повелительно диктовала неизбежность гибели изжившей себя системы?

Тогда возникает тот же вопрос: была ли гибель Советской власти фатально predetermined? Было ли неизбежно появление сначала Горбачева, а затем Ельцина, этих двух могильщиков советской системы? Или: а что все-таки было бы, если бы здоровье Андропова оказалось крепче — или его несчастные почки тоже были инструментом истории, и Советская власть к концу своего существования просто обязана была иметь в качестве руководителя человека, жизненных сил которого хватило лишь на полтора года?

Ответа на эти вопросы нет и, по-видимому, не может быть, так как тут уже затрагиваются такие сферы бытия и провидения, которые неподвластны интеллекту. Скажу лишь, что в глубоком историческом смысле советская система была обречена, она не отвечала как требованиям экономического и социального развития современного

мира, так и нравственным императивам, выработанным человечеством на его долгом и мучительном пути. Но это не означает, что она не могла бы просуществовать, несколько изменяясь и модифицируясь, еще в течение нескольких десятилетий. Об Османской империи тоже ведь можно сказать, что она исторически изжила себя еще в начале девятнадцатого века, но она жила еще сто лет. Еще раз повторю: из политических фигур, реально действовавших на государственной арене в 80-е годы, никто, кроме Горбачева, не мог стать инициатором реформ, повлекших за собой в конечном счете всего за несколько лет фатальное ослабление системы. И точно так же никто, кроме Ельцина, в августовские дни 1991 года не мог возглавить сопротивление хунте, бросить ей вызов, стать символом и центром притяжения для всех тех сил, которые уже почувствовали запах свободы и пришли в ужас при виде возвращавшегося призрака большевизма. И не потому, что Ельцин как личность был на голову выше своего окружения или больше других был способен к активным действиям; возможно, некоторые из его соратников в практическом плане в эти три дня сделали больше, чем он сам. Но дело в том, что после смерти Сахарова в стране не было общенационального авторитета такого же уровня, и к лету 1991 года только Ельцин в глазах сторонников демократии выглядел лидером, способным сохранить и закрепить все то, что было завоевано за несколько предшествующих лет, и предотвратить возврат уже остывшего прошлого. Никто другой — ни Руцкой, ни Хасбулатов, ни Собчак, ни Попов, ни кто-либо еще, — будь они семи пядей во лбу, не могли стать символом, живым воплощением духа



сопротивления реакционерам-гэкачепешникам. Независимо от его личных мотивов, Ельцин сыграл решающую роль в провале серьезнейшей попытки вернуть гибнущую Советскую власть. Не будь его, эта попытка, безусловно, увенчалась бы успехом. Альтернатива победе антисоветского движения была вполне реальной. Нашумевшая в те годы книга называлась «Иного не дано». Думаю, что это неверно. На свете мало бывает такого, про что можно было бы сказать: «иного не дано, альтернативы нет». И Ельцина вполне можно считать одной из трех ключевых фигур российской истории в двадцатом веке: без Ленина не было бы Советской власти, без Горбачева не было бы начала лавинообразных перемен, парализовавших эту власть, без Ельцина не было бы решающего усилия, необходимого для того, чтобы эту власть выбросить в мусорную яму истории.

## Я - РУССКИЙ ПРОФЕССОР В АМЕРИКЕ

После новогодних каникул я выхожу на работу в Институт мира в Вашингтоне, и чуть ли не каждый второй из моих коллег встречает меня словами: «Hi, media star!»\* Дело в том, что вечером 31 декабря 1991 года, за четыре часа до наступления Нового года, я выступал в Нью-Йорке по телевидению в «круглом столе», посвященном Ельцину, который только что сменил Горбачева в Кремле. Это была программа «Час новостей

\* Привет, звезда СМИ (англ.).

с Макнилом и Лерером», ее смотрит практически вся американская интеллигенция.

К этому времени я уже всю работу на компьютере в своей небольшой комнатке в здании Института на углу Сахаров-плаза, в двух шагах от советского посольства. Именно поэтому американские власти сменили прежнее название улицы, присвоив ей имя академика Сахарова — чтобы советские чиновники, адресуя из Москвы корреспонденцию в свое посольство в Вашингтоне, вынуждены были каждый раз, чертыхаясь, писать на конверте ненавистную фамилию. Правда, к моменту моего поступления в Институт мира все это уже в прошлом, Сахаров в Москве — не враг, а покойный герой и властитель дум. Да и сама власть идет к концу; в середине моего пребывания в Институте мира Советский Союз распался, и я скорректировал тему своей работы — теперь это «Распад Советского Союза и перспективы нового мирового порядка». Я уже побывал в Италии, где участвовал в работе конференции в рамках российско-американского проекта на тему урегулирования международных конфликтов. Конференция была в Болонье, но я также имел счастье побывать в Риме, Флоренции, Равенне и Венеции. Посетил я также Израиль и Египет, причем начало моей поездки в Израиль было просто каким-то сказочным: в аэропорту Лод я разминулся с встречавшими меня людьми из университета, по приглашению которого я и отправился в эту страну. Я взял такси и приехал в Иерусалим; было совсем темно, часа четыре утра, таксист довез меня до ворот Еврейского университета на горе Скопус, я расплатился и сел на пригорок возле закрытых ворот. И вот начинает рассветать, и медленно, медленно передо

мной там, внизу, постепенно проступают контуры великого и вечного города, я вижу Храмовую Гору, купола двух знаменитых мечетей... Если бывают моменты, когда на самом деле уместно применить такие тривиальные выражения, как «дух захватывает», «слезы подступают к горлу», то таких я помню в жизни только три: когда я вышел по Невскому проспекту к Неве, когда вышел на берег Сены и увидел Собор Парижской Богоматери и когда я смотрел на рассвете на возникавшие передо мной очертания Иерусалима. Мне посчастливилось за последние десять лет увидеть много красот — Венецию, Флоренцию, Ватикан и Колизей, египетские пирамиды, Гавайские острова, фантастические национальные парки в штате Юта, Тадж-Махал в Индии, развалины Петры в Иордании, мечети Стамбула, афинский Акрополь, побережье Ирландии, небоскребы Гонконга, Ниццу и Монте-Карло, пляжи Калифорнии и Флориды, такие чудесные города, как Сан-Франциско и Сан-Диего, и многое другое. Но ничего похожего на то, что я испытал тогда на рассвете в Иерусалиме, после этого уже не было.

Вернусь к Институту мира в Вашингтоне. Это было первое мое место работы в Соединенных Штатах и первое настоящее знакомство с Америкой, ее жизнью и обществом. Там, в Штатах, открылся как бы второй профиль моей деятельности. До этого, в течение моей профессиональной жизни, я, выпускник Института востоковедения, был специалистом по проблемам развивающихся стран — Азии, Африки и Латинской Америки, а в более узком смысле — по Ближнему Востоку. В Америке я тоже сначала писал и выступал по ближневосточной и третьей мировой тематике, но вскоре понял, что там таких

специалистов — пруд пруди и не мне чета: люди, по полжизни проведшие в арабских странах. И я переориентировался на советско-российскую проблематику. Уже в моей работе о новом мировом порядке я много внимания уделил перспективам Средней, или, как ее стали называть, Центральной Азии, после образования там независимых государств. Меня пригласили поехать в составе группы американских ученых в Тегеран, на конференцию, посвященную вопросу о влиянии распада Советского Союза на Ближний Восток. Тегеран мне не очень понравился — невероятная скученность, загазованность, автомобильные пробки. Гораздо интереснее показался Исфаган, куда нас повезли на экскурсию; недаром персы называют этот город «нисф-э джихан», половина мира. В целом в Иране удручающее впечатление производили массы женщин, все как одна одетых в черное, — паранджа, почти скрывающая лицо, длинные платья. Когда видишь на улицах тысячи и тысячи этих абсолютно одинаковых безликих черных фигур, становится как-то не по себе. Я спросил молодую сотрудницу принимавшего нас института: «Понятно, что вам положено носить темные одежды, но почему обязательно черные? Хоть что-нибудь синее надели бы для разнообразия». Она улыбнулась: «Так вернее — на всякий случай». Исламская революция...

По возвращении в Вашингтон меня пригласили выступить на слушаниях по Центральной Азии в комитете по иностранным делам палаты представителей. Я, российский ученый, выступал в конгрессе Соединенных Штатов как эксперт по Центральной Азии! Тогда американцы еще ничего ровным счетом не знали об этом

регионе, спешно выучивали названия столиц — Ташкент, Бишкек... После этого мне сразу же заказали статью о пробуждении Центральной Азии в журнал «Каррент аффэрс», а потом кто-то подсказал мне, что есть смысл подать заявку на грант в Фонд Макартура — чрезвычайно престижную организацию. Я так и сделал, хотя и не думал, что получу грант, — кто мое имя знает в Америке? Но я выбрал, как оказалось, удачную тему — «Межэтнические отношения в бывшем Советском Союзе как потенциальный источник конфликтов», — и это сыграло решающую роль: в то время все были убеждены, что после распада Союза начнутся этнические войны. Я получил грант, к этому времени мой срок в Институте мира уже закончился, и я немедленно отправился в Казахстан, Узбекистан, на Украину и на Северный Кавказ. Результатом этих поездок стала написанная мною на английском языке книга «На развалинах империи», изданная в Соединенных Штатах в 1997 году\*.

Тем временем я продолжал совершать наезды в Штаты, выступать с докладами о положении в России в различных организациях, в основном в Вашингтоне. Удивительный город! Нигде в мире, ни в одной столице пульс страны не бьется так интенсивно, как в Вашингтоне. Даже не упоминая государственную администрацию, а ограничиваясь только наукой, надо сказать, что количество ежедневно проходящих в Вашингтоне конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов — просто поражает воображение. Я, скромный сотрудник одного из множества научно-исследовательских центров,

\* On Ruins of Empire. Connecticut: Greenwood Publishers, 1997.

с трудом отбивался от прибывавших каждый день приглашений принять участие в каком-либо мероприятии.

Я снимал комнату в центре, около Дюпон-Серкл. Однажды, когда поздно вечером я под проливным дождем возвращался домой и на улице не было ни души, из кустов появился молодой негр в бейсбольной шапочке и с шарфом, закрывавшим половину лица. «Хай!» — сказал он, подойдя вплотную ко мне. Я ответил тем же, думая, что это один из множества чернокожих нищих, просящих милостыню на каждом углу, но он уткнул мне в живот какой-то закутанный в тряпочку предмет — не то пистолет, не то нож. «Я не буду в вас стрелять, это «холдап»\*)». Другой рукой он выхватил у меня из кармана пиджака бумажник, в котором была приличная сумма денег (я собирался в Москву и как раз в этот день снял деньги со счета в банке), взял банкноты, бросил бумажник на землю и убежал. Все это заняло несколько секунд; потом в полиции мне сказали; «Хорошо, что вы не сопротивлялись или не попробовали убежать. Эти ребята всегда либо пьяные, либо обкуренные, им убить человека — раз плюнуть».

Я объездил немало штатов и выступал во многих университетах, но регулярную преподавательскую работу на целый семестр получил только в 1993 году. Меня пригласил Американский университет в Вашингтоне — прочесть в течение осеннего семестра три курса: «Постсоветская Россия», «Россия и СНГ (Содружество Независимых Государств)», «Россия и Европа». В трех учебных группах, вместе взятых, было около 50 студентов,

\* Hold-up — вооруженное ограбление (*англ.*).

главным образом «андергрэдьюйтс» (студенты основного четырехлетнего курса обучения; продолжающие учебу после этого срока — по-нашему аспиранты, «постгрэдьюйтс»). Несмотря на уже имевшийся у меня опыт преподавания в СССР, я с некоторым трудом приспосабливался к американским порядкам. Помню, прочитав курсовую работу одной студентки, я в ходе очередной лекции указал ей на ошибки и увидел изумленные взгляды студентов; оказывается, замечания можно делать только тет-а-тет, а не в присутствии всего класса, точно так же, как об отметках, которые преподаватель ставит, должен знать только сам студент и деканат, но ни в коем случае не другие студенты. Это результат осуществления на практике концепции прав личности: ни за что нельзя ставить человека в неудобное положение, тем более в присутствии других людей, ущемлять его достоинство и причинять ему моральный ущерб. Это только часть обширного негласного кодекса уважения личности, включающего в себя и «политическую корректность». Можно попасть впросак на каждом шагу; так, когда группа сотрудников Института мира направлялась на двух машинах на какое-то мероприятие и я увидел, что две молодые женщины, вышедшие из второй машины, пошли не в ту сторону, я окликнул их, назвав их «герлз». Один из моих спутников тут же вежливо сообщил мне, что лучше было бы крикнуть «ледиз». Что уж говорить об абсолютной невозможности употребления — по крайней мере, в официальном общении — таких слов, как «слепой» или «низкорослый» (надо говорить «человек с другим видением») и «человек, столкнувшийся с вызовом в отношении вертикальности»; по-английски, впрочем,

это звучит коротко — «other-vised», «vertically challenged»).

После одного моего выступления, в котором я сказал, что менталитет русского народа неверно было бы считать ориентальным, были возражения по поводу употребления самого слова «ориентальный»: в этом усмотрели расистский подход — дескать, нельзя делить людей на «восточных» и «западных». Многие полагают, что нельзя употреблять термин «Ближний Восток», так как это означает, что на данный регион смотрят из Европы, ведь только по отношению к ней он может считаться ближним, следовательно, это — «европоцентризм», западное высокомерие.

Мои земляки предупреждали меня, что даже в разговорах с соотечественниками на русском языке в присутствии американцев не следует произносить слово «негр», созвучное совершенно невозможному в Америке, давно запрещенному «ниггер». «Так ведь они же по-русски не поймут», — возражал я. «Нет, — отвечали мне, — негры все равно уловят, о чем речь, будут неприятности». В обиход давно вошло слово «blacks», но сейчас политически корректным считается «African Americans». А вообще в Америке ни в коем случае нельзя, споря с кем-то или обосновывая свое отрицательное мнение о ком-то, даже упоминать такие вещи, как национальная принадлежность человека, так же, впрочем, как его внешние данные, пол, возраст или черты характера. В принципе даже не следует косвенно намекать на национальность собеседника, если он сам этого не коснется; я знаком со Збигневом Бжезинским, известным политологом и бывшим советником президента Картера по национальной



безопасности, мы с ним неоднократно беседовали, он пришел однажды слушать мою лекцию в Университете Джонс Хопкинс. Но когда я пробовал говорить с ним на его родном польском языке, он отвечал по-английски, и мне потом объяснили: Бжезинский хочет, чтобы его считали только американским политиком, и полагает, что даже намек на его происхождение неуместен. Во всем этом есть некий парадокс: ведь все американцы отлично знают свою родословную, гордятся ею, никто не скрывает своих национальных корней, я сотни раз слышал от людей: «а, вы из России, мои предки тоже родились где-то под Минском (или Киевом, Одессой и т. д.)», но человек должен сам об этом сказать, иначе всякое упоминание о происхождении будет политически некорректным.

В Америке не услышишь, например, таких реплик среди автомобилистов: «Эти черные (или испаноязычные) гоняют, как сумасшедшие», или «Она сама виновата в аварии: женщина за рулем — сами знаете», или «В его возрасте вообще уже не стоит за руль садиться». Конечно, люди могут именно так думать и в своем узком кругу даже говорить, но в обществе — никогда. Вместе с тем в университетских справочниках всегда четко указывается, сколько в данном университете или колледже студентов мужского и женского пола и каков процент представителей расовых групп (их по принятой в США классификации пять: «кавказцы», к которым относятся все «арийцы» и вообще более или менее «белые», включая русских и французов, евреев и арабов, ирландцев и греков и т. д.; азиаты (жители Южной и Восточной Азии); афроамериканцы, т. е. черные; испаноязычные, называемые «хиспаникс» или «латинос»; наконец, «нэйтивз», коренные,

т. е. индейцы). На первый взгляд, это некорректно — указывать расовые и половые отличия, но на самом деле это — оборотная сторона борьбы против дискриминации и ущемления прав меньшинств: каждое высшее учебное заведение должно показать, что оно не дискриминирует чернокожих или желтых, а также женщин — они тоже относятся к «меньшинствам», хотя их в стране 54%.

Это тесно связано с проводящейся в последние годы в Соединенных Штатах политикой, называемой «affirmative action», суть которой в искоренении дискриминации меньшинств, равно как и инвалидов, при приеме на работу или учебу. Недавно одноногая женщина подала в суд на владельцев дансинга, отказавшихся принять ее на работу в качестве танцора, и в соответствии с законом она может быть права: ведь ее не приняли именно потому, что она — инвалид. Сын одного моего знакомого, объясняя отцу, почему после окончания колледжа он не смог поступить на работу, которой добивался, сказал: «Вот если бы я был незамужней негритянской, да еще больной СПИДом, меня бы точно приняли». Недавно развернулась борьба против affirmative action: выпускники колледжей — «кавказцы», т. е. белые, обратились в суд, доказывая, что их не взяли на работу, хотя они прошли по конкурсу, только потому, что решено было предоставить эти места неграм, набравшим меньше баллов. Ни одно учреждение не может позволить себе быть обвиненным в том, что в его штате недостаточно черных или испаноязычных. Поэтому появился термин «reverse discrimination» — дискриминация наоборот.

Однажды я шел по парку в кампусе Принстонского университета, и ко мне подошли телевизионщики:

«Скажите, что вы думаете об affirmative action?» Я ответил, что в принципе это правильная идея, но любой справедливый принцип можно довести до абсурда. «Вчера, — сказал я, — в местной газете я прочел заметку с упреком в адрес властей штата Нью-Джерси в связи с тем, что в полиции штата всего 8% испаноязычных, в то время как в целом в штате их 13%. А что, если среди испаноязычных жителей штата не наберется 13% людей, годных для работы в полиции? Значит, надо любой ценой соблюдать квоту, даже если это идет в ущерб самому населению штата Нью-Джерси?»

Можно привести сколько угодно примеров доведения до абсурда принципов защиты прав личности и прав меньшинств. Не так давно человека уволили с очень высокооплачиваемой работы только за то, что он в присутствии сослуживцев рассказал шутку, услышанную им накануне по телевидению. Шутка содержала слегка завуалированный расовый намек. Человек сказал в суде: «Но ведь это было на телевидении, каждый мог слышать». Ему ответили, что телевизор каждый вправе выключить, а он рассказал это в присутствии людей, кто-то из которых мог почувствовать себя оскорбленным, и тем самым ущемил их права. Я уже не буду говорить о многочисленных исках по поводу sexual harassment — сексуальных приставаний. Начальник назовет секретаршу «милочкой» или расскажет при ней двусмысленный анекдот — и готово дело: на него можно подать иск. Дошло до того, что в некоторых вузах профессора стараются принимать экзамен у студентки обязательно в присутствии ассистента либо при открытой двери.

Вообще судебных исков по самым различным поводам ежедневно подается в Америке огромное количество, что дает основание живущим там русским называть американцев нацией сутяг. Действительно, нашему человеку, который привык к бесправию и сам относится к закону наплевательски, а о правах личности вообще ничего толком не знает, многие поводы для исков в Америке кажутся смехотворными и идиотскими: «с жиру бесят-ся». Например, женщина отправлялась из Вашингтона в Лос-Анджелес, ее собака, как положено, должна была лететь в особом заднем отсеке; вдруг из окна самолета она видит, как ее собаку везут на тележке в другой самолет, направляющийся в Чикаго, и уже поздно что-либо делать. В конечном счете собаку из Чикаго переправили в Лос-Анджелес, но владелица подала на авиакомпанию в суд с требованием возместить моральный ущерб, причиненный как ей, так и собаке.

Крайняя щепетильность характерна для американцев во всех вопросах, так или иначе затрагивающих права личности, ее честь и достоинство; иногда эта щепетильность выглядит чрезмерной. Так, при мне был случай, когда профессор закончил лекцию интересным и эффективным афоризмом. Один студент, которому это показалось знакомым, покопался в журналах и обнаружил, что афоризм принадлежит другому человеку, известному ученому. Профессор не отрицал этого, но сказал, что он просто не успел указать на авторство афоризма, поскольку лекция заканчивалась и студенты уже начали вставать с мест. Это объяснение сочли недостаточным: он обязан был даже в устном выступлении указать первоисточник, иначе это выглядит как плагиат. Профессор подал в отставку.

Над всеми подобными вещами можно, конечно, смеяться — «нам бы ваши заботы». Но боюсь, что за абсурдными и анекдотическими случаями можно проглядеть главное: в Америке, как, вероятно, нигде в мире, проявляется забота о том, чтобы не ущемить права и интересы личности, даже если это иногда идет во вред интересам общества. Особенно это касается заботы о личности обездоленной, ущемленной, «обиженной Богом», и вполне естественно, что такая забота распространяется и на обездоленные группы общества. Отсюда — и специальные покаты на тротуарах во всех без исключения городах, чтобы можно было легко спускаться на инвалидных колясках, и соответствующие ступеньки на всех автобусах, и приспособления для инвалидов в общественных туалетах; отсюда и льготы для расовых меньшинств при поступлении на работу и в университет; отсюда и «политическая корректность», смысл которой в том, чтобы личность или группа, которые изначально лишены привилегий, поставлены уже при старте в неравные условия в силу природных или исторических причин, не ощущали себя обиженными, презираемыми, третьесортными. Отсюда, кстати, и welfare, система социального вспомоществования, иногда действительно противоречащая здравому смыслу (например, когда юная негритянка начинает рожать детей чуть ли не с четырнадцати лет, получает пособие, через десять лет у нее уже несколько детей от различных мужчин, она ни одного дня в жизни не работает, живет в свое удовольствие на пособие, дети растут в жуткой атмосфере пьянства, наркотиков, разврата, в криминальной среде, вступают в подростковые банды, не заканчивают школу и — дальнейший путь

понятен). В Америке бесконечно много спорят по этому поводу; одни считают, что это прямая дорога к деградации общества, другие полагают, что это неизбежные издержки гуманной в основе своей политики.

Здесь, конечно, я уже коснулся проблемы явно неразрешимой, по крайней мере в нашу эпоху, — проблемы социальной и философской: как пройти между Сциллой и Харибдой, избежать обеих крайностей — и давящего личность коллективизма, который под лозунгом примата интересов общества чаще всего вырождается в деспотизм верхов и рабский конформизм низов, и «разгула свободы», когда во имя прав и интересов индивида поощряется такая моральная атмосфера, при которой «все дозволено», предоставляется простор всем, даже самым низменным, инстинктам и страстям человеческим. От решения этой дилеммы далеки еще все страны, не исключая, разумеется, и Соединенные Штаты. Там вообще намешано все: я иногда думаю, что в Америке вообще сконцентрировано все лучшее и все худшее, что есть в мире, в обществе, в человеческой природе.

В целом я люблю Америку и американцев. Это признание вряд ли выглядит в сегодняшней России «политически корректным», но это так. Отчасти, может быть, это идет еще с детства: для меня, как и для многих московских мальчишек того поколения, первыми иностранными словами, наверное, были «форд», «линкольн», «паккард», а Америка воплощала все передовое, технически развитое, динамичное. Потом — тот факт, что американцы спасли меня от голода в сорок втором году. Но главное — то, что я прожил в Америке фактически несколько лет (за последние десять лет я побывал там двадцать

раз, из них семь раз подолгу) и, как мне кажется, неплохо узнал эту страну. Я побывал в двадцати четырех штатах, выступал с лекциями в двадцати трех университетах, в том числе вел регулярные курсы в Принстоне, Нью-Йоркском университете, Американском университете, университете Хофстра. Многое в Америке мне не нравится, но минусы, безусловно, перекрываются плюсами.

Начать даже с внешних, бытовых вещей. Американцы, я думаю, самый вежливый и чистоплотный народ, а это уже немало для повседневного общения. Когда я преподавал в Американском университете в Вашингтоне, я от метро ездил до места работы на университетском автобусе вместе со студентами и не помню случая, когда студент, выходя из автобуса, не сказал бы водителю «thank you», а водитель-негр не ответил бы «take care» либо «have a nice day». Везде, где бы я ни работал, сколько раз в течение дня встретишь сослуживца, столько раз он тебе улыбнется и скажет «хай». Люди случайно толкнут друг друга на улице — каждый улыбнется и извинится. Вежливость обслуживающего персонала, начиная от продавцов и клерков в учреждениях, по нашим меркам необыкновенная (я не говорю о Нью-Йорке, там в этом смысле дело хуже, но это вообще особый мир, иная планета). Эта всеобщая приветливость и доброжелательность создают атмосферу, в которой легко и приятно дышать. Уверен, что многие мои соотечественники, услышав такое мнение, презрительно фыркнули бы: знаем, мол, цену этим фальшивым белозубым улыбкам, этим неизменным дежурным ответам «файн» на вопрос «как дела?»; все это наиграно и заучено, сплошное лицемерие, на самом деле каждый думает только о себе

и своем бизнесе, общительность чисто формальная и т. д. и т. п. Какая-то доля истины в этом есть; на самом деле американцу, как, впрочем, и любому другому человеку, не так уж важно твое состояние и самочувствие, и обязательный обмен приветливыми репликами в значительной мере имеет ритуальный характер. И все же, согласитесь, легче вращаться среди вежливых, улыбающихся и приветливых людей, даже если ты не принимаешь их слова за чистую монету, чем среди угрюмых и грубых, вечно жалующихся или делающих один другому замечания (кстати, я заметил, что никто не делает друг другу замечания так часто и охотно, как русские). Да, в Америке не принято «открывать душу», пространно обсуждать с малознакомыми людьми личные проблемы, вообще интересоваться жизнью и трудностями другого человека, но в этом проявляется не только и не столько равнодушные и черствость, как полагает большинство живущих в Штатах русских, сколько тщательно оберегаемая «прайвеси», свой частный мир, в который не хочется допускать чужих, равно как и нежелание показаться бестактным и назойливым, нарушая «прайвеси» другой личности. Это — возможно, гипертрофированное и иногда чрезмерное уважение к частной жизни. В то же время американцы ничуть не менее отзывчивы и участливы, чем любой другой народ, в случаях, когда требуется их помощь.

При всей своей тщательно оберегаемой внутренней автономности американцы ухитряются быть крайне общительными, даже, на мой взгляд, чересчур экспансивными, многословными и громкоголосыми в изъяснении своих добрых чувств, своей радости (иногда не вполне натуральной, явно преувеличенной) от общения с вами.



Они излучают благожелательность, добродушие и оптимизм. Человеческое общение в Америке, вопреки довольно распространённому мнению, имеет более широкий размах, чем где бы то ни было; количество всевозможных добровольных ассоциаций, «кружков по интересам» просто невообразимо. Когда я преподавал в университете Хофстра на Лонг-Айленде, я жил в домике отставного профессора и его жены; дважды в месяц они с группой друзей и знакомых, числом около двадцати человек, собирались по очереди дома у кого-либо из этой неформальной группы для обсуждения заранее намеченной книги, отобранной путем голосования, — и это, оказывается, продолжалось в течение двадцати лет! Я узнал, что это весьма распространенная форма общения в Америке; обсуждались книги как художественные, так и общественно-политического характера. Вообще американская интеллигенция читает довольно много, в книжных магазинах всегда полно людей, количество ежегодно публикуемых книг и журналов способно потрясти воображение. Велик интерес к искусству, к симфонической музыке, живописи; однажды, чтобы попасть на выставку картин Вермера в Вашингтоне, мне пришлось простоять в очереди часа три. Разумеется, все это относится к весьма узкой интеллектуальной элите, но ведь так во всем мире: много ли рабочих или мелких бизнесменов в Москве посещают Пушкинский музей и консерваторию?

По складу моей натуры мне импонирует деловитость и пунктуальность американцев, их непревзойденная обязательность. Конечно, когда после знакомства и короткого разговора вам говорят дежурную фразу «Мы с вами должны как-нибудь встретиться и пообедать», это в девяти

случаях из десяти ничего не значит, никакого ленча не будет. Но уж если договариваются, а обычно это звучит так: «В четверг на будущей неделе, в семь часов» — не стоит даже перезваниваться и уточнять, встреча состоится обязательно. В Америке вообще невозможно жить без книжки-ежедневника, в которой надо все встречи разметить за две недели вперед (что немыслимо для русской природы, привыкшей к импровизированным встречам). Опозданий практически не бывает, никогда никого не приходится ждать. С другой стороны, мне такого рода встречи (непрерывно за обедом или ужином, американцы вообще без еды не общаются) часто бывали в тягость: именно в тот момент, когда подают великолепный бифштекс или рыбу-меч, задают вопрос о политике Ельцина, и все удовольствие от еды теряется.

В России, по моим наблюдениям, распространены два мифа об Америке. Первый: «американцы и русские близки по духу и весьма схожи». В действительности русские и американцы по своему менталитету, образу мыслей и отношению к жизни совершенно не похожи друг на друга, и данный миф, вероятно, обязан своим происхождением тому факту, что Россия и Америка схожи по размерам территории и численности населения, а также по некоторым эпизодам истории (например, открытие Сибири у нас, Дальнего Запада — у них).

Интересно, что американцы не считают русских совершенно чуждыми, непонятными людьми в человеческом плане, как, скажем, китайцев или японцев. Один американский бизнесмен, имевший дело и с русскими, и с китайцами, говорил: «Что думает китаец — нам понять невозможно. Но делать бизнес с китайцами несравненно

легче; их деловитость, обязательность, честность и дисциплинированность — это такой контраст по сравнению с русскими!» Почти все американские деловые люди говорят, что вести бизнес в России — сущее мучение. Тем не менее доброжелательное отношение к русским в человеческом плане сохраняется, несмотря ни на что, и почвы для русофобии в Америке нет. Оба народа далеки друг от друга, но вполне совместимы.

Миф второй: «американцы относятся к России с неприязнью, недоверием и опаской». На самом деле это справедливо только для их отношения к российской власти, Кремлю, вообще к Москве в широком политическом смысле. Что же касается русского народа, то отношение к нему, за редкими исключениями, вполне теплое и доброжелательное. Американцы в целом мало знают о России, так же, впрочем, как и обо всех вообще зарубежных странах, и мало ею интересуются. Однако даже малообразованные люди сочувствуют России, удивляются, почему так плачевно обстоят дела в стране с такими огромными природными богатствами. О русских знают как о народе, давшем миру великие творения искусства, замечательные достижения в сфере культуры, науки. Широко известны советские свершения в космической области. Все образованные люди высоко ценят русскую культуру, знакомы (хотя часто лишь понаслышке) с такими именами, как Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов, Набоков, Бродский, Солженицын, Сахаров, Чайковский, Мусоргский, Шостакович, Репин, Шагал, Шаляпин, Нурiev и др. Прежний страх перед Россией, вызванный угрозой атомной войны в советские времена, уже исчез. Какие-либо исторические предубеждения в отношении

России отсутствуют. Масса бывших советских евреев, переселившихся в Америку, при весьма критическом отношении к нынешней российской власти все же способствует распространению знаний о России и укреплению доброжелательного отношения к нашей стране.

Мне было легко войти в американское общество, гораздо проще, чем в европейское. Это не значит, что у меня есть основания обижаться на европейцев, отношение ко мне там было прекрасное; например, в 1993 году я три месяца проработал в Англии по приглашению Лондонской школы экономики, и от Англии и англичан у меня осталось самое лучшее воспоминание. И все же что-то там другое, иностранцы — чужие, чувствуется некий барьер. Видимо, это объясняется тем, что в Европе — древние нации с давно и прочно укоренившейся, четко очерченной, в высшей степени самобытной идентичностью, на почве которой закрепился этнический национализм, всегда отгораживающийся от «чужих». Дихотомия «мы — они», сохранившаяся с незапамятных времен, так и не исчезла. В Америке нация молодая и разноплеменная, подлинные корни имеются только у индейцев, люди всех рас и наций продолжают прибывать отовсюду, стопроцентные во всех отношениях американцы говорят с акцентом, в том числе всемирно известные люди, такие как Киссинджер или Сорос. Нация иммигрантов, в которой никто не может быть чужим именно потому, что нет четкого понятия «свой». Мой сын, работающий в Российском Библийском обществе, побывал в Соединенных Штатах в командировке после посещения Европы и, не сговариваясь со мной, убежденно заявил, что для жителя России лучшее место

за границей в смысле как работы, так и общения — Америка. Это же я слышал и от других людей. Насчет условий для работы и говорить нечего, тут с Америкой, конечно, ни одна страна не идет в сравнение: невероятные возможности в смысле обилия информации и любых материалов, масштаба профессионального общения, количества научных центров, постоянно устраивающих обмен мнениями. Но и в плане чисто человеческого общения здесь гораздо проще, чем, по моему мнению, в других странах — разумеется, при условии отказа от предвзятости, от стереотипов, способности и желания понять душу нации. К сожалению, именно этого, по моим наблюдениям, и не хватает большинству наших соотечественников, живущих в Америке или просто приезжающих туда на какое-то время. Сколько раз мне приходилось слышать от людей, уже прочно обосновавшихся в Штатах и имеющих неплохую работу, презрительные, уничижительные отзывы об этой стране и ее жителях! Как правило, это либо результат непонимания или нежелания понять особенности американского менталитета, традиций, принятых правил поведения, либо проявление национального чванства, глубокой убежденности априори в том, что вот мы, русские, по своей сути лучше, добрее, душевнее и умнее всех остальных. Я уж и не говорю о многих наших известных политиках и ученых, которые, с одной стороны, готовы ездить в Америку каждый год по нескольку раз и мчатся туда по первому приглашению, рады-радешеньки отдать своих детей на учебу в американские колледжи, а с другой стороны, считают хорошим тоном всячески «поливать» эту страну и публично, и в частной беседе.

Но это уже связано не только с особенностями русского менталитета, но и с характером тех изменений, которые произошли в России после крушения Советской власти.

## «ШТУРМ ПАРЛАМЕНТА»

Я сижу у телевизора в центре Вашингтона и не отрываясь, затаив дыхание, смотрю программу Си-эн-эн. На экране — оголтелая толпа погромщиков, беснующихся у здания Белого дома. Беспомощно разбегающаяся милиция. Руцкой, призывающий к походу на московскую мэрию и дальше — на Кремль. Автобусы с разъяренными, орущими людьми, мчащиеся к Останкино. Отвратительная физиономия генерала Макашева. Осень 93-го года.

Я звоню в Москву Амбарцумову, которого знаю чуть ли не сорок лет, — он растерян, не может сориентироваться в калейдоскопе событий, бормочет что-то невнятное. Звоню Кувалдину, моему бывшему сослуживцу, ставшему близким сподвижником Горбачева, он, как истинный горбачевец, ярый ненавистник Ельцина, с торжеством сообщает, что московский ОМОН уже перешел на сторону Верховного Совета. На экране опять ликующая толпа сторонников Хасбулатова и Руцкого, американский корреспондент берет интервью у экономиста Татьяны Корягиной, она кричит в экстазе, что вот-вот все кончится, режим Ельцина доживает последние часы.

Накануне я уже слышал по радиоприемнику, включив Би-би-си, какого сорта люди оказались в центре

политического кризиса, что представляют собой все эти баркашевцы и макашевцы. Сомнений нет: в атаку двинулась самая черная реакция. О Руцком и Хасбулатове говорить нечего, это просто амбициозные мелкие политики, а вот те, кто взял в руки оружие и, прикрываясь лозунгом защиты Конституции и закона, грозит свергнуть «ельцинский режим» — это реальная и страшная опасность. Эти начнут убивать и сажать, громить и запрещать. «Красно-коричневые» — это вроде бы противоестественное сочетание приобретает зловещий смысл. А почему, собственно говоря, противоестественное? Опять вспоминаю слова Гитлера о том, из кого может получиться хороший нацист. Сошлись люди, казалось бы, противоположных мировоззрений: одни — за «Россию, которую мы потеряли», даже за монархию, для них Октябрьская революция — катастрофа, совлекшая святую Русь с ее указанного православием пути, другие — за великое знамя Ленина—Сталина. Но и те и другие — люди одного склада, одной группы крови, их объединяет бешеная ненависть к демократам, либералам, западникам, евреям. Здесь собрались в кучу и коммунистические недобитки, те, кто были всей душой за ГКЧП, но не успели организовать или просто трусили, не отважились тогда, в 91-м, защищать Советскую власть, а теперь хотят загладить тот позор и собственную слабость, взять реванш, и те, кто в советские времена не решались открыто высказать свои симпатии к нацизму и расизму, а сейчас чувствуют: все можно, даже поднять знамя со свастикой.

Но против Ельцина — не только «коммуно-нацисты». За Верховный Совет поднялись и многие вполне порядочные, демократически настроенные люди, считающие,

что президент уничтожает парламентаризм и устанавливает авторитарную власть. Немало тех, кто в 91-м защищал Белый дом от реставраторов Советской власти, в 93-м защищают тот же Белый дом от своего прошлого кумира, ставшего в их глазах потенциальным тираном. Таким образом, картина далеко не однозначная. Она еще больше усложняется тем, что широкие массы за каких-нибудь полтора года резко изменили свое отношение к Ельцину, а это уже связано с реальным и серьезным ухудшением экономического положения большинства населения.

Когда я приехал в Москву из Штатов весной 1992 года, я не узнал свой родной город. Где очереди? Очереди — эта вечная, неотъемлемая черта советского пейзажа, — куда они подевались? Магазины, ларьки, внезапно возникшие киоски — все забито товарами, вдоль тротуаров стоят торгующие всякой ерундой люди, везде меняют рубли на доллары. Прежде всего бросаются в глаза книжные и цветочные киоски. И вместе с тем — появившиеся откуда-то в огромном количестве нищие, стоящие на углах с протянутой рукой или роющиеся в помойке старухи, всеобщий ропот: «Отняли все сбережения, ограбили народ». Проклинают Ельцина и Гайдара, с ненавистью говорят о появившихся невесть откуда «новых русских». Что случилось, откуда все это вдруг свалилось?

Ничего неожиданного на самом деле не было: в соответствии с марксистским учением, новые производительные силы (а за ними и производственные отношения) зародились в недрах старой формации. Буржуазность развивалась незаметно, замаскированная официальной фразеологией; это была буржуазность особого рода,



искаженная и деформированная всей той идеологией лжи и двуличия, в которой она развивалась, буржуазность с криминальным уклоном — с самого начала, поскольку она набирала силы нелегально, подпольно.

Эта тенденция перерождения общества — во всяком случае значительной его части — не могла открыто проявлять себя, развиваться «под колпаком» жесткой авторитарной власти. Эрозия советской системы, ее разложение и перерождение не были заметны, пока общество еще было скреплено обручем партийного руководства. Как только Горбачев, исходя из собственных тактических соображений, снял этот обруч — все развалилось, не только экономика, которая только и могла держаться на силе партийного руководства, но и вся система общественных отношений, эта по сути дела искусственно поддерживавшаяся конструкция, маскировавшая изменившуюся природу общества. Исчезли сдерживающие скрепы — и сразу на поверхность вышли те самые новые «хозяева жизни», которые наложили свой безобразный отпечаток на все последующие десятилетия вплоть до наших дней, те полукриминальные или прямо криминальные социальные категории, которые исподволь формировались, крепились, набирались опыта и обзаводились связями еще при «старом режиме».

Но кто тогда, в 93-м году, думал о предпосылках, тенденциях, закономерностях общественного развития? Разве что некоторые ученые. А для тех, кто пострадал от плохо, видимо, продуманных гайдаровских реформ, кто лишился своих сбережений, кто с возмущением взирал на уже появившиеся шикарные дачи и иномарки «новых русских», — для них все было ясно: клика Ельцина

грабит страну (многие добавляли при этом: не иначе как по наущению американцев или разных там масонов). И такое понятие, как «грабеж страны» вроде бы логично трансформировалось в еще более зловещее: «распродажа Родины». Здесь уже затрагивалось святое — патриотизм. А у многих представителей «образованного класса» к этому прибавлялся и третий компонент: «душат демократию, создают режим диктатуры». И все это вместе взятое обрушивалось на Ельцина и его правительство. Стоит ли удивляться, что антиельцинский фронт к сентябрю 1993 года оказался весьма широким и включал в себя отнюдь не только честолюбивых авантюристов из руководства Верховного Совета и баркашевско-макашевские банды?

И вот я в Вашингтоне наблюдаю по телевизору кровавую сцену боя у здания телевидения в Останкино. Но худшее еще впереди. 3 октября мне звонят на работу: «Скорее иди смотреть по телевизору передачу из Москвы — танки бьют по Белому дому!» На экране — высокое белое здание, так знакомое по событиям двухлетней давности, и по окнам стреляют танки. Черный дым. Бегут, пригибаясь, люди с автоматами в руках. Потом — кульминация драмы: из здания Верховного Совета выводят сдавшихся в плен Руцкого, Хасбулатова, остальных лидеров мятежа. Жалкие фигуры побежденных, подавленные лица. Они проиграли, все кончено.

А что было бы, если бы они победили? Опять — «история не знает сослагательного наклонения», — но все же?

Наиболее правдоподобный сценарий, мне кажется, был бы такой: как и в 91-м году в случае удачи путча гэкачепистов, в 93-м все власти на местах немедленно

признали бы новую власть, стоило бы Макашеву объявить с экрана: «Дорогие товарищи, граждане России! Счастлив сообщить вам о великой победе. Антинародный режим ельцинской клики, разграбивший нашу страну и распродававший ее Западу, свергнут. Власть перешла в руки законных представителей народа» — или что-нибудь в этом роде. Армия и силовые структуры сразу же подчинились бы новому президенту Руцкому, заслуженному боевому генералу, герою афганской войны. Уже очень скоро Руцкой с Хасбулатовым предприняли бы попытку избавиться от мавра, сделавшего свое дело, и, опираясь на армию и внутренние войска, разгромить макашевско-баркашевское отребье. Скорее всего, им бы это удалось, хотя и не обязательно. Дело в том, что у «красно-коричневых» было серьезное преимущество: сильная, ясная, боевая, наступательная идеология русского шовинизма, ксенофобии, антисемитизма, весьма привлекательная для немалой части офицерства, находившегося в состоянии озлобленности и фрустрации как вследствие утраты Россией статуса сверхдержавы, так и в результате падения престижа и материального обнищания самой армии. Кроме того, история показывает, что в периоды потрясений именно крайние фракции способны проявить наибольшую энергию и боевитость, теснят и отодвигают умеренных, какими без сомнения выглядели бы Руцкой и Хасбулатов на фоне Макашева и Баркашева. Разумеется, это длится недолго, в конечном счете происходит откат, и экстремисты сходят со сцены, но все это может сопровождаться кровопролитием. Если все же исходить из того, что Руцкой с Хасбулатовым консолидировали бы свою власть, последовала бы борьба уже

между ними. В любом случае о стабильности уже не могло быть и речи. Самым опасным для России могло быть то, что нерусские республики Российской Федерации восприняли бы установление нового режима с крайним недоверием, видя в нем торжество русского шовинизма, и взрыв сепаратистских настроений был бы практически неизбежным. К этому времени уже имелся прецедент — дудаевская Чечня, и кто знает, какие еще республики захотели бы как можно больше дистанцироваться от Москвы? Если же говорить о внутренней обстановке, то, хотя ни Руцкой, ни Хасбулатов не подходили на роль фашистского диктатора, тот идейный багаж, с которым они выступали против Ельцина, не мог бы быть просто отброшен в сторону; для того чтобы успешно состязаться с экстремистами, умеренные должны были бы перехватить у них знамя беспощадной борьбы с врагами русского народа — и доказать свою преданность великодержавной идее. Судьба демократических попутчиков, надеявшихся, что защита Верховного Совета от диктаторских поползновений Ельцина будет означать сохранение свободы, завоеванной в 91-м году, была бы плачевной. Уж нечего и говорить о том, какой резонанс победа националистической и антидемократической коалиции вызвала бы на Западе; о кредитах и инвестициях пришлось бы забыть.

А надежды населения на то, что устранение Ельцина будет означать решительный перелом к лучшему, несомненно, обернулись бы жесточайшим разочарованием: во-первых, неизбежная политическая нестабильность исключила бы возможность проведения продуманной долгосрочной экономической политики, и, во-вторых, процесс

становления новых имущих слоев, перераспределения собственности, консолидации структуры нового российского капитализма со всеми его безобразиями зашел уже слишком далеко. «Новые русские» уже не могли исчезнуть, раствориться; все те, кто дорвались или мечтали дорваться до обладания экономическими рычагами или просто создать свой бизнес, включая миллионы новоиспеченных коммерсантов, разного рода мелких и крупных дельцов, «челноков» и т. д., ни за что не потерпели бы возвращения к старым порядкам, и власти, чтобы избежать серьезных беспорядков или даже кровопролития, были бы вынуждены смириться с тем, что перемены уже необратимы. Значит, в этом плане, наиболее важном для населения, никаких принципиальных изменений не могло бы произойти.

Суммируя все эти соображения, можно придти к выводу, что поражение Ельцина в 1993 году могло бы иметь только отрицательные последствия для России. Решительность президента в борьбе с мятежниками была оправдана; при всем сочувствии к жертвам осеннего противостояния приходится признать, что, по всей вероятности, число таких жертв было бы несравненно больше, если бы противостоявшая Ельцину коалиция одержала бы верх.

Нельзя отрицать, что в строго юридическом смысле решение Ельцина распустить Верховный Совет в сентябре 93-го года было неконституционным и может даже быть квалифицировано как государственный переворот. Альтернатива, однако, была бы намного хуже.

Мне приходилось впоследствии немало спорить с людьми, являющимися в принципе моими единомыш-

ленниками, но в вопросе о «расстреле парламента» упорно придерживающимися той точки зрения, что это было преступление. Я пытался доказать им, что сами по себе такие формулировки, как «расстрел» или «штурм» парламента не подходят к ситуации, о которой идет речь. «Штурмовать» парламент вообще нельзя, его можно распустить, что Ельцин и сделал. Штурмовать можно объект, здание, и то, что произошло 3 октября, действительно было штурмом, но не парламента как такового, а того здания, в котором он заседал, — здания, превращенного к этому моменту в очаг мятежа. Необходимо ли было вести по этому зданию огонь из танковых орудий — это другой вопрос; скорее всего, это была демонстрация силы для того, чтобы заставить засевших там людей быстрее сдаться. Конечно, само по себе это зрелище было отталкивающим, многие не могут ни забыть, ни простить этого, и их тоже можно понять. А на Западе впечатление было вообще ужасающим, однако шок длился недолго.

Ясно одно: к началу осени 93-го года противостояние президента и парламента дошло до кризисной точки, компромисс был уже невозможен. Даже если отвлечься от того факта, что реальной вооруженной силой сторонников Верховного Совета были отряды черносотенцев, а их лидерами — беспринципные амбициозные политики, следует признать, что и сам по себе Верховный Совет к этому времени объективно превратился в оплот сил, представлявших (независимо от субъективных намерений и взглядов тех или иных парламентариев) реакционные, ретроградные и реваншистские тенденции общественного развития. Попытка свергнуть Ельцина и овладеть Кремлем была по существу вторым изданием

акции, предпринятой в августе 91-го года гекачепистами. Успех этой попытки означал бы, в отличие от того, что могло произойти в случае победы ГКЧП, не восстановление Советской власти — для этого было уже слишком поздно, времена изменились, — но крупный шаг назад от того, что уже было достигнуто сначала при Горбачеве, а затем при Ельцине, в плане перехода от тоталитаризма к плюралистическому и эвентуально демократическому обществу.

Тогда далеко не все это понимали, многие не согласятся со мной и сейчас. Настроение в Москве было подавленным. Первые последствия октябрьских событий, казалось, подтверждали худшие опасения. Правда, никакой диктатуры Ельцин не установил и парламентскую систему не уничтожил, вопреки пророчествам некоторых моих коллег, говоривших: «Ну все, теперь Ельцин ликвидировал единственный орган власти, который мог, при всех его недостатках, отражать волю населения, представлять его интересы, служить барьером против произвола и всевластия Кремля». Нет, этого не произошло. Выборы состоялись уже в декабре — но каков был результат? Я был в гостях у моих знакомых в Нью-Йорке, когда пришли первые сообщения о результатах. Мне сказали: «Только что по телевидению передали, что победила партия националистов». — «Какая?» — «Да какие-то либералы или демократы, но говорят, что на самом деле это русские шовинисты». — «Как, неужели партия Жириновского?» — «Да, вот-вот, невозможно запомнить фамилию». (Кстати, мне не приходилось ни тогда, ни потом встречать американца, который мог бы запомнить и произнести фамилию Жириновского.) Я так и сел.

Дожили. От коммунистов избавились — так вот к чему пришли... Значит, прав знаменитый польский диссидент Адам Михник, сказавший, что национализм — это последняя стадия коммунизма?

## РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ И РОССИЙСКИЙ ПАТРИОТИЗМ

**М**ой научный руководитель в Институте востоковедения Евгений Александрович Беляев однажды в конце 50-х годов в первый раз попал на Запад, в Англию. Когда я спросил его о впечатлениях, он, наряду с похвалами в адрес англичан, сказал: «Но вот, знаете, очень уж они смиренные какие-то». Я попросил его уточнить, что это значит. «Очень уж благонамеренные на наш вкус, законопослушные, благопристойные, нет вот у них нашего русского озорства, лихости какой-то что ли, но правилам живут, все размерено, расписано». То же самое русский человек может сказать — и говорит — о немцах, шведах, голландцах и других западноевропейцах. Недаром ведь Паратов у Островского в «Бесприданнице» презрительно бросает по адресу судового механика, отказывающегося прибавлять пару сверх положенного: «Эх ты! Иностранец... Голландец. Арифметика вместо души-то!» С американцами, правда, сложнее — буйства много в Америке, там, как говорится, не соскучишься. Но, кстати сказать, в повседневной жизни никакого буйства и безобразий не увидишь, если не заходить поглубже в районы, населенные неграми, пуэрториканцами или кубинскими



иммигрантами в Майами (ох, попало бы мне за эту «политически некорректную» фразу от американского интеллектуала, хотя он знает, что это сущая правда). Это по телевидению в бесконечно показываемых нам американских боевиках сплошной мордобой и убийства, а в действительности можно жить в Штатах долгие годы и ничего этого не увидеть. Мне не доводилось там вращаться среди «низших классов», а жизнь интеллигенции и в самом деле выглядит довольно размеренной, монотонной и, на наш взгляд, скучноватой. Должен признаться, что я испытывал скуку от этих однообразных, шаблонных американских посиделок и вечеринок, называемых «парти». За редкими исключениями, я не наблюдал интересных дебатов, споров о «глобальных проблемах», рассуждений на высокие темы. Читать американскую публицистику — весьма острую, умную (конечно, я не имею в виду «популярные» журналы и газеты) мне было гораздо интереснее, чем разговаривать с моими коллегами-профессорами. Естественно, американская молодежь — это совсем другое дело, там шума, гама, ожесточенных споров хоть отбавляй. Но в целом, повторяю, я могу понять русских людей, для которых жизнь на Западе выглядит скучной, чересчур размеренной и регламентированной, лишенной «перца». Приходилось слышать: «Да с ними и поговорить-то не о чем». Но ведь это относится не только к американцам. Однажды, находясь в Израиле, я видел по телевидению интервью с приехавшими из России молодыми иммигрантами; один парень говорил: «Я вообще могу общаться только с нашими девушками, которые из России, а с израильскими девчонками — никакого контакта». Ему вторила девушка,

уроженка Киева: «С этими сабрами (коренными израильтянами. — Г. М.) совсем неинтересно, я только среди наших и тусуюсь». Эти молодые люди — евреи, но менталитет у них, конечно, чисто русский; они, без сомнения, приживутся в Израиле, будут преданы своей новой родине, будут лояльно служить в армии, но чего-то им будет все равно не хватать. Так уж устроен российский человек: за границей ему не по себе. И жить там несравненно лучше, и материальный достаток — с нашим не сравнить, а все равно: нет, не то.

В какой-то мере это, конечно, присуще всем эмигрантам вообще; думаю, что и китайцы, и поляки, и арабы испытывают ностальгию по родине, Америка и Англия для них все-таки чужая земля. Но эта вполне естественная ностальгия, по моим наблюдениям, не в такой степени сопряжена с убежденностью в превосходстве своего родного народа над другими, как это имеет место у русского человека.

Русские люди с давних времен обладали двумя комплексами по отношению к Западу: первый — это комплекс неполноценности: всегда было известно, что там жизнь лучше, там порядок, люди живут богаче, нет такого, как у нас, воровства, взяточничества, произвола власти. Второй, противоположный — комплекс превосходства, как бы компенсировавший первый: но зато у нас душевность, духовность, доброта и широта души, мы живем по совести (подразумевается: по совести, а не по закону; и что такое закон для русского человека? Нечто сухое и формальное, ограничивающее и ущемляющее людей, а кроме того — «закон что дышло»). Сочетание этих двух комплексов породило устойчивый стереотип: Запад —

чужой для нас, чуждый и чаще всего враждебный, мы не такие, как они, и не хотим быть такими, живем в дерьме — ну и наплевать, уж какие есть, такие и есть.

При этом, однако, поразительная вещь: подлинно этнического национализма в России не было. Частично это можно объяснить тем, что фактор этнического происхождения, «крови» не представлялся существенным. «Славянская кровь» не имела значения: для того чтобы быть «своим», достаточно было быть православным и верноподданным государя. Русский этнос выражал свою самобытность не в этнолингвистическом и культурном плане, а в соответствии с критериями религии и государственной принадлежности (подданства царю). Не было и подлинно националистической идеологии. Славянофильство выдвигало не концепцию русской славянской нации, а мессианскую идею России как вождя семьи славянских народов в соответствии с тезисом о «Третьем Риме»; православие и державность, а не «русскость» были краеугольными камнями идеологии славянофилов. Консолидации русской нации препятствовала пропасть между верхами и низами, о которой Герцен писал: «Между образованным классом и народом — полный разрыв; иная одежда, иной язык, иные мысли, словом, две разных России...» Конечно, и дворяне, и крестьяне сознавали, что они — русские люди, православные, но этого оказалось недостаточно. Развития национального самосознания не получилось. В России так и не было сделано того сознательного усилия, которое необходимо для превращения этноса в нацию. То, что существовало в России к началу двадцатого века, трудно назвать подлинной нацией, какой бы дефиницией данного термина

мы ни руководствовались. Была держана, возникла своего рода надэтническая имперская «сверхнация», имевшая в качестве ядра русский этнос, верхушка которого обладала державным, имперским, но не национальным самосознанием.

В 1917 году русские солдаты и матросы зверски убивали своих офицеров, прекрасно зная, что те — такие же русские православные люди, как и они сами; убивали не потому, что видели в этих конкретных личностях своих угнетателей и эксплуататоров-кровопийц, а потому, в первую очередь, что вырвалась на поверхность давняя ненависть к чужим, к «белой кости», к людям иной культуры и иных ценностей. И не к каким-нибудь отдаленным «чужим», с другим языком и другой верой, а к тем, кто во многом близок и родственен, но именно поэтому и грешен, виноват, должен отвечать за все несчастья. На этих-то «чужих», на «образованных», на тех, кто тоже представлял Россию, но «другую Россию», был как бы перенесен укоренившийся где-то в глубине народного сознания комплекс враждебности ко всему иному, «не нашему», по сути своей идущему от Запада. Столкнулись, наконец, эти герценовские «две России», образовавшиеся двумя столетиями раньше, после петровской «вестернизации», и солдат, мужик был убежден, что он-то и есть Россия, а офицер, «кадет» принадлежит к иному, чужому, нерусскому миру. Этническая однородность не спасла Россию от катастрофы.

В первые два советские десятилетия о русском национальном самосознании не стоило даже и заикаться. Русский национализм был знаменем врагов, белогвардейцев, в противовес ему был выдвинут пролетарский

интернационализм. Лишь во время Отечественной войны Сталин стал апеллировать к патриотизму, к национальным чувствам русского народа; он понял, что люди могут пойти на смерть не за колхозы и совнаркомы, а за Россию.

Признавая нации и даже поощряя развитие национальных языков и культур, Советская власть в то же время старалась слить их в единую новую общность, именовавшуюся «советский народ». Это понятие было лишь новым изданием термина «подданный государя императора», оно не имело национальной нагрузки, не могло вытеснить этнического самосознания.

Два великих события двадцатого века в России — крах самодержавия и распад Советского Союза — положили конец всем искусственным, суррогатным «сверхнациональным» имперским конструкциям в сфере общественного самосознания. Ушли в прошлое такие понятия, как «подданные империи» и «новая историческая общность — советский народ». Из-под обломков этих конструкций показалось подлинное лицо этносов и наций. Все встало на свои места. Непременный строитель нации — образованный авангард, исповедующий идеологию национализма, — получил возможность заговорить в полный голос. Моментально перекусившаяся в национальные цвета советская партократия воцарилась в новых республиках СНГ. Национализм занял доминирующие позиции в общественном сознании — но не везде, а в первую очередь в «нерусских» республиках. Русский национализм выглядит запоздавшим и более слабым по сравнению с тем, что расцвело в бывших периферийных регионах.

Это закономерно: ведь в принципе национализм, базирующийся, как и этническое самосознание, на дихотомии «мы — они», процветает на почве ненависти к историческому врагу, извечному угнетателю, оккупанту. Русских же с незапамятных времен никто не завоевывал, они сами были господствующим элементом в империи, им не на кого обижаться и не на кого сваливать свои грехи. Крах сверхдержавы — дело рук самих русских, сколько бы ни кричали «патриоты» о заговоре ЦРУ или о происках масонов и сионистов. В упомянутой дихотомии у русских присутствует лишь достаточно явно выраженное «мы», а вот «они» — понятие неясное и неубедительное. И как раз для того, чтобы создать вторую часть этой дихотомии — образ извечного врага, грозящего России, ее духу, ее ценностям, и тем самым резко усилить первую ее часть — самосознание, это превалирующее над всем остальным «мы», — для этого нашим неославянофилам, квазипатриотам и пригодилась та самая застарелая, подспудно всегда сидевшая где-то глубоко в сознании русского человека враждебность к Западу, олицетворяющему все чужое, подрывное, разрушительное, пагубное для России. «Двойной комплекс» по отношению к Западу, фактически не умиравший и при Советской власти (вспомним тезис о капиталистическом окружении, о врагах, обступивших нас со всех сторон, но прежде всего со стороны буржуазного Запада), возродился в сознании многих людей с новой силой, питаемый на этот раз травмой, которую нанес русским людям крах сверхдержавы, упадок влияния и престижа России в мире.

Конечно, делаются попытки найти врага России и поближе к дому, среди соседей по СНГ, бывших советских

родственников, особенно мусульман-кавказцев. Эти попытки имеют, помимо пропаганды неославянофилов, и объективную основу. Дело в том, что после отделения от России бывших союзных республик русские впервые ощутили но-настоящему свою этническую самобытность. В прежнее время им, как части «советского народа», противостоял остальной мир; теперь же другие, оторвавшиеся ветви того же советского дерева сами стали частицей этого чужого «остального мира». Русские остались наедине с собой, хотя и не вполне; в рамках многонациональной Российской Федерации они первоначально как бы растворились в возрожденном старом понятии «россияне», призванном утвердить единство всех граждан федерации, независимо от их этнической принадлежности. И многие надеялись, что на место сгинувшей советской общности придет «общность россиян». Но события последующих лет, особенно война в Чечне, стали охлаждающим душем. Внезапно выяснилось, что лояльность «нерусских россиян» по отношению к Москве отнюдь не может считаться гарантированной, пошли разговоры о том, что Российская Федерация, возможно, разделит судьбу Советского Союза. Многие стали думать, что термин «россияне» не может заменить понятие «русские», что в конце концов у русского народа — своя особая судьба, не обязательно сопрягающаяся с судьбой татар или кавказцев. Результат — появление русского этнического национализма, крайние выражения которого можно видеть в идеологии «национал-патриотов», замешанной на шовинизме, ксенофобии и антисемитизме. Но на этом направлении есть трудности исторического характера. Ведь русские, как я уже упоминал,

никогда не делали упор на «чистоту крови», в русском народе намешано много «кровей», и с давних времен крещеный татарин, принявший православие немец или поляк, не говоря уже о христианах — грузинах и армянах, легко вписывались в российское общество, становились частью правящей элиты. Значительную, а иногда даже преобладающую часть российской аристократии составляли выходцы из нерусских этносов. Да даже и к некрещеным, к мусульманам не было, по существу, явно враждебного, непримиримого отношения; разумеется, их презирали, называли нехристями и басурманами, но ненависти не было; в глазах русских людей они выглядели скорее как неразумные, неполноценные, слепые, лишённые Божьей благодати или заблудшие овцы, достойные сожаления. Напротив, такие «братья-славяне», как поляки, вызывали активную неприязнь: «латины», представители ненавистного католического, т. е. еретического, Запада (кстати сказать, именно это исключение де-факто поляков из славянской семьи полностью обесценивало саму идею панславизма). И в силу всех этих причин попытки утвердить русское национальное самосознание на антимусульманском факторе не сулят квазипатриотам особых успехов. Значит, опять-таки остается Запад как главный враг России, наряду, конечно, с прочими врагами — евреями, кавказцами, мусульманами.

Именно эти настроения и использовал Жириновский, они в основном и предрешили успех его партии на выборах 93-го года. Миллионы людей, для которых баркашевско-макашевские черносотенцы являются одиозными экстремистами, проголосовали тем не менее за жириновцев, идеи которых не намного пристойнее. Но ЛДПР —



это ведь только частичка (и не такая уж особенно опасная для общества, как показала вся последующая деятельность этой партии) того широкого спектра националистического, а точнее — шовинистического — течения, которое дало о себе знать в последние годы. В это течение входят (или примыкают к нему идейно, сочувствуют в различной степени) люди, принадлежащие к другим партиям или вообще стоящие в стороне от партийной жизни, но занимающие влиятельные позиции в чиновничьем аппарате, армии и силовых структурах, в сферах культуры и искусства, в средствах массовой информации. Это течение поддерживают — в тех или иных его аспектах — и довольно широкие круги населения, причем не только полунищие провинциальные массы, но и часть образованной столичной молодежи. В этом опасность. Направленный своим острием против Запада, этот новый (хотя имеющий древние корни) национализм не только поднимает национальное знамя, но и пытается аккумулировать социальный протест, сплотить под своим крылом как тех — очень и очень многих, — которые испытывают боль и унижение вследствие крушения великой державы, так и тех — а их еще больше, — кто не желает примириться с обнищанием и криминализацией общества, с упадком нравов и утратой духовных ценностей. Новый национализм спекулирует на вполне обоснованном и справедливом возмущении масс царящим в стране беспределом, бездарностью и коррумпированностью властей всех уровней, безнравственностью и безнаказанностью нынешних «хозяев жизни». Во всем этом обвиняется демократия, а она идет с Запада, вот все логически и сходится. Западные ценности, в том числе

демократия, неприменимы к нашей стране и неприемлемы, противоречат русскому национальному духу — таков прямо высказываемый главный тезис сторонников «особого пути» России, приверженцев пресловутой «русской идеи». Как же все это знакомо! Сколько же говорено об этом на Руси во все времена! Вновь и вновь бьют копытами неугомонные кони, опять мечты о величии, державности, поиски сверхнациональной мировой идеи, проповедь вселенской миссии России. Мы — не как все, мы — особые.

Вдумаемся: в чем величие России, чем мы можем гордиться?

Я полагаю, что Россия обогатила человечество своей культурой, литературой, искусством и наукой. Этого никто не отнимет, даже если мы откажемся от того, чтобы будоражить мир глобальными державными идеями. Гений России вечен.

Те, кому этого мало, испытывают ностальгию по прошлым векам, когда российская армия маршировала по Европе. Приятно вспомнить: «От Урала до Дуная, до большой реки, колыхаясь и сверкая, движутся полки...» Да только что эта великодержавность дала народу?

Иногда кажется, что апологеты «особого пути России» просто-напросто уверены, что в нормальной жизни, в которой люди добросовестно работают, производят и потребляют, Россия все равно не догонит Запад. Так вот вам, в виде компенсации этого явного комплекса неполноценности — старая песня: мы не такие, как все, у нас особая роль и особая миссия, умом Россию не понять, у нас духовность и соборность, а не мещанские материальные заботы, нам надо возродить величие.

А кто мешает возродить это утраченное величие? Конечно, Запад со своей демократией, растлевающей и подрывающей дух русского народа. И под этим лозунгом группируются все, кому ненавистны такие ценности, как свобода, права человека, плюрализм, идея гражданского общества. Тяжелым, затхлым духом деспотизма и насилия разит от антизападных, антидемократических проповедей современных наследников славянофилов. Их идеи противоречат всему стержню российской истории, вектор которой всегда был устремлен на Запад, в Европу. Да, конечно, в русских много восточного, идущего как от Византии, так и от татаро-монгольского ига, но это не значит, что Блок был прав, утверждая: «Да, скифы мы, да, азиаты мы...» Русская культура в целом — европейская, и русские всегда тяготели к Западу, а не к Востоку, и православие, при его византийских корнях — все-таки ветвь христианства, западной в принципе религии. При всей своей давно описанной специфике Россия все же входит в ареал общей христианской, по сути своей западной, цивилизации.

А как быть с нерусскими народами федерации? В отношении большинства из них можно сказать, что между ними и русскими нет серьезных различий в сфере культуры, менталитета, духовных и бытовых интересов и предпочтений. Побывав в Татарстане уже в постсоветский период, я убедился в полной совместимости русских и татар в плане менталитета, поведения, образа жизни. Между татарами и русскими нет враждебности, антагонистических чувств, нет как комплексов превосходства, так и комплексов национальной приниженности, есть взаимное уважение, много смешанных браков, нет проблем с языком.

Вообще менталитет «постсоветского человека», унаследовавшим многие черты Homo Sovieticus, очень близок или сходен во всех регионах бывшего Союза; например, молодые люди как в России, так и в других республиках федерации по своему духу, образу жизни, интересам и привычкам очень мало отличаются друг от друга.

Русская нация не сформировалась ни при самодержавии, ни при Советской власти: в дооктябрьскую эпоху не было духовно-культурного единства (вспомним опять «две России»), а в советские времена такого рода единство возникло (была осуществлена нивелировка общества, устранена разница между «низами» и «верхами», так что духовные ценности, интересы, вкусы колхозно-заводского «работяги» и цеховского сановника были практически одинаковы — ведь номенклатурщики действительно были выходцами из народа), но оно не основывалось на этническом и национальном самосознании, а было растворено в широкой и аморфной общности («советский народ»). Теперь эта нация может сформироваться либо как русская (этническая), либо как российская (гражданская). В рамках гражданской нации татары, чувашы, коми или осетины вполне могут не ощущать своей «инаковости», а напротив, сознавать общность судьбы с русским этносом, ту именно общность, без которой невозможно становление нации. Но базой для такого развития может быть только **гражданское общество**, немыслимое, в свою очередь, без укоренения демократических начал. Авторитаризм в условиях России почти неизбежно ведет к этнократии с пагубными последствиями как для русских, так и для прочих народов нашей общей земли — Российской Федерации.

Гипотетический авторитарный или диктаторский режим в России, помимо обязательного для него лозунга «наведения порядка», будет стремиться воодушевить народ идеей державного величия. На какой основе? При царе такой основой были традиции православия и самодержавия, при большевиках — социальная утопия коммунизма. Наша новая диктатура уже не будет иметь таких ресурсов — ни религиозно-монархических традиций, ни социально-утопических уравнилельных идеалов. Это будет холостая, лишённая стержня и недолговечная диктатура, но бед она успеет натворить немало.

Вот на такие мысли навело меня услышанное в Нью-Йорке известие о победе националистов на выборах в России.

### **ИРЛАНДЦЫ И БРИТАНЦЫ, УКРАИНЦЫ И КАЗАХИ**

**Я** еду на такси из аэропорта Белфаст в Лондондерри. Таксист — ирландец, католик, это видно с первой же секунды, вместо «Лондондерри» он говорит «Дерри». Я спрашиваю его: «Мне интересно: вот вы ирландец, не англичанин, но ощущаете ли вы себя британцем?» Он решительно отвечает: «Нет». Тот же вопрос я задаю в гостинице в Дерри обслуживающему персоналу; ответ абсолютно аналогичный: «Мы ирландцы, не британцы, понятие «Великобритания» для нас чужое, королева — не наш символ. Если бы был референдум, мы единодушно проголосовали бы за присоединение к республике»

(Ирландии)». Они знают, что референдума не будет, и если бы даже он состоялся, это ничего бы не изменило, поскольку большинство в Северной Ирландии составляют протестанты («лоялисты»), а не католики («юнионисты»); кстати, название «Ольстер» употребляют только протестанты. Они знают, что государство, к которому они страстно желали присоединиться в течение многих десятилетий — Республика Ирландия — официально отказалась от идеи воссоединения, «кинула» их. Они, юнионисты, обречены жить в Великобритании.

В Дерри почти все жители — католики, особых проблем нет, но вот в Белфасте смешанное население. Странное впечатление производит этот красивый современный город, богатый и оживленный: все вроде бы как и везде в Западной Европе, но вот при входе в супермаркет — контроль, проверка, как в аэропортах, а на перекрестках патрули британской армии в камуфляже; я собрался было однажды их сфотографировать, но мой спутник мягко взял меня за руку: «Не думаю, что это была бы хорошая идея», — сказал он в типично британском духе. Меня провезли по кварталу, где стены домов покрыты надписями «ИРА победит», хотя, конечно, активистов Ирландской республиканской армии я не видел. На «католической» улице позади тыльной части всех домов — стена, отделяющая их от тыльной стороны домов, стоящих на параллельной «протестантской» улице. На работе все трудятся вместе, и в университетских классах сидят рядом студенты, принадлежащие к обоим общинам, но потом идут домой или в места увеселения отдельными компаниями. Полное взаимное отчуждение. Две нации. При этом все говорят на одном и том же языке, и не только

в Северной Ирландии, но и в республике, куда мне повезло заглянуть на один день: надписи на улицах на обоих языках, английском и гэльском, но слышать довелось только английскую речь. Таким образом, общность языка ничего не значит, впрочем, как, например, и в бывшей Югославии, где и сербы, и хорваты, и босняки, совсем недавно безжалостно убивавшие друг друга, говорят на одном языке, или в Ливане, где ненавидящие мусульман христиане-марониты говорят, как и те, по-арабски. Значит, все дело в религии? Тоже вовсе не обязательно: франкоязычные канадцы, по крайней мере значительная часть их, стремятся выйти из состава Канады отнюдь не из религиозных побуждений; иракские курды — такие же мусульмане, как и арабы, но ощущают себя совершенно отдельной нацией и рвутся прочь от багдадской власти из последних сил. А если подумать о чехах и словаках — между ними вообще и языковые, и религиозные различия минимальны. Иначе говоря, существуют общности, общины, чувствующие себя иными или даже вообще чужими, в рамках того государства, в котором они проживают. Эти общности сами себя считают нациями; можно их назвать квазинациями, но от этого ничего не меняется. Главное — это осознание «общей судьбы», общая культура и менталитет.

Католики-юнионисты в Северной Ирландии не одиноки в своем непризнании принадлежности к некоей «большой британской нации». Многие шотландцы, с которыми я разговаривал, также заявляли: «Мы не только не англичане — это-то само собой разумеется, — но мы вообще не хотим быть частью Великобритании, и у нас нет никакого британского патриотизма, со временем мы

будем жить в независимой Шотландии». Жители Уэльса, валлийцы, так далеко не заходят, но однажды в центре Лондона я видел автомобиль, на номерном знаке которого было написано: «Счастье состоит в том, что ты знаешь, что ты валлиец». Мне даже стало грустно: неужели дело идет к распаду одного из величайших государств мира, наложившего уникальный, могучий отпечаток на всю историю человечества?

А что у нас? Прежде всего вызывает интерес, конечно, Украина. Да, бесспорно, украинцы — такой же славянский народ, как и русские, в этническом плане, вероятно, даже более «чисто славянский» — ну и что? Славянская общность в политическом смысле всегда была не более чем химерой, славянофильской утопией. Какая общность, какое сознание единой судьбы при тех взаимоотношениях, которые существовали веками между русскими и поляками, между сербами и хорватами, между болгарами и сербами? Но вот украинцы... С одной стороны, конечно, заметная разница в менталитете, обычаях, хозяйственных навыках; помню, на границе между тогда еще советскими Украиной и Россией, в Белгородской области, мне показали деревни, расположенные на противоположных берегах реки: покосившиеся избы-развалюхи на одной стороне — и чистенькие «хатки быэньки» на другой. Язвительные шутки и анекдоты про «хохлов» и «москалей». Насколько все это важно? Ведь народы, веками живущие бок о бок, обычно вообще не испытывают друг к другу теплых чувств, достаточно посмотреть на карту мира и подумать: как относятся французы к англичанам и немцам, испанцы к португальцам, венгры к румынам, болгары к румынам, грекам, сербам и туркам,



персы к арабам, китайцы к японцам, вьетнамцы к китайцам, камбоджийцы к вьетнамцам и т. д. Непосредственных соседей обычно недолюбливают, симпатии испытывают к тем, с кем нет общей границы, повседневного соприкосновения. Поэтому недружественные стереотипы, давно укоренившиеся во взаимоотношениях украинцев и русских — дело обычное, нормальное, в принципе не препятствующее сосуществованию без серьезных конфликтов. Я давно уже заметил наличие двух типов украинского национализма: один — «номенклатурно-карьерный» национализм, жажда большей степени автономии от центра: носители этого псевдонационализма — киевские сановники, с трудом изъяснявшиеся по-украински. Другой — «почвенный», или «языковый и культурный», национализм, культивировавшийся литераторами, профессорами и студентами, направленный на возрождение украинского языка и культуры, с непременным акцентированием различий между двумя нациями и с тайной мечтой о «незалежности». Со временем главным очагом этого второго типа национализма стала Западная Украина, особенно Галиция и в первую очередь Львов (теперь Львів). Этот прекрасный город полюбился мне с первого взгляда. Одно из самых сильных впечатлений у меня было связано с посещением величественного военного кладбища, устроенного, разумеется, еще до советских времен; у нас таких отродясь не было и нет. К похороненным там польским военным в конце войны добавились могилы офицеров Красной Армии. Так вот, я обратил внимание на то, что почти у всех у них дата гибели приходится на один из весенних месяцев 1945 года, притом что Западная Украина была освобождена от немцев осенью

1944-го. Стало ясно, что они были убиты бандеровцами, украинскими националистами, которые сначала враждовали с немцами, подавившими их попытки создать самоуправление, а потом начали многолетнюю войну против Советской власти. Отголоски бандеровщины я уловил в забавном эпизоде, происшедшем, когда мы, группа офицеров с золотыми погонами, но в пилотках и кирзовых солдатских сапогах, прогуливались по бульвару между оперным театром и памятником Мицкевичу. Со скамейки вдруг поднялась пьяная личность и хрипло прокричала: «Хай живе Степан Бандера и его жінка Параска!» — после чего свалилась обратно. Тогда Бандера был еще жив, за границей, потом его убьет советский агент. Спустя чуть ли не сорок лет я узнал, что во Львове (ставшем, разумеется, уже Львівом) местные власти решили поставить Бандере памятник, а Галиция стала очагом самой оголтелой русофобии.

В 90-х годах, когда я преподавал в Америке, я разговорился в Принстонском университете со стариком, бывшим украинским националистом, пришедшим послушать мою лекцию о России и Украине после падения Советской власти. В 40-х годах он воевал против Красной Армии. «Вы бандеровец?» — спросил я. «Вовсе нет, я был бульбовцем». В Полесье, на границе с Белоруссией, где живут «полешуки», был свой, соперничавший с Бандерой, партизанский командир, взявший в качестве псевдонима имя Тараса Бульбы и пытавшийся создать независимую «Полеську Січ». Старик напел мне даже песню, нечто вроде гимна бульбовцев: «Ой, не забудуть рейхскомиссары та политруки, як за свободу свого народа шли полешуки! Ой, не забудуть нашої Січі німці

та москалі ми ще поставим жовтоблакитний на самому Кремлі!» (Имелся в виду желто-голубой украинский флаг.) Спустя полвека старый бульбовец был доволен: «его» люди пришли-таки к власти.

В Киеве, куда я ездил с лекциями каждый год, украинского языка почти не было слышно, разве что в трамвае попадетя деревенская старуха, приехавшая за покупками. Но это отнюдь не значит, что среди какой-то части населения не было достаточно сильного и ясного национального самосознания. Было. Помню, подошел я к памятнику Богдану Хмельницкому в Киеве и встал рядом с каким-то стариком, который, не обращая на меня внимания, вдруг громко произнес: «Ой, Богдане, Богдане, шо ж ты зробив? Ты продав Україну москалям поганим». Я посмотрел на него с изумлением; позже мне сказали, что это слова Тараса Шевченко. Не могу ручаться, не проверял.

Отвечая на многочисленные вопросы в Америке в начале 90-х, когда немало моих коллег под свежим впечатлением войны в Югославии опасались вооруженного конфликта между Россией и Украиной, я убежденно говорил: «Не бойтесь, этого не будет. Здесь нет ничего похожего на сербско-хорватско-боснийский кровавый треугольник; между украинцами и русскими нет страшного наследия пролитой крови, нет застарелой взаимной ненависти». Я придерживаюсь этого мнения и сейчас, несмотря на то, что на Украине всячески раздуваются «антимоскальские» настроения. Однажды, будучи в Гарварде, я заглянул в Центр украинских исследований, отпочковавшийся от Центра советских исследований, и стал в библиотеке листать украинские газеты. В одной из

провинциальных газет я увидел большую статью, озаглавленную «Севастополь — Місто української слави». Стремясь опровергнуть известную формулировку «Севастополь — город русской славы», автор пытался доказать, что во всех российских победах на Черном море, равно как и в эпопее обороны Севастополя во время Крымской войны, решающую роль играли этнические украинцы — моряки и солдаты. Под статью этой статье были и многие другие; все это производит удручающее впечатление. А чего стоит недавнее сообщение о том, что якобы украинские власти хотят переименовать Севастополь в Севастомісто, Симферополь — в Симферомісто и т. д. Надеюсь, что до такой несусветной глупости дело не дойдет, но кто знает? Ведь после того как в момент распада Советского Союза оба типа украинского национализма объединились и мгновенно перекрасившиеся в «жовто-блакитные» цвета коммунисты перехватили у Руха знамя «незалежности», галицийские «самостийники» совершенно распоясались.

С одной стороны, делаются невероятно глупые, абсурдные и смехотворные вещи — взять хотя бы ту же историю с Севастополем. В украинских газетах, которые я читал в Гарварде, я нашел забавную историю о состоявшемся в Киеве первом украинском «конкурсе красуль» (красавиц). Девушкам, как известно, полагается, помимо появления в вечерних платьях и купальниках, еще соперничать в сфере интеллекта, т. е. отвечать на вопросы. В Киеве этой части конкурса не было, и на вопрос «почему?» организатор шоу ответил: «Да ведь эти... ни слова по-украински правильно сказать не могут». Мне рассказывали, что в киевских школах ученики на уроках,

естественно, говорят по-украински, а на перемене — по-русски. Тираж русскоязычных газет и журналов неизмеримо превышает тираж украинских. Да, сейчас это еще так, но, с другой стороны, кто поручится, что так и останется? А может быть, через десять-двадцать лет новое поколение будет владеть русским не лучше, чем сейчас они владеют английским? Кажется невероятным, но — подумаем, подумаем... Административный ресурс властей весьма велик, и если все время бить в одну точку, может и получиться. Уж нам ли не знать, как власть с ее мощным пропагандистским аппаратом может «промыть мозги», причесывать население под свою гребенку?

Односторонняя пропаганда, монополизировавшая средства массовой информации и систему образования, может сделать очень многое. Разговаривая — и у нас, и за рубежом — с людьми, принадлежащими к конфликтующим нациям, общностям, этническим и даже социальным группам, я всегда поражался тому, как можно одну и ту же ситуацию, одно и то же событие интерпретировать совершенно противоположным образом. Возьмем любой пограничный конфликт: каждая из сторон утверждает, что первой начала стрелять другая сторона, и люди верят в «свою» версию, а другая версия отвергается с порога — просто потому, что заранее известно: виноваты «те», они всегда врут, а наши, конечно, правы. Поразительно? Вовсе нет. Чтобы это понять, достаточно привести простой пример из совершенно иной области: футбольный матч. Сколько раз я, находясь на трибуне «Динамо» или Лужников, наблюдал такую картину: динамовец дает подножку спартаковцу, судья назначает штрафной, и половина стадиона шумно радуется («пра-

вильно!»), а другая половина орет: «Судью на мыло!» А ведь эпизод произошел у всех на глазах; в чем же дело? В том, что болельщики пришли на игру, будучи уже запрограммированными, заранее убежденными в том, что в любом столкновении «наши» всегда будут правы. Изначальная предвзятость способна опровергнуть даже то, что видишь своими глазами — что же говорить о событиях, которые мы не видим, которые разворачиваются за сто километров от нас, о которых мы только узнаем по радио, из официальных сообщений, преподносящих все в черно-белом цвете? Мудрено ли, что одна и та же ситуация оценивается диаметрально противоположным образом по разные стороны границы? В Пригородном районе Владикавказа, арене кровопролитных столкновений между осетинами и ингушами, я разговаривал с людьми, излагавшими мне совершенно взаимоисключающие версии недавних событий, причем одинаково убедительно, со ссылками на очевидцев, с цифрами и свидетельствами жертв...

Какое все это имеет отношение к языковой проблеме на Украине? Прямое. Ведь если человеку, начиная с детского сада, внушать, что настоящим украинцем, патриотом своей страны он может быть только, если он будет думать, говорить и читать на украинском языке, а русский — это язык чужого и недружественного государства, в прошлом угнетавшего Украину, — он вырастет односторонне ориентированным, запрограммированным человеком, уже априори недоверчивым и недружелюбным по отношению ко всему русскому. И если его еще лишит альтернативных источников информации, вообще лишит возможности выслушивать иную точку зрения

по данной проблеме — образ «антимоскальски» настроенного украинского националиста будет готов, тем более что все ровесники будут обработаны таким же образом и в силу вступит обычный конформизм: кому же захочется быть «белой вороной», рисковать быть названным предателем, фальшивым украинцем. Сейчас, конечно, до этого еще далеко, ничего похожего на тоталитарную диктатуру на Украине не видно, но кто знает, что будет завтра? Та бездарная и коррумпированная власть, которую мы наблюдаем на Украине на протяжении всего постсоветского периода, может довести экономическую и социальную ситуацию в стране до такого положения, что не будет иного выхода, кроме как пустить в ход безотказное оружие борьбы с внешним врагом, от которого все беды; таким врагом сегодня может быть только Россия.

Хуже всего то, что антирусская кампания опирается на некоторые неопровержимые факты: ведь действительно Украина в течение полутора столетий была неполноценной и второразрядной «Малороссией», а украинский язык был презираем и гоним. Действительно украинцы могут быть названы нацией в любом смысле этого термина, а украинский язык — это не испорченный вариант русского, а полноправный и самостоятельный язык, ничем не хуже и не беднее любого другого, и именно на нем и должны общаться жители независимого государства. Все это так, но при этом — как же быть с миллионами и миллионами людей, этнических русских или даже украинцев, для которых родным языком служит именно русский? Как быть с большинством населения Харькова, Донецка, Одессы и многих других городов? Ясно, что именно здесь таится угроза возникновения кошмарной

конфронтации, которой Украине до сих пор удавалось счастливо избежать, конфронтации, способной поставить под вопрос само существование унитарного украинского государства, за укрепление которого как раз и ратуют украинские националисты. Я уже не говорю о культурном аспекте всей этой ситуации, о том, насколько обделен будет украинский народ, оторванный от великого наследия русской литературы.

К сожалению, признаки такого прискорбного развития событий уже заметны. Несколько лет тому назад я был приглашен в Польшу — выступить в международной летней школе вблизи Гданьска. Там все было на английском языке, но, когда меня представили как московского профессора, я увидел, как глаза нескольких юношей сразу же загорелись недобрым огоньком. Все стало ясно после их злобных русофобских реплик и вопросов: это были украинцы. Возможно, их нельзя назвать типичными представителями украинской молодежи, недаром именно они были отобраны и посланы в летнюю школу, но это-то и удручает больше всего: если для того, чтобы получить некие привилегии, быть посланным, например, за границу, требуется доказать свои антироссийские настроения — чего же хорошего можно ожидать в дальнейшем? Если станет правилом, что для успешной карьеры вообще в любой области надо быть образцовым «щирым украинцем» — легко себе представить, как быстро начнут исчезать дружественные чувства по отношению к «старшему брату», его языку и культуре.

Побывав после Украины в Казахстане, я нашел там несколько иную картину. Чувствовалось, что люди, с которыми я в основном общался — сотрудники Центра



аналитических исследований при президенте Назарбаеве, — лучше говорят по-русски, чем по-казахски, и скорее всего думают на русском языке, хотя дома, возможно, разговаривают на казахском. Они все получили русское образование. Этим они не отличались от своих украинских коллег. Разница была в другом, и один молодой аспирант-казак объяснил мне суть того, что он назвал почти трагической ситуацией: слабость, неразвитость письменной казахской культуры привела к полному преобладанию русского языка, литературы, журналистики, науки. А в новом независимом государстве требуется форсированное развитие всего самобытного, своего, казахского — естественно, путем вытеснения, по мере возможности, русского культурного элемента. И казахи, воспринявшие русскую культуру, находятся под огнем со стороны националистов, называющих их обрусевшими, манкуртами. Правда, в Казахстане для того, чтобы доказать, что ты патриот, не требуется — по крайней мере сегодня — демонстративно дистанцироваться от всего русского; я не уловил в Казахстане никакой русофобии, кроме как в пока еще невлиятельных кругах ярых казахских националистов. Но многие представители власти уже пользуются «языковым рычагом» и добиваются преобладания казахского языка даже в тех сферах, где он, хотя и объявленный государственным, явно не может еще заменить русский. Еще опаснее кадровая политика: ведь в отличие, например, от Украины, где к большинству населения, по крайней мере городского, трудно даже применить критерий этничности: как вообще понять, кто перед тобой — русскоязычный украинец или украиноязычный русский, — все выглядят одинаково, все

владеют обоими языками — в Казахстане русского отличишь от казаха, естественно, с первого же взгляда. Преимущества, предоставляемые при поступлении на работу или в учебное заведение представителям «коренной нации», воспринимаются людьми «славянской крови» с горечью и беспокойством. Наиболее сложное положение в северных и восточных областях, где преобладает именно «русскоязычное» население. Ядром его являются казаки, потомки тех, кто присоединил к России и освоил этот край, построил станицы. Я слышал в Усть-Каменогорске такие разговоры: «Мы уезжать не собираемся, это вам не Узбекистан, это наша земля, и если мы отсюда уйдем, то только вместе с этой землей, ведь фактически наш регион — это часть Сибири». Но отпадение этих областей от Казахстана выглядит нереальным, и Россия не будет воевать с Казахстаном из-за Усть-Каменогорска или Семипалатинска, так же как не будет воевать с Украиной из-за Крыма. Вот и непонятно — что же будет с наследием России в этих краях через несколько десятилетий...

Дальше к югу — там дело яснее. В Самарканде женщина, работающая режиссером-документалистом, сказала: «Придется уезжать, и не потому, что меня кто-то притесняет, а потому что я не владею узбекским языком в такой степени, чтобы я могла на нем работать». Но и у местного нерусского населения свои проблемы в этническом плане. В прежние времена этнический фактор вообще не играл роли, и до большевистской революции местный житель в ответ на вопрос «кто ты?» ответил бы не «узбек» или «таджик», а «мусульманин из Ташкента (или Бухары, Ходжента и т. д.)». Все грамотное городское население знало фарси в его таджикском

варианте, это был язык культуры. Молот сталинской национальной политики раздробил складывавшуюся веками исламскую цивилизацию обширного региона, отныне разделенного на Узбекистан и Таджикистан, стал развиваться локальный этнический национализм. Конечно, ислам служит объединяющим фактором; мне довелось однажды побывать в Намангане, в Ферганской долине, на свадьбе. Я сразу увидел, что жених — узбек, а невеста — таджичка, и стал говорить об этнической проблеме. Жених улыбнулся и сказал; «Какая разница, мы мусульмане — и я и она». Так-то оно так, но я сразу вспомнил, как десятью годами раньше я ехал ночью на машине узбекского журналиста из Ташкента в Самарканд, и только уже при въезде в город он признался, что он таджик, хотя по паспорту узбек. «Почему?» — спросил я. «Чтобы здесь иметь хорошую работу, лучше быть узбеком» — был ответ. И этот журналист, и многие другие таджики с горечью говорили о том, что два великих города — Бухара и Самарканд — жемчужины таджикской культуры, были включены в состав Узбекистана. «Этот вопрос еще будет поднят в свое время» — таково было их мнение. Не знаю, посмотрим. Пока что более актуальной выглядит иная проблема: там же, в Намангане, меня познакомили с ваххабитами (их там называют на советский манер «ваххабистами»). Вежливые седобородые люди без обиняков заявили мне, что они никогда не отступятся от своей цели — создать исламскую республику первоначально в Ферганской долине, а там видно будет. Я вспомнил об этом, услышав недавно о действиях исламских боевиков на границах Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Да, уж чем-чем, а стабильностью в этом

древнем, внезапно вырвавшемся к новой жизни регионе и не пахнет...

В Намангане я также встречался с местным руководителем оппозиционной партии «Бирлик». На следующий день, уже в Ташкенте, я сидел дома у общереспубликанского лидера этой партии, когда раздался звонок из Намангана. Поговорив по телефону, мой хозяин рассмеялся: «Это звонил наш товарищ, с которым вы вчера беседовали, говорит, что через два часа после вашего визита к ним нагрянула полиция, стали спрашивать, о чем, мол, вы разговаривали с московским профессором, наверное, жаловались, что в Узбекистане нет демократии, президента Каримова ругали?» А когда через два года в Самарканде я позвонил из гостиницы главе местной Ассоциации таджикоговорящих граждан (номер его телефона мне дали знакомые в Москве), телефон «вырубился» и после этого уже не работал. Я все понял и, так как у меня был также и адрес этого человека, отправился к нему на работу, побеседовал. А когда я улетал в Москву, в аэропорт провожать меня явился собственной персоной сам начальник самаркандской таможни с двумя своими сотрудниками. Такому «шмону» я не подвергался, пожалуй, никогда; перетряхнули чемодан и — самое главное — досконально, не жалея времени, перелистали записную книжку с адресами и телефонами. Наконец нашли координаты человека, с которым я встречался. «А, это ваш друг?» — «Можно и так сказать, хотя вчера я его видел первый раз в жизни». Допрашивать о содержании разговора они не стали, это было уже вне их компетенции, но обыскали в самых лучших традициях. Мне представилось, что я вернулся в советские времена;

вспомнил, как однажды, когда я возвращался из Венгрии, пограничник в Шереметьево увидел у меня в портфеле английскую книжку. «У вас иностранная книга». — «Да, это детектив Агаты Кристи». — «Да, но это иностранная литература, нельзя провозить». — «Книга куплена в Москве, вот штамп магазина». Недружелюбный взгляд. «Можете идти». Вот что я вспомнил в Самаркандском аэропорту. Жив курилка! Кто это там говорит, что от Советской власти не осталось и следа? Уж в Узбекистане этот след точно есть. Счастье все же, что я живу в России, и ельцинский режим со всеми его пороками — уже совсем, совсем не то, по крайней мере в смысле гражданских свобод.

Говоря об этнических конфликтах, вспыхнувших после распада Советского Союза, хотел бы заметить следующее: ахиллесовой пятой советской имперской системы была этническая чересполосица, частично следствие исторического развития, частично элемент политики «разделяй и властвуй». Почти в каждой республике имелись национальные меньшинства, в некоторых случаях весьма значительные, что объективно закладывало мины замедленного действия; они непременно должны были взорваться при изменившейся ситуации. Это и произошло, когда исчез общесоюзный обруч, скреплявший многонациональную структуру. Но здесь неправильно мазать все одной краской, утверждая, что все конфликты были неизбежны. Так, в Закавказье, как мне представляется, неизбежным был только армяно-азербайджанский конфликт из-за Нагорного Карабаха. Те, кто ведут сейчас душещипательные разговоры — «вот, мол, сколько лет все нации жили дружно, как хорошие соседи, а потом кто-то

спровоцировал войну», недостаточно знакомы с фактами. К Карабаху, во всяком случае, такого рода идиллические представления никак не могут относиться.

Я помню, как в руководимом мною тогда отделе ИМЭМО работал старый коммунист Григорий Акопян, уроженец Карабаха, в прошлом участник создания местного комсомола. Каждый раз, возвращаясь из отпуска, который проводил на родине, он с горечью и недоумением рассказывал мне — разумеется, строго конфиденциально — о притеснениях карабахских армян азербайджанскими властями, беспардонно нарушавшими милые его сердцу принципы пролетарского интернационализма. «В конце концов эти безобразия плохо кончатся», — предупреждал он и оказался прав. Дело в том, что для армян политика Баку, независимо от того, в какой степени она действительно была репрессивной и шовинистической, всегда выглядела как продолжение геноцида, устроенного властями Турции во время первой мировой войны. Эта трагедия, усугубленная впоследствии потерей исконных армянских земель, стала неотъемлемой частью всего национального менталитета. Армяне называют азербайджанцев турками, и этим все сказано. Нарыв давно назревал и рано или поздно должен был прорваться.

В отличие от Нагорного Карабаха, в Абхазии можно было добиться компромиссного решения, и республика могла бы нормально жить в составе Грузии на базе достаточно широкой автономии (сейчас это уже значительно труднее, у обеих сторон накопились отрицательные эмоции: «как мы можем после того, как пролито столько крови, жить вместе с этими убийцами?»). В абхазском конфликте, как и в южноосетинском, ингушско-осетин-

ском и многих других, зловещую роль сыграли новые элиты этнократического типа, появившиеся сразу же после распада прежнего государственного устройства. В состав этих элит входит и часть бывшей партийно-государственной номенклатуры, и новая националистическая интеллигенция, рвущаяся к власти, привилегиям и обогащению, и неизвестно откуда взявшиеся главари, атаманы мафиозного типа, включая пресловутых «полевых командиров», многие из которых прямо вышли из уголовной среды.

Новый «политический класс» хищно рванулся к власти и к большим деньгам. Никаких экономических и социальных проблем нации он решить не в состоянии, он может разыгрывать только одну карту — этническую. В этой среде господствуют законы блатного мира. Но люди идут за новыми главарями просто потому, что после распада центральной государственной власти появилась необходимость в защите и покровительстве. Беззащитное и дезориентированное население с легкостью становится жертвой пропаганды, утверждающей, что все беды от соседей, от ненавистных чужаков. И многие конфликты, объективно поддающиеся урегулированию без катаклизмов, приобрели кровавый характер именно по вине новых этнократических элит.

Удивляться тут нечему, если учесть, какого рода менталитет образовался у людей любой национальности за десятилетия Советской власти и какого сорта общественные деятели вынырнули на поверхность политической жизни в момент хаоса и развала. Можно удивляться другому: количество этнополитических конфликтов в бывшем Советском Союзе оказалось все же не столь велико,

и большинство из них не стали столь кровавыми, как можно было предполагать в 91-м году. Мне тогда довелось участвовать в Вашингтоне во многих конференциях и «круглых столах», посвященных проблеме «грядущей анархии» на постсоветском пространстве. Преобладали самые кошмарные прогнозы: украинцы начнут убивать русских, русские — татар, татары — башкир, узбеки — таджиков и т. д. Ничего этого, к счастью, не произошло. «Югославский сценарий» в бывшем нашем Союзе не случился. Много плохого можно сказать о Ельцине и его режиме, но в отношении межэтнических и региональных конфликтов (за исключением, конечно, безумной чеченской авантюры), так же как и в отношении гражданских свобод, нельзя не констатировать: худшего удалось избежать. Еще неизвестно, смог ли бы этого добиться какой-либо другой президент.

## РОССИЯ ЕЛЬЦИНСКАЯ

Я сижу в Горбачев-фонде, на заседании «круглого стола» по проблеме глобализации. В розданном всем участникам вопроснике читаю: «Как вы можете характеризовать нынешний режим в России?» Когда подходит моя очередь выступать, говорю: «Можно называть его как угодно — олигархией, номенклатурным капитализмом, клептократией и так далее, все это будет в той или иной степени верно. Важно другое: понять, что этот режим в общем и целом более или менее адекватен нынешнему состоянию нашего общества, что дело не в нескольких



одиозных фигурах, подвергающихся сегодня нападкам, во многом справедливым — Ельцин, Гайдар, Чубайс, Черномырдин, — а в том, что после краха Советской власти экономические высоты в государстве в любом случае были бы захвачены именно людьми той социальной категории, которую мы видим сейчас, которая у нас хозяйничает и выстраивает новую систему отношений власти и собственности». Горбачев явно недоволен, смотрит мрачно. Впрочем, он незлопамятен; вскоре он приглашает меня, по совету Анатолия Черныева, к себе в офис, чтобы я прочел ему лекцию об Иордании и вообще об арабских странах: он приглашен королем Хусейном в Амман, а в бытность свою президентом он ни разу не побывал в арабском мире. Кстати, не перестаю удивляться тому, как хорошо Горбачев выглядит, несмотря на все, что ему пришлось пережить. Говорят, это потому, что он все время либо за городом, либо за границей. Думаю, дело не только в этом. Вспоминаю, что мне говорил Александр Яковлев, отвечая на мой вопрос: «Какой, по вашему мнению, главный недостаток Горбачева?» — «Он никогда не признается в своих ошибках, всегда найдет виноватого. Он все делал правильно, а если что-то не так — его подставили, подвели». Пожалуй, это верно. Счастливый человек — он может спать спокойно, у него совесть чиста. Бог ему судья, конечно. В моей личной судьбе Горбачев сыграл такую роль, как ни один другой человек за всю мою жизнь. Благодаря ему я объехал весь мир. Как уже упоминалось, за границей всегда поднимая бокал за его здоровье. Между прочим, нельзя не отдать ему должное за отказ от попыток потопить в крови оппозиционное, в том числе национально-сепаратист-

ское, движение на рубеже 80-х — 90-х годов. А ведь он мог бы это сделать, и почти весь наш истеблишмент его бы поддержал. И вообще, если бы он не начал свои реформы, а удовольствовался бы властью, не трогая обанкротившуюся в принципе, но вполне еще жизнеспособную систему, он бы до сих пор сидел в Кремле.

Конечно, Горбачев и его команда ненавидят Ельцина и видят в нем корень зла — по-человечески это понятно. Но вот я вспоминаю такой случай. Как-то в самолете, летевшем из Нью-Йорка в Москву, моим попутчиком оказался бывший младший научный сотрудник нашего института, ставший преуспевающим бизнесменом-нефтяником: хорошая должность в крупнейшей американской нефтяной компании, квартира на Парк-авеню, сеть бензозаконок в Архангельской области. Разговорились. Оказывается, в начале 90-х, когда распределялись квоты на экспорт нефти, он получил от очень высокого министра в Москве лицензию на экспорт мазута с одного завода на Украине. Он покупал мазут по 70 рублей за тонну, а продавал за границей по 40 долларов. Быстро стал миллионером. Оставляю в стороне вопрос о происхождении первоначального капитала, необходимого, помимо прочего, для того, чтобы дать взятку и московскому министру, и украинскому директору завода. Это всегда вопрос темный. Известный в свое время в Москве молодой капиталист Герман Стерлигов, владелец фирмы «Алиса», в разговоре со мной в Вашингтоне сказал, что первоначально кто-то одолжил ему несколько сот долларов; оставим это на его совести. Так вот, возникает вопрос: если моральный климат в стране в решающий момент, когда Советская власть находилась при последнем издыхании,

был таков, что члены правительства за огромные, разумеется, взятки были готовы раздавать лицензии на экспорт нефти (а именно так ведь начинались карьеры многих из сегодняшних прославленных олигархов), то при чем тут Ельцин и Гайдар? И кто еще мог воспользоваться уникальной ситуацией, баснословной возможностью разбогатеть чуть ли не в считанные дни, как не те люди, которые уже заранее — и психологически, и в смысле финансовых ресурсов — были готовы к тому, чтобы начать бизнес «по-крупному»?

Можно вычислить несколько категорий таких людей: во-первых, это часть бывшей партийно-государственной элиты, люди, уже изначально имевшие как необходимые связи «в верхах», так и доступ к партийным и комсомольским деньгам; во-вторых, прежние «теневики», подпольные дельцы, создавшие при Горбачеве кооперативы, эту первооснову будущих мощных полукриминальных структур; в-третьих, образованные и предприимчивые молодые люди (пресловутые «кандидаты физико-математических наук»), внезапно обнаружившие в себе таланты бизнесмена и чаще всего сомкнувшиеся с первыми двумя категориями. Так и появились «новые русские», элиту которых составили те, кого принято называть олигархами. Так возникли финансовые империи. Можно ли было всего этого избежать, если бы не было на свете ни Ельцина, ни Гайдара? Сомневаюсь. Крах Советской власти, конец обкомов и Госплана породил экономический вакуум, который и был моментально заполнен дялями и аферистами, воспитанными еще при старой системе. Только они и могли выплыть на поверхность хозяйственной жизни, людей иного сорта Советская власть просто

не подготовила. Есть, конечно, исключения; среди моих знакомых, например, в Соединенных Штатах имеются превосходные молодые бизнесмены, высокопорядочные и вполне цивилизованные люди. Но таких меньшинство, и они во многом сформировались под влиянием американской среды.

Допускаю, что гайдаровская реформа, а также чубайсовская приватизация были объективно проведены таким образом, что, независимо от намерений их инициаторов, они способствовали переходу значительной части экономики в руки новых бизнесменов, беззастенчиво и стремительно обогащавшихся в результате «смычки» с насквозь коррумпированным чиновничьим аппаратом. Вероятно, многое могло быть сделано иначе, с гораздо меньшим ущербом для населения. Но надо поставить принципиальный вопрос: откуда в этой огромной стране могли взяться десятки тысяч честных, добросовестных, компетентных чиновников, администраторов, директоров предприятий, способных противостоять соблазну легкого и безнаказанного криминального обогащения, этому страшному соблазну коррупции в условиях инфляции и обвального падения уровня жизни? Тот, кто в состоянии представить себе типичный психологический образ советского чиновника, легко ответит на этот вопрос: таких людей мог бы быть лишь незначительный процент. И какой бы курс ни проводил президент, какие бы справедливые и грозные указы он ни издавал — на громадных просторах России все это ушло бы в песок, осталось на бумаге; ведь реальная жизнь идет там, в глубинке, где буквально всюду все вершат и всем заправляют люди все той же старой советской формации.

Тем, кто полагает, что все дело в злополучной ельцинской команде, следовало бы посмотреть на то, что творится в других бывших советских республиках. Ни в Украине, ни в государствах Закавказья и Центральной Азии нет ни Ельцина, ни Гайдара и Чубайса, но кто может утверждать, что там меньше коррупции, злоупотреблений, бесхозяйственности, чем в России? Скорее наоборот. Более того, даже, например, в Литве, где я не так давно побывал, в стране иной, европейской цивилизации я слышал те же жалобы: воруют, берут взятки, занимаются нечистоплотными махинациями... Страны Балтии по своему генотипу могли бы, вероятно, жить примерно так же, как их скандинавские соседи. Но — не забудем полвека Советской власти. А ведь в России эта власть существовала не пятьдесят, а семьдесят лет — чему же удивляться? Ельцин, Зюганов, Явлинский, — да какая разница, никто не мог бы предотвратить или повернуть вспять процесс, начавшийся уже с горбачевской перестройки, процесс выдвижения и возвышения совершенно определенного типа людей, единственного типа, который был готов и способен к захвату рычагов экономики в условиях перехода от «социалистической системы» к капитализму, если можно назвать капитализмом то, что мы имеем, — и опять-таки, никакого другого типа капитализма рухнувшее советское общество породить на своих обломках не могло.

Значит ли это, что вообще никакой альтернативы «ельцинской системе» не было? Нет, я уже писал, что не верю в «железную детерминированность» событий. Альтернатива была, но какая? Вернемся к «сослагательному наклонению». Если бы Ельцин умер в самом начале

92-го года, его место занял бы тогдашний вице-президент Руцкой. Зная его характер и его поведение в 93-м году, мы можем предположить, что ничего хорошего бы не было. Вспомним, что в тот момент разворачивалась «битва суверенитетов», Татарстан был на грани провозглашения независимости, Чечня уже отделилась, сепаратистские настроения поднимались и в русских регионах федерации — на Урале, в Сибири. Неизвестно, удалось ли бы Руцкому сохранить целостность России — ведь у него не было ельцинского авторитета, завоеванного в 91-м году, и вообще нет того, чем в полной мере наделен от природы Ельцин: беспощадной воли, смелости и решительности, того внутреннего «железа», которое по-английски называется *guts* — «внутренности». Ельцин умел нагнать страху на строптивых региональных лидеров и в то же время, если нужно, пойти на соглашение, на компромисс; тот же Татарстан — лучший пример. Я был в 92-м году в Казани и помню, какую кампанию развернули тогда сторонники независимости. Ельцин с Шаймиевым сумели, балансируя на проволоке, предотвратить разрыв, который бы имел непоправимые, роковые последствия для России (это было бы гораздо хуже Чечни; стоит только представить себе, что бы произошло, если бы московские политики, повинувшись своему «державному инстинкту», отказались признать результаты татарстанского референдума, а многие к этому и склонялись, говоря даже о возможности установления альтернативной, неподвластной Шаймиеву структуры управления республикой). Шаймиев при поддержке Ельцина смог тогда остановиться на черте, обозначенной термином «суверенитет», не дойдя до «независимости». Сомневаюсь, чтобы

Руцкой смог противостоять московским «ястребам» и достичь соглашения с Казанью. Целостность России оказалась бы под угрозой. И даже если бы Руцкому не удалось удержаться у власти — что вполне возможно, — кто из тогдашних политиков обладал достаточным авторитетом и силой воли, чтобы в корне пресечь как центробежные тенденции, так и амбициозные поползновения руководителей Верховного Совета, вообще сдержать те разнообразные, несогласные между собой, но бурные, по сути деструктивные политические силы, которые, внезапно осмелев после краха Советской власти, уже принялись тянуть страну в разные стороны? Ведь уже опять поднимали голову оправившиеся после испуга коммунисты, стали все громче заявлять о себе шовинистические протонацистские группировки — иначе говоря, уже начала формироваться та «красно-коричневая» оппозиция, которую Ельцин смог подавить танками, стрелявшими по Белому дому, лишь осенью следующего года. И все это происходило в обстановке полной растерянности и дезориентации общества. Требовалась поистине мощная воля, чтобы вообще сохранить единую государственную власть, и такой волей обладал только Ельцин.

Если же говорить об экономических реформах, то — повторяюсь — они могли бы быть проведены, если бы не было ни Ельцина, ни Гайдара с Чубайсом, в иной манере, более мягко и плавно, без судорог «шоковой терапии» (кстати, экономисты до сих пор спорят, была ли в реальности применена эта «шоковая терапия» или нет; то, что население страшно пострадало, — это факт, но как именно нужно было создавать новый тип экономики переходного периода — единого убедительного мнения

как не было, так и нет). Для меня лично ясны две вещи: во-первых, в любом варианте все равно нужно было искать новые пути экономического развития, реформы были неизбежны для замены советского типа хозяйства чем-то иным, и, во-вторых, никто, кроме тех же предпринимателей «новой формации» (беззастенчивых, алчных, коррумпированных) не был «под рукой» в качестве строительного материала новой экономической системы, базирующейся на частной инициативе. Вот в чем суть дела: после распада государственной, плановой, командно-административной системы образоваться могла лишь альтернативная система, построенная на примате частного предпринимательства. Но другого типа современного нэпмана, представителя стихии зарождающегося капитализма, кроме тех, кто вышел из брежневской и горбачевской шинели, — просто не было в наличии. И поэтому альтернатива ельцинской системе могла быть лишь в частностях, в деталях, методах, темпах, а не в магистральном направлении. Кто бы ни сидел в Кремле, жулики и коррупционеры все равно заполнили бы постсоветское экономическое пространство.

Нельзя отрицать, что Ельцин, независимо от его взглядов, пожеланий и намерений, дал «зеленый свет» коррумпированным элементам, смотрел сквозь пальцы на разгул воровства; это легло черным, несмываемым пятном на все правление «царя Бориса», так же как война в Чечне. Знал ли он обо всем? Это не так уж существенно. Думаю, что о многом знал, о чем-то догадывался, сознательно предпочитал не вдаваться в детали, отмахивался от неприятной информации. Был занят политическими конфронтациями, боролся, комбинировал,



выстраивал хитроумные и неуклюжие конструкции для поддержки своей власти, искал силы, которые помогли бы удержать его неуклонно падавшую после гайдаровских реформ популярность, и когда его убеждали — «надо дать таможенные льготы таким влиятельным элементам общества, как церковь, спортсмены, афганские ветераны», — соглашался, не желая, может быть, даже думать о том, к чему это приведет.

Говорят, что вся коррупция идет сверху, что люди в нижних эшелонах власти, понимая, что творится в Москве, ощущали свою безнаказанность. «Рыба гниет с головы». Но ведь гниет только мертвая рыба, а не живая. А Россия после освобождения от Советской власти напоминала что угодно, только не мертвую рыбу. Какой мгновенный подъем человеческой инициативы, десятилетиями забитой и замороженной, какой всплеск предпринимательства, какой расцвет коммерции, сферы услуг, строительства, свободной прессы! Миллионы людей ощутили в себе предпринимательскую жилку, бросились в бизнес, рванулись «челноками» за границу. Сколько всевозможных офисов появилось на улицах Москвы, какое бурное жилищное строительство развернулось — и не только в Подмоскovie, я был недавно в Нижнем Новгороде, там такая же картина. А безумное обилие автомашин? Ведь большинство из них — это не шикарные лимузины олигархов, а «Жигули» и «москвичи» людей, составляющих тот средний класс, о котором говорят иногда, что его вообще в России нет, только, мол, кучка миллионеров и нищие массы. Нет, он есть, и его жизнеспособность, динамизм, умение выживать, вертеться, приспособливаться, зарабатывать деньги всеми правдами

и неправдами — это поистине потрясающий феномен. Иностранцы поражены: «Мы думали, что Советская власть вытравила у русских всякую инициативу, убила все навыки предпринимательства, люди стали пассивными роботами, способными только реагировать на идущие сверху импульсы, — и вот, подумать только, какой размах новорожденного бизнеса, как русские разъехались по всему миру, мгновенно сориентировались, включились в международные деловые операции, проявляют такую смекалку и изворотливость, что только диву даешься!» А все дело в том, что за границей не знали одной простой вещи: уже в брежневские времена многие энергичные и предприимчивые люди овладели искусством находить полулегальные способы повышения своего достатка, пользоваться связями, «блатом», обходить законы, лавировать на грани криминала, добывать дефицитные товары, где-то как-то подрабатывать или приторговывать, нащупывать сферы действия «теневого экономики», — словом, «хочешь жить — умей вертеться». Все эти навыки, совершенно незнакомые иностранцам, привыкшим жить в рамках закона, в нормальном обществе — как же они пригодились вот в этот переломный момент, когда разлетелись все барьеры и рогатки, все формальные скрепы и обручи, сковывавшие личную инициативу, когда открылись — впервые в жизни! — новые, захватывающие дух возможности, когда девизом стало: «куй железо, пока горячо», «хватай что можешь, каждый за себя». А психология-то при этом осталась прежняя, менталитет советский — «если начальство не видит, делай что хочешь». Общественная мораль, чувство долга, гражданская ответственность, уважение к закону, религиозные

нормы — да откуда всему этому было взяться? Все это давно было вытравлено, отброшено, затоптано. И Homo Sovieticus в условиях нарождающегося «дикого капитализма» проявил себя именно так, и только так, как он должен был себя проявить, будучи идеально подготовленным для такой ситуации.

Так что рыба-то живая, и не гниет она с головы. Жизнь бьет ключом. И тот разгул коррупции, беззакония, аморальности, который так заметен в столице, в точности воспроизводит — только в несравненно более крупном масштабе — все, что творится в провинции. Безобразия идет снизу точно так же, как и сверху. Ельцинский режим был полностью адекватен нравственному уровню и состоянию народа в целом — таков неприятный, но — увы! — непреложный факт.

Поэтому и капитализм, который стал зарождаться, и не мог быть ничем иным, как квазикапитализмом — уродливым, криминальным, воровским и спекулятивным. Не менее важно то, что это — не только капитализм бизнесменов, обкрадывающих государство и подкупающих чиновников, но и капитализм государственный, бюрократический. Чиновники разворовывают богатства страны и способствуют ее деградации не в меньшей мере, чем дельцы. Древнее, как сама Россия, засилье начальства всех рангов, чиновников с их бездушием и своекорыстием, некомпетентностью и бестолковостью, с их перманентным желанием уйти от ответственности, с канцелярским презрением к людям, неистребимой склонностью к произволу, к показухе и вечному вранью — короче говоря, все то, что тысячекратно было описано еще в русской литературе девятнадцатого века, — все это жутким,

мертвящим грузом давит на Россию. Как же может здесь развиваться «нормальный» производительный капитализм? И можно ли удивляться тому, что наш бизнес стал формироваться как финансово-спекулятивный, а не производственный? Когда я спросил уже упоминавшегося мною молодого бизнесмена Германа Стерлигова, почему он не вкладывает деньги в промышленность, он ответил: «Я недавно собрался было построить цементный завод, но когда подсчитал, сколько проблем будет с сырьем и оборудованием, со сбытом продукции, с чиновниками всех уровней — решил отказаться от этой идеи». Да, проще и выгоднее заниматься финансовыми и экспортно-импортными операциями или шоу-бизнесом. И вот в одночасье Москва стала городом банкиров и брокеров (правда, после дефолта 98-го года их число поубавилось), городом сферы услуг и развлечений для богатых; я слышал, что в 98-м году в столице было около пятидесяти казино. А промышленность (за исключением нефтегазовой)? А наше несчастное сельское хозяйство, особенно скотоводство — отрасль, кажется, издыхающая так же, как издыхает сам скот? Кому это нужно? Много ли на этом можно «баксов» сделать? А все в «баксах» сегодня и измеряется; доллар стал королем.

Система народного образования... Противно становится, когда рассказывают, что в престижнейших московских вузах преподаватели, например, английского языка прямо говорят плохо успевающим студентам, что рассчитывать на хорошую отметку они могут, только если будут у них же, у этих же преподавателей, брать частные уроки — 50 долларов за час. А с другой стороны — ведь платят же, берут откуда-то эти доллары. Откуда?

Вечная загадка нашей страны. На какие заработки куплены эти два миллиона частных автомашин в Москве? На какие деньги так одеваются девушки в московских вузах: ведь по сравнению с ними американские студентки — просто замухрышки...

Но система существует. Она держится. Никаких бунтов, никаких признаков народных волнений, о забастовках давно забыли. Посмотришь по телевизору на то, что творится во многих других столицах мира, — ужас охватывает: полиция с дубинками, брандспойтами и слезоточивыми газами разгоняет беснующиеся толпы демонстрантов. А у нас, слава богу, ничего похожего, разве что футбольных фанатов бьют на стадионе. Спокойная страна. Все ворчат, никто не возмущается и не протестует, все ходят на выборы, слушают сообщения о высоких президентских рейтингах... Откуда такая пассивность у бунтарского вроде бы, мятежного духом народа?

Когда началось расслоение общества и часть его стала быстро обогащаться, в принципе возможны были два типа реакции. Первый (советский, но имеющий в России гораздо более древние корни, чем большевизм): «сосед купил «мерседес» и строит себе виллу — убивать надо таких буржуев!» Второй: «если этот хмырь смог такие «бабки» заработать, то чем я хуже его?» К счастью для России, большинство молодежи предпочло второй тип реакции, иначе у нас давно уже была бы гражданская война. А именно о молодежи и может идти речь, ведь у старого поколения, у пенсионеров, ветеранов, безработных, малоимущих, не сумевших найти себе нишу в новом обществе — у всех у них нет ни достаточной энергии, ни организации. Молодежь выбрала карьеру, бизнес.

Когда я читаю лекции в Америке, аудитория иногда не может понять — оптимист я или пессимист в отношении будущего России. «Оптимист, — отвечаю я, — потому что я не верю в катастрофические сценарии. Не верю, что Россия распадется или что будет гражданская война либо фашистская диктатура. Для фашизма, нацизма нужны миллионы молодых людей, готовых умирать и убивать во имя идеи, нужен гитлерюгенд или комсомол двадцатых годов. Где у нас эти миллионы, где та идея, за которую они готовы пойти на смертный бой? Коммунизм, фашизм, демократия, великая Россия-матушка? Разве что последнее, русский патриотизм, и то лишь в том случае, если по телевизору покажут, что русских убивают на улицах в какой-либо из бывших советских республик. Но признаков этого не заметно, и поэтому никакой грандиозной идеей русскую молодежь не увлечешь, ни за каким великим вождем она уже не пойдет, времена идейного энтузиазма, жертвенности миновали, для России это — прошлое».

И здесь уже мы подходим к захватывающей теме: русский менталитет.

## ВСЕ ТА ЖЕ РОССИЯ?

**Ж**ена моего американского знакомого сказала: «Я никогда больше не поеду в Россию после того, что мы натерпелись в Шереметьево. Такой очереди на контроль и на таможенный осмотр, такого беспорядка, такого отношения к людям я не видела никогда. Нет, больше

не поеду — а жаль! Я уже вижу, что русские — такой замечательный народ!»

Я часто думал: почему американцы (и не только они) при всей их неприязни к России как государству и презрению к российскому обществу с его порядками бывают так очарованы русскими людьми? Если речь идет о русских женщинах — это понятно: пройдясь по Тверской, можно увидеть намного больше молодых красоток, чем на Елисейских Полях или Бродвее. Но здесь имеется в виду русская личность как таковая, она безумно импонирует иностранцам. Отчего? Разве они не видят на тех же московских улицах все эти хмурые, неприветливые лица, не замечают постоянного обмена недружелюбными репликами, сварливых замечаний, отпускаемых друг другу, безразличного или просто хамского поведения обслуживающего персонала, наглого и грубого стиля езды московских водителей? Конечно, видят и замечают, но все это компенсируется другими чертами. «Какие гостеприимные, добрые, душевные, умные люди эти русские» — сколько раз я это слышал в Америке от людей, побывавших в России. И ведь и то и другое — правда, вот что интересно.

Несколько лет тому назад, уже в постсоветскую эпоху, находясь в Казани, я зашел в гостиничный буфет, взял стакан чая. Шумно, накурено — я решил пойти со стаканом к себе в номер. Двинулся к выходу — и тут же ко мне рванулась буфетчица с воплем: «Куда потащил?» Вот такого — я абсолютно уверен — не могло бы произойти ни в одной стране мира, даже самой отсталой и нецивилизованной, где-нибудь в глубине Африки.

Значительно раньше мы с моим другом попали в автомобильную аварию на Кубани. Довезли машину на буксире до Краснодара, явились к секретарю крайкома партии, с которым я был знаком (незадолго до этого читал там лекции), он при нас вызвал к себе директора авторемонтного завода и велел ему организовать ремонт машины «как правительственное задание». Мне надо было слетать по делам в Москву, через неделю я вернулся в Краснодар. Мой друг говорит: «Думаешь, машина готова? Как бы не так. Каждый день таскаю рабочим бутылку за бутылкой, чтобы ускорить ремонт, а они все еще копаются». Прошло несколько дней, мы наконец двинулись на отремонтированной машине в Москву — и пришлось несколько раз по дороге заезжать на станции техобслуживания: то кронштейн динамо сломался, то еще что-то полетело из только что поставленных деталей, то что-то оказалось недокрученным и недовинченным... Мой друг, журналист, работавший в азиатских странах, был в ужасе, каждый раз повторяя: «Где же рабочая честь, где чувство ответственности? Ни бутылки водки, ни «правительственное задание» — ничто на этих халтурщиков не подействовало. Такого просто не могло бы быть ни в Турции, ни в Сирии, вообще нигде». Верно. И вот — вопрос: в какой степени это результат традиционного, векового российского разгильдяйства, лени, небрежности, и в какой мере это следствие того отношения к труду и вообще к жизни, которое точно сформулировали советские ученые В. Попов и Н. Шмелев в 1989 году в коллективной работе «Осмыслить культ Сталина»: «Среди населения широко распространились настроения апатии и безразличия, паразитическая уверенность



в гарантированной работе и социальной безопасности и в то же время твердая убежденность в том, что «выкладываться», работать с полной отдачей сил бесполезно и даже зазорно («как вы нам платите, так мы вам и работаем»). Немалая часть нации физически и духовно деградировала на почве пьянства и безделья; произошли упадок этики и резкое снижение моральных критериев; развились массовое воровство, неуважение к честному труду и одновременно — агрессивная зависть к любым повышенным трудовым доходам». Да что там говорить: помню, сию я в своем «москвиче» у Черемушкинского рынка, подходит молодой парень: «Тормозные колодки нужны?» Пока я соображаю, нужны или нет, он, неправильно поняв мои колебания, говорит: «Да не бойся, совсем новые, только что прямо с завода». Все правильно. «Тащи с завода каждый гвоздь, ведь ты хозяин, а не гость».

Этика советской системы; но беда в том, что она привилась на уже подготовленной почве, как нельзя лучше сочеталась с давними непривлекательными чертами русского человека. Давным-давно читал я старинную книгу «Иностранцы о России»: во времена Ивана Грозного каким-то дьякам было поручено написать отчет о впечатлениях побывавших в России иностранцев. Оказывается, уже четыреста лет тому назад они отмечали такие российские черты, как «воровство, пьянство, сварливость и бранчивость». Об этом же можно сколько угодно прочесть почти у всех русских писателей девятнадцатого века. Некоторые исследователи приписывают это пагубному воздействию татаро-монгольского ига. Возможно. Остается фактом то, что вот на такой традиционный стереотип поведения наложились те отвратительные

качества и навыки, которые объективно воспитывала, возвращала, внедряла Советская власть. Получилось поистине двойное зло; пожалуй, ни одной стране, кроме, может быть, Китая и Камбоджи, «социализм» в его реальном воплощении не принес и не мог принести столько вреда, сколько России, и последствия этого мы ощущаем вплоть до наших дней. Тут и вычленить-то ничего нельзя — что именно в наших безобразиях идет от Советской власти, а что лежит еще глубже, сформировалось гораздо раньше.

А вместе с тем — кто же будет отрицать, что русским действительно присущи такие черты, как доброта, великодушие, отзывчивость, готовность помочь ближнему. Нахамит тебе мужик, обматерит, а потом разговоришься с ним, найдешь какой-то ключик — и он же для тебя что хочешь сделает. А потом опять по пьянке подведет, заложит, обманет, обворует. Надежности, стабильности характера и поведения — никакой. А опять же — гостеприимство: где, в какой стране будут так стараться напоить, накормить, ублажить гостя? Ни с какой Америкой или Францией не сравнить.

Мой коллега по институту Герман Дилигенский написал работу «Русские архетипы и современность», которую я считаю просто замечательной. Не откажу себе в удовольствии привести из нее несколько обширных выдержек: «Российская ментальность со времен средневековья проделала сложную эволюцию. Один из наиболее устойчивых ее компонентов — ощущение бессилия человека в социальном и политическом пространстве, в особенности перед лицом государства. Психология социального бессилия лежит в основе системы антидотов

российской государственно-патерналистской политической культуры. Ключевые понятия этой рефлексии — совесть, правда, «жить по совести»... История нравов в России вряд ли может подтвердить тезис о некоей особо выдающейся, по сравнению с другими странами, роли моральных ценностей в повседневной социальной и личной жизни... Эта ориентация была сильно развитой на уровне «сверх-я», то есть культурных норм, но слабо влияла на «Я-ядро личности»...» Все это, по мнению Дилигенского, порождало «особую психическую напряженность, внутренние метания, характерные для русского человека, и делала его интересным, «сложным», «загадочным» как в глазах иностранцев, так и в его собственных. Особая интенсивность духовной жизни личности — один из источников великой русской художественной литературы и ее вклада в культуру мировую...» Но эта интенсивность духовной жизни личности не продуктивна для социального действия, силы и ресурсы личности расходовались на «внутреннюю активность в ущерб внешней (практическому совершенствованию условий жизни)».

Цитируя Бердяева, писавшего: «...в русском человеке так мало подтянутости, организованности души, закала личности», Дилигенский оперирует такими терминами при описании русского менталитета, как «неуверенное, или тревожное, сознание», «неустойчивость аттитюдов, легкость смены одних настроений другими», «незавершенная, размытая и противоречивая структура личности». По его словам, «устойчивая неустойчивость» придавала русскому менталитету высокую подвижность, лабильность, и «здесь же, возможно, коренится знаменитая «широта русской природы», которая обычно противопо-

ставляется самодостаточному и узкому западному сознанию, жестко заземленному на прагматических, закреплённых длительным опытом ценностях».

Автор далее пишет, что «мечта о воле и моральное неприятие несправедливой власти исторически сосуществовали в русском народе с терпением и покорностью... Пассивность сочеталась с высокой ценностью интенсивной индивидуальной творческой деятельности, личной талантливости в русской народной культуре. Не столько практическая отдача творчества, эффективность для социума, сколько умение, мастерство как таковые. Мастер-левша, сумевший подковать блоху, — классический образ русского таланта... Богатство духовной жизни и творческий склад русской личности, ее склонность к мечте об иной, лучшей жизни постоянно контрастировали с бедностью и застойностью жизни реальной, с терпением, покорностью и пассивностью, выполнявшими функцию психологической адаптации к ней».

Полемизируя с апологетами уникальной и несравненной русской общности и общинности, Дилигенский справедливо замечает, что это — идеологический миф. «Общинный коллективизм начал разрушаться еще до революции и был полностью подорван при Советской власти». Тоталитаризм использовал общинные традиции для превращения общества в казарму, а «когда иссяк «социалистический энтузиазм», насаждаемые властью формы коллективизма, подкрепляемые страхом перед репрессивным аппаратом режима, психологически стали все больше отторгаться советским человеком, восприниматься им просто как официальные правила игры... Поскольку же тоталитаризм исключал неконтролируемую социальную

активность, социальная группа не могла выполнять функцию защиты своих членов. Наиболее рациональной стратегией индивида становилась индивидуальная адаптация к системе («каждый спасается в одиночку»). О том, чего стоит нормативный советский коллективизм, говорит факт всеобщего воровства на «родных» заводах и в колхозах».

«Традиционный коллективизм, — продолжает Дилигенский, — сохранился в советском обществе лишь в виде реликтов — социального конформизма и эгалитаристских представлений о социальной справедливости. А также на уровне межличностных отношений — в повышенной коммуникабельности, преобладании экстравертного типа личности, готовности русского человека «излить душу» даже случайному знакомому. В основном же постсталинский «поздний» социализм — это общество законченных индивидуалистов. Это своеобразный адаптационный индивидуализм, мало похожий на западный; он не ориентирован на свободную жизнедеятельность индивида, сочетается с социальной пассивностью и конформизмом, с низкой способностью к разумному самоограничению во имя групповых интересов». Его вывод заслуживает внимания: «Те социально-психологические феномены, которые мешают сегодняшнему российскому обществу «войти в современную цивилизацию», — это не пресловутая общинность и духовность, а возвращенная тоталитаризмом личная и социальная безответственность, привычка подчиняться не внутреннему «закону», а только внешней репрессивной силе».

Я так обильно цитировал Германа Дилигенского потому, что готов подписаться под каждым его словом.

Из всего, что я читал и слышал на эту тему, его работа дает наиболее четкое и глубокое объяснение чрезвычайно важного феномена, прямо связанного и с сегодняшним положением России, и с ее перспективами. Ведь решения принимаются в человеческой голове, а их осуществление зависит от характера; и то и другое — и интеллект, и характер — не являются чем-то изолированным от внешнего влияния, самодовлеющим и самодостаточным, вложенным в человека как товар, упакованный в коробку. Манера мыслить и реагировать на события, оценка этих событий, способ подхода к решению возникающих проблем, та или иная степень настойчивости и последовательности в осуществлении принятых решений — все это и многое другое зависит от того, под каким воздействием проходило первоначальное формирование личности, связано и с влиянием семьи, школы, непосредственного круга общения, и с общими понятиями, внушенными более широким кругом индивидов, идей, традиций. Сюда могут относиться такие факторы, как, например, честь рода, не позволяющая в идеале совершать поступки, позорящие тень предков и идущие вразрез с принятыми в данной среде нормами достойного поведения; религиозные установки; обычаи и традиции данного племени; референтная модель, обязывающая действовать в соответствии с теми или иными примерами, образцами; влияние прочитанной литературы; особенности цивилизации, в рамках которой формируется личность; представление о том, как бы повел себя в тех или иных условиях тот, кого данный индивид считает для себя ролевой моделью; соответствие принимаемых решений тем базовым ценностям, на которые человек ориентируется, духу тех

идей, которые ему импонируют; нежелание идти наперекор общепринятым в своей среде нормам и стереотипам поведения, боязнь прослыть «белой вороной» и так далее. Иначе говоря, люди, в том числе и общественные деятели (особенно они) мыслят и действуют, неся на себе целый груз наследия своей истории, географии, менталитета своего народа. Их индивидуальный образ мыслей, их пристрастия и предпочтения часто вынуждены уступать императивам этого наследия. Скажем, при том, что и Фидель Кастро, и Насер могут быть названы революционерами (кто-то может назвать их обоих честолюбивыми авантюристами, стремившимися во что бы то ни стало выйти в вожди, но не в этом дело), ясно, что каждый из них поступал так, как диктовали ему не только его личные политические взгляды — они могли быть идентичными — или конкретная политическая ситуация, но и как подсказывала история, традиции и менталитет народа, степень влияния религии на общество. В Египте Фидель был бы Насером, и наоборот, в том смысле, например, что та степень восприятия марксизма, которая была допустимой на Кубе, оказалась бы непозволительной в мусульманском обществе Египта. Вспомним также «китаизацию марксизма» при Мао: это было естественно, ведь над китайским деспотом витали духи Конфуция и бесчисленных поколений императоров Срединной империи.

Диктатор или монарх поступает так или иначе не только потому, что его действия мотивируются жадной сохранением и укрепления своей власти, но и с учетом того, как они будут восприняты значимой для него общественной средой — отнюдь не обязательно обществом

в целом, но доминирующей в нем элитой. А эта элита, даже если она пренебрегает общественными интересами и угнетает народ, не может не стремиться выглядеть так, как должно — в соответствии с традициями, религией, менталитетом и «духом» нации. Это может быть сплошным лицемерием, но ведь образ, имидж часто значит больше, чем реальность. «Народ этого не поймет» — эта часто повторяемая формула имеет в себе больше реального содержания, чем принято думать. Российский президент, допустим, может понимать, что для интересов его страны лучше было бы отдать японцам Курилы, но он также понимает, что этого нельзя делать, поскольку такой шаг был бы воспринят как предательство общественным мнением — ведь тут вступает в силу и так уже ущемленное чувство национального достоинства. Большинство населения в России даже не совсем точно знает, где находятся Курильские острова, и уж совсем незнакомо с историей вопроса, но твердо знает, что нельзя отдавать «нашу» землю. Да еще кому — японцам, тем самым — ведь все с детства знают «Врагу не сдается наш гордый «Варяг». Идти против течения — на это отваживались немногие государственные мужи, только люди такого калибра, как Петр Первый, «вестернизовавший» Русь, Кемаль Ататюрк, сделавший Турцию светским государством, или де Голль, давший независимость Алжиру. Нам таких лидеров не дожидаться — уж это точно...

Поэтому действия российских правителей неотделимы от исторического, духовного наследия нашей страны. В стране с иным цивилизационным наследием, с иной ментальностью, с более продвинутой политической культурой и прочными демократическими традициями пре-



зидент никогда не мог бы попустительствовать такому разгулу коррупции, как в России. Трудно также представить себе там ситуацию, подобную той, которая имела место в России в случае с арестом Гусинского: большинство населения при опросах уверено, что президент сказал неправду, когда утверждал, что не смог дозвониться до генерального прокурора, но то же самое большинство все равно доверяет президенту, и его рейтинг не падает. В Соединенных Штатах Клинтон тоже сохранил популярность несмотря на то, что все понимали: он солгал в «деле Моника», но это касалось личной жизни, и люди говорили: «да ладно, изменил жене, с кем не бывает», а у нас дело было общественное, политическое. По меньшей мере в двух городах посадили за уголовщину мэров, а люди все равно готовы были за них голосовать и говорили во время интервью: «Да, он вор, но какие магазины он нам отстроил». Почему все это? Да потому, что люди убеждены в одном: в России всегда воровали и будут воровать, у нас все врут, что же из этого шум делать. А многие подсознательно чувствуют, что и они сами делали бы то же самое — и ввали, и воровали, если бы выбились в большое начальство. Стоит ли поэтому ахать и охать, жалуясь и недоумеая: «Да почему же у нас все не так, как у людей, и капитализм-то у нас какой-то жуткий, паршивый». Какой был социализм — такой и капитализм, вот и все.

Никакой загадки в том, почему у нас дела идут именно так, а не иначе, нет; анализ прошлого, как досоветского, так и советского, позволяет понять, почему высвобождение экономики из-под гнета монопольного государства привело к разгулу воровства и коррупции,

а ликвидация тоталитарной политической системы — к такой свободе слова, как устного, так и печатного, которая обернулась полнейшей разнузданностью. «Свобода, — сказал чешский президент Гавел, — вылилась во взрыв всего зла человеческого, всего самого худшего, что можно себе представить». А ведь он имел в виду то, что произошло во всем бывшем «социалистическом лагере», а не конкретно в России. У нас этот «взрыв» принял наиболее гнусные формы. Так, может быть, правы те, кто говорит: «Все оттого, что свободу дали, а никаких тормозов нет, все позволено»? Такая мысль поневоле придет в голову, когда видишь, как рядом с Красной площадью свободно продается черносотенная, фашистская литература, а на экранах телевизоров нет-нет да и мелькнут парни в черных рубашках со свастикой, отдающие нацистский салют. И встает старый-престарый вопрос: нужно ли допускать «полную» свободу или же она должна быть ограничена, а если да, то где может быть проложен рубеж и кто это будет определять?

Когда в 1999 году я преподавал в университете Хофстра в штате Нью-Йорк, там разразился скандал. Университетская газета-многотиражка опубликовала статью лидера так называемых ревизионистов (или «непризнающих») — так называют в Америке тех, кто отрицает реальность Холокоста, т. е. уничтожения гитлеровцами миллионов евреев. Эти люди утверждают, что никаких крематориев не было, это все выдумка, хотя, конечно, какое-то количество евреев было убито нацистами. Был, естественно, большой шум, состоялось общее собрание студентов и преподавателей с участием редколлегии газеты. Члены этой редколлегии, в большинстве своем

студенты, не были согласны с почти единодушным осуждением их поступка, ссылаясь на знаменитую первую поправку к конституции США, гарантирующую свободу слова. «Раз есть такая точка зрения, — говорили они, — мы вправе предоставить придерживающимся ее людям возможность выразить свои взгляды, хотя в данном конкретном случае мы, конечно, с ней не согласны. Нам принесли статью, и мы не видели оснований отказать в ее публикации». После дебатов я подошел к редактору газеты, симпатичной девушке, и спросил ее: «А если бы вам принесли статью, в которой утверждалось бы, что никакого рабского труда негров на плантациях в Соединенных Штатах не было, все это выдумка, — вы бы ее опубликовали?» Она замялась, но потом честно призналась: «Пожалуй, нет». Я и без ее ответа знал, что такой материал они не осмелились бы напечатать, хотя бы потому, что понимали, какова будет реакция студентов-негров и что они сделают с редколлегией. Потом я рассказал об этом коллеге — преподавательнице моей кафедры, которая не была на собрании. Она сказала не раздумывая: «Правильно сделали, что опубликовали статью. Свобода слова либо есть для всех, либо ее нет. Если кому-то не давать высказываться, то это начало конца свободы». Будучи еврейкой, эта женщина, конечно, могла относиться к «ревизионистской теории» только с глубоким отвращением, но для нее принцип свободы слова был выше всего.

Непростой вопрос. У меня есть друг, человек высокой порядочности и убежденный демократ, который однажды во время разговора о том, почему в начале 90-х годов у нас не запретили компартию, сказал: «Раз у нас

есть миллионы людей, голосующих за коммунистов, нельзя запрещать им иметь свою партию». Я не то чтобы возражал против этого мнения — я понимаю, что если бы даже запретили зюгановскую партию, она тут же появилась бы под иным названием, как, например, это произошло с газетой «Завтра». Если за коммунистов на каждых выборах голосует больше людей, чем за любую другую партию, можно сожалеть об этом, осуждать коммунистический электорат, но демократия не позволяет взять и запретить такую партию. Однако при этом у меня возникла мысль: а ведь в Германии в начале 30-х годов миллионы людей голосовали за партию Гитлера. Конечно, нелепо даже сравнивать Зюганова с Гитлером, дело тут в принципе: можно ли соглашаться с таким мнением: «что поделаешь, если народ голосует за экстремистов, фашистов, вообще за тоталитарные партии? Глас народа — глас Божий?»

Думаю, давно пора отказаться от наивного представления, что народ всегда прав. История дает много примеров того, как легковверные, одураченные массы шли за вождями, которые вели их напрямиком к гибели. Стали бы миллионы немцев голосовать за Гитлера, если бы при помощи «машины времени» они смогли увидеть, что будет представлять собой их страна в 1945 году? Миллионы русских шли за большевиками в 1917 году, не подозревая, что их ждет, а миллионы китайцев шли за Мао. Узурпаторы, диктаторы, авантюристы всегда выигрывали общенародные референдумы, начиная с Луи Бонапарта. Народ сказал свое слово — и что же, он оказался прав? Партия Жириновского победила на выборах 1993 года — значит, надо было дать ей власть? Во многих странах

люди, недовольные своим положением, обозленные и обескураженные, увлекались демагогами на неверный путь. Глас народа может оказаться пагубным для него же самого. Я представил себе такую картину: вот мы с моим другом сидим в Германии, допустим, в 1931 году и каким-то образом уже знаем, что может произойти, когда нацисты придут к власти, включая такие последствия, как десятки миллионов жертв второй мировой войны. А народ голосует за Гитлера, и мой собеседник разводит руками: «Раз в стране треть населения поддерживает национал-социалистов, надо дать этим людям возможность выразить свою точку зрения на выборах, иначе — какая же это демократия?»

Ловушка демократии. Почти неразрешимый вопрос. Несколько лет тому назад в Алжире партия исламистов-радикалов, открыто выступавшая против демократических порядков, победила в первом туре выборов, и было ясно, что после второго тура она придет к власти. Военные отменили второй тур выборов, запретили экстремистскую исламистскую партию, арестовали ее лидеров. Нарушение демократии? Бесспорно. Но с другой стороны, если бы сторонники создания тоталитарного теократического режима пришли к власти, кто мог бы поручиться, что это не были бы последние свободные выборы в Алжире? В такой ситуации, к сожалению, приходится выбирать между большим и меньшим злом, хорошего выбора нет вообще.

Часто приводят слова Вольтера о том, что, мол, я ненавижу ваши взгляды, но я готов умереть за ваше право их высказывать. Это считается идеальным критерием свободы слова и демократии. Я всегда относился

к этой формуле с сомнением, и не только потому, что она пахнет лицемерием: вряд ли Вольтер или вообще любой человек стал отдавать свою — единственную! — жизнь за то, чтобы его идейный противник мог свободно проповедовать любую гнусь и гадость. Но также потому, что этот на первый взгляд стопроцентно демократический принцип может привести к тому, что погибнет именно та свобода слова — и вообще все свободы, — во имя которых данный принцип провозглашается.

В каждом народе имеется какой-то процент людей, тяготеющих к насилию, к подавлению инакомыслия, к насаждению деспотического по своей сути единоначалия и «железного порядка», точно так же, как в каждой армии находится какое-то число людей, получающих наслаждение от насилия как такового, от убийства мирных жителей. Существует тоталитарная личность, и от этого никуда не денешься. Вопрос: допустимо ли предоставлять всем, в том числе и людям такого сорта, возможность неограниченно и безнаказанно проповедовать свои взгляды? А ведь при благоприятных условиях от взглядов, от слов недалеко и до дела, до погромов и концлагерей...

Ведь дело в том, что многие люди, обладающие тем, что принято называть «дурными наклонностями», или «негативным потенциалом», склонные (по природе или в результате плохого воспитания, воздействия среды — это уже другой вопрос) к антиобщественным поступкам, к преступлениям, никогда бы этот свой потенциал не реализовали, если бы им не предоставились благоприятные условия. Те садисты и насильники, которые творят злодеяния на фронте и в прифронтовой полосе, те солдаты,

которые зверствуют в карательных акциях или расстреливают узников в концлагерях, вполне возможно, прожили бы свою жизнь как вполне мирные рабочие, бухгалтеры или кладовщики, если бы война или террористическая диктатура не открыли перед ними возможность безнаказанно творить то, к чему они уже были внутренне предрасположены, хотя иногда могли этого даже и не сознавать. Мирная, нормальная обстановка не позволяла проявиться их темным инстинктам и скрытым страстям, а в чрезвычайной ситуации таившееся в глубине их натуры зло вырвалось наружу. Но даже не это самое главное: таких людей с извращенными наклонностями в процентном отношении не так уж много. Важнее другое: даже те, кто абсолютно лишены подобных наклонностей и могут считаться совершенно «нормальными» индивидами, нередко могут морально деградировать под влиянием дурного примера, в обстановке, благоприятствующей безнаказанному проявлению бесчувственности к чужим страданиям, жестокости, всякого рода разнузданности. А раз встав на этот путь, «вкусив запах крови», человек уже преступает моральные запреты и начинает скатываться все ниже и ниже. Этого с ним никогда бы не случилось, если бы он не подвергся растлевающему воздействию своего окружения, не пропитался атмосферой беззакония, насилия, вседозволенности.

Вопрос о силе внешнего воздействия (особенно на молодую, еще только формирующуюся личность) представляется исключительно важным. Сент-Экзюпери описывал в одной из своих книг судьбу двух братьев, оказавшихся по разные стороны баррикад во время гражданской войны в Испании. Один из них попал на митинг

анархистов в Барселоне, и слова ораторов так запали ему в душу, что он пошел воевать за республику. Другому же довелось участвовать в защите монастыря, который штурмовал отряд республиканцев, и он провел ночь, охраняя насмерть перепуганных коленопреклоненных монахинь; с тех пор правда церкви стала его правдой, и он вступил в армию франкистов. На первый взгляд — дело случая: один случайно забрел на митинг, другого угораздило оказаться в трагический момент в монастыре; могло быть и наоборот. Но мне почему-то кажется вполне возможным, что на второго брата — будущего франкиста — речи барселонских ораторов не произвели бы впечатления, не затронули каких-то струн в его сердце, а первый брат, даже если бы ему довелось защищать монахинь, вовсе не обязательно после этого решил бы воевать против республики. Если я прав, то это значит, что каждый из братьев был уже внутренне предрасположен к тому, чтобы в критический момент сделать выбор в ту или иную сторону, и эта изначальная «запрограммированность» окончательно подтвердилась в той предельной ситуации, с которой они столкнулись. Почему эта запрограммированность оказалась диаметрально противоположной у юношей из одной и той же семьи (а ведь подобных ситуаций бывало сколько угодно и во время нашей Гражданской войны, когда брат шел против брата) — вот это одна из тех тайн, которые наука не может объяснить. Слегка различная конфигурация генов? Услышанные в четырехлетнем возрасте слова старшего товарища? Случайно попавшаяся в руки книга? Не знаю. Впрочем, может быть, в данном случае я не прав, и оба брата первоначально были «нейтральны», не ангажированы в ту или иную сторону,



и именно случайный эпизод определил их выбор. Но в принципе, мне кажется, вот этот момент — когда у еще не вполне сформировавшегося человека «открываются глаза» под влиянием услышанных слов — чрезвычайно важен в том контексте, который я затронул. Русский юноша, вообще далекий от политики и от разных общественных идей, видит на прилавке «Протоколы сионских мудрецов» или «Майн кампф» Гитлера или случайно прочитывает газету, в которой доказывается, что все зло — от Запада с его фальшивой демократией, способной погубить Россию, и что главный враг — инородцы, особенно кавказцы, и т. д. Многие брезгливо пожмут плечами, но ведь некоторые заинтересуются и скажут: «Так вот оно что! Теперь понятно...» И ряды нацистов, черносотенцев, шовинистов увеличатся еще на одну единицу, а ведь этого не было бы, если у человека не было возможности ознакомиться с печатными материалами подобного сорта, точно так же, как многих актов насилия, многих преступлений можно было бы избежать, если бы на экранах телевизоров не показывали бы каждый день мордобой и убийства. Однажды я видел в кинотеатре, как сидевший рядом со мной молодой человек буквально взвизгивал от восторга и аплодировал каждый раз, когда герой боевика удачным ударом носком сапога в челюсть или в пах выводил из строя противника. Он ликовал, и у него, конечно, не было и мысли о том, что почувствовал бы он сам, если бы ему с размаху дать ногой в пах. Наоборот, этот юноша, вероятно, только укрепился в желании основательно овладеть приемами рукопашного боя, чтобы самому быть в состоянии вот так бить. И не исключено, что для совершенствования этого искусства он обратится

к «скинхедам», бритоголовым, у которых это дело поставлено с размахом и которые при удобном случае практикуются на нефах, азиатах и кавказцах.

Вот это и есть оборотная сторона свободы слова, свободы информации, свободы для личности выражать себя. Разумеется, это далеко не только наша российская проблема. В Соединенных Штатах я видел множество книг и статей, авторы которых выражали серьезнейшую озабоченность пагубным влиянием на молодежь средств массовой информации, непрерывно демонстрирующих сцены насилия и всевозможных безобразий. Эта тема непрерывно и горячо дебатруется в Америке, и вполне логично, что вопрос ставится шире: как предотвратить такое толкование — или извращение — принципа свободы и прав личности, при котором начинает господствовать полная вседозволенность, разрешается любая степень разнузданности, любые моральные установки и запреты объявляются условными, рушатся все табу? Что ожидает человечество, если эту пагубную тенденцию не пресечь, пока не поздно? И — с другой стороны — каким образом ее пресечь, не скатываясь при этом к тоталитарной системе запретов и обязательных норм, устанавливаемых государством? Как пройти между Сциллой и Харибдой, избежать двух крайностей, которые предстают перед обществом в виде либо моральной анархии и вседозволенности под флагом свободы личности, либо строжайшего государственного «контроля нравов», нашедшего в наши дни свое законченное выражение в практике афганских талибов или иранских «стражей исламской революции»?

Насколько мне известно, никто еще не смог дать удовлетворительного ответа на этот вопрос, возможно, один

из важнейших, стоящих сейчас перед человечеством. У нас в России, ввиду особенностей нашей природы, склонной к максимализму, характера общества, вечно качающегося между пассивностью, холопством и сервизмом, — с одной стороны, и озорством, лихостью, буйством — с другой, эта проблема стоит острее, чем где-либо. Уже стало трюизмом отмечать различие между словами «свобода» и «воля», между пониманием необходимости ограничить свободу законом и моралью и проповедью отбрасывания всего, что сковывает и стесняет свободу личности. Русское слово «воля», не имеющее, по-видимому, аналогов в других языках, характерно именно для России, где свободы в западном смысле слова никогда не было, где личность всегда была подавлена и унижена всевластным государством и поэтому, получив шанс вырваться из-под его гнета, не признавала никаких ограничений — «гуляй и веселись, душа». Георгий Федотов, считавший, что «весь процесс исторического развития на Руси стал обратным западноевропейскому: это было развитие от свободы к рабству», писал: «Воля есть прежде всего возможность жить по своей воле, не стесняясь никакими социальными узам... Воля торжествует или в уходе от общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми. Свобода личная немислима без уважения к чужой свободе; воля всегда для себя. Она не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо. Разбойник — это идеал московской воли, как Грозный — идеал царя».

Вряд ли где-нибудь еще есть столь амбивалентное отношение к государству, как в России. С одной стороны, все уповают на государство, оно должно всех обеспечить,

накормить; государство — это нечто сакральное, ему можно все простить. Помню из молодости, как люди ворчали и злобствовали по поводу того, что вот, мол, разные артисты и писатели какие дачи себе понастроили, в каких машинах катаются; о дачах и машинах министров никто и не говорил, им это было «положено». С другой стороны, отнюдь не зазорно на каждом шагу обманывать и обкрадывать это государство, нарушать установленные им законы и нормы. Могут осудить человека, укравшего у соседа, но не у государства.

Когда иностранцы удивляются, почему в Москве люди сплошь и рядом перебегают поверху улицу, полную мчащихся автомобилей, рядом с подземным переходом, мне так и хочется сказать: это не только от обычного человеческого нетерпения (в Нью-Йорке пешеходы тоже идут на красный свет); здесь проявляется и нарочитое пренебрежение к правилам, установленным государством. Я несколько раз пробовал увещевать людей, переходящих Ленинский проспект в неполюженном месте; притормозив, я кричал из окна машины: «Здесь же нет перехода!» Чаше всего меня, естественно, «посылали» обычным русским языком, а если и нет, то просто смотрели с недоумением: что значит «нет перехода»? Я иду — и все, значит, переход для меня есть. Подсознательно это означает: это «они» так установили, что здесь нет перехода, они, власти, а я плевать на них хотел. Вот это и есть «воля», пусть и в ничтожном масштабе. Как хочу, так и делаю, если милиция не видит. Другой пример — обилие на улицах милиционеров ГИБДД, прежних «гаишников»; нигде в мире я этого не видел, везде лишь светофоры и патрульные машины. А ведь у нас это необходимо, иначе

наши водители будут выкидывать такие «номера», что вообще ездить будет страшно. Только сознание того, что на каждом шагу тебя контролируют и в любой момент могут отобрать «права», предотвращает повальное автомобильное хулиганство. А у пешехода «прав» нет, у него ничего не отберешь, вот он и плюет на правила движения. Я говорю о мелких вроде бы вещах, но в этом проявляется нечто вполне серьезное: отсутствие уважения к «общему», к государству — именно потому, что эти два понятия всегда были в России разделены: общее не тождественно государственному. Государство — чужая и враждебная сила. Нет сознания общей ответственности за нечто целое, называй это страной или государством, нет понимания того, что в принципе все граждане в ответе за все, все должны — в своих же интересах! — соблюдать порядок.

Так было и при Советской власти — отсутствие уважения к государству, общественного интереса, гражданской ответственности. Сейчас в этом отношении стало, пожалуй, еще хуже. В постсоветский период происходит некая «приватизация» общества. Как бы в виде реакции на тотальную коллективность советского периода с его приматом идеологии, доминированием государства, пропагандой «общих интересов», стоящих выше частных, люди ушли в частную жизнь. В своих попытках создать невиданное в истории общество-коллектив, подчинить личные интересы единому целому, Советская власть потерпела полное фиаско, породив лишь невероятную атомизацию общества, эгоизм и «приватизированный», антиобщественный менталитет. Общественный долг так и остается пустым понятием.

В этих условиях, повторю опять, мне кажется, что наша тотальная свобода слова, допускающая экстремистскую, шовинистическую пропаганду, до добра не доведет. Понимаю, что это — обратная сторона (почти, видимо, неизбежная) того великого блага, которое мы получили после краха Советской власти, — свободы, то есть вообще свободы в самом широком смысле слова. Давно было сказано, что наши достоинства суть продолжение наших недостатков (и наоборот); это относится не только к отдельным людям, но и к обществу и его институтам. Беда в том, что в человеке столько всего намешано, и хорошего и плохого, что любое благо в определенных условиях обращается в зло. Это касается и свободы, которая может стать избыточной и вредной. Гавел был прав, говоря о том, что принесла свобода людям, знавшим только рабство. И все же, при всех этих сомнениях и оговорках, я безусловно обеими руками готов голосовать за ту свободу слова, печати, передвижения, включая выезд за границу, и все прочее, что мы получили. Главной заслугой Ельцина я считаю то, что он, при всех его недостатках, ни разу не покушался на гражданские свободы, терпеливо сносил критику, избежал соблазна — так естественного для бывшего секретаря обкома — «зажать» средства информации.

В первую очередь именно поэтому, когда в 96-м году, накануне президентских выборов в России, я прочел в «Нью-Йорк тайме» статью Андерса Ослунда «Почти любой будет лучше Ельцина», я немедленно ответил письмом, которое было опубликовано в этой газете 19 февраля 1996 года. Оно было озаглавлено «Лучше Ельцин в России, чем кто-либо другой». Считаю, что поступил

правильно — ведь выбор-то был практически между Ельциным и Зюгановым. В этом письме я заметил: «Мне трудно поверить, что режим Ельцина, при всех его недостатках, задавит политическую оппозицию, заглушит голос критики, введет цензуру или восстановит ГУЛАГ. Не могу быть уверен, что коммунисты не сделают всего этого, если они придут к власти». Последующие события подтвердили этот прогноз в том, что касается политики Ельцина. Могут сказать: а что, собственно, страшного произошло бы, если бы победил Зюганов? Советская власть все равно бы уже не вернулась. Это верно — никому уже не под силу возродить рухнувшую систему. Нельзя было бы ни восстановить всевластие обкомов и горкомов партии, ни вернуть госплановскую модель управления народным хозяйством, национализировать перешедшие в частные руки отрасли экономики, запретить частный бизнес, ни запретить поездки миллионов граждан за границу. Это уже необратимо. Но вот что вполне можно было бы сделать — это постепенно, шаг за шагом, душиить и в конце концов задавить свободу печати и других средств массовой информации, покончить со всякой серьезной политической оппозицией даже при формальном сохранении многопартийной парламентской системы. Органическая, вошедшая в плоть и кровь нетерпимость коммунистов, их тоталитарная ментальность, неспособность вести равноправный открытый диалог с критиками их теории и практики — все это неминуемо побудило бы их попытаться заткнуть рот всем реальным и потенциальным политическим противникам. Более того, такой «зажим» был бы для них просто необходим, поскольку никакого подъема или даже оздоровления экономики при

власти коммунистов ожидать было нельзя, и они вскоре столкнулись бы с массовым недовольством населения; крупный бизнес, большие деньги вообще бежали бы из страны, и та коррумпированная, но все же достаточно устойчивая и жизнеспособная система, которая за несколько лет успела сложиться, была бы подорвана. Наступил бы период всеобщей нестабильности, неуверенности, неопределенности; у коммунистов нет ни серьезной экономической программы, ни квалифицированных кадров, способных развивать экономику современного типа. И на фоне общего разочарования населения оппозиция с самых различных сторон не преминула бы начать атаки на новую власть, а как коммунисты могут разговаривать с оппозицией, хорошо известно. И личные качества Зюганова, который меньше всего напоминает Сталина, не имели бы значения по сравнению с характером, навыками, повадками и неистребимым антидемократическим духом Коммунистической партии.

Поэтому не подлежит сомнению, что никакого улучшения в экономике не было бы, а в политике наступил бы явный регресс, реакция стала бы наступать на всех фронтах. Главное завоевание нескольких постсоветских лет — политическая свобода — была бы серьезно ущемлена, если не подавлена вообще. По сравнению с такой перспективой победа Ельцина, при всех ее неизбежных минусах, все же выглядела предпочтительней.

К моему глубокому сожалению, вернувшись в Москву после нескольких лет, в течение которых я делил свое время между Россией и Америкой, я обнаружил, что оказался в меньшинстве среди моих коллег. Очень многие оказались заражены антиельцинским вирусом; было бы



преувеличением утверждать, что наша интеллигенция «покраснела» и качнулась обратно в сторону Советской власти, но все же получилось так, что темные стороны прошлого забылись, отошли в тень, заслоненные бесспорными пороками существующего режима. Этому способствовало, конечно, и резкое ухудшение материального положения, уровня жизни российских интеллектуалов, поистине плачевное состояние нашей науки. Я все это вижу и понимаю, но замечаю также, что образованная часть нашего общества возвращается к тому, что один автор назвал традиционным российским властененавистничеством. Это относится, разумеется, далеко не ко всем ее представителям: немало «деятелей науки и культуры», людей искусства ударились, в типично русской манере, в другую крайность, в сторону просто-таки неприличного сервилизма, подхалимства по отношению к власти. Повторяется то, что бывало не раз в нашей стране. Ввиду отсутствия здорового, трезвого, спокойного и умеренного подхода к вещам маятник общественных настроений бешено мечется между бесплодным нигилизмом, неверием в то, что от власти вообще можно ждать чего-либо позитивного, и бесстыдным угодничеством перед «сильными мира сего». А «золотой середины», конструктивного либерально-консервативного подхода как не было, так и нет. Что поделать — в этом смысле Россия действительно не Запад. И из констатации этого неоспоримого факта часть моих знакомых сделала печальный, как мне кажется, вывод: она сдвинулась в сторону «державности», русского национализма. Опять тот же старый комплекс подозрительности, недоверия к Западу, выпячивание наших реальных и мнимых преимуществ перед ним,

национальная спесь, смехотворные по нынешним временам великодержавные амбиции.

Больное общество — да и как же ему не быть больным? В Америке, когда мои собеседники удивлялись — «почему страна с такой великой культурой, с таким талантливym населением, с такими исполинскими ресурсами находится в столь незавидном состоянии?» — я отвечал: «Не забывают семьдесят с лишним лет Советской власти. Если вас в трехлетнем возрасте посадить в психушку и выпустить лет через тридцать — будете вы нормальным человеком?» Удивляться можно только другому: как наш народ смог пережить фактически три геноцида на протяжении одного столетия — Гражданская война, сталинский террор и Отечественная война, — потерять почти весь генетический «золотой фонд» и все же сохранить пусть небольшое, но здоровое, крепкое и талантливое ядро. Убежден, что никакой другой народ, кроме русского, этого не пережил бы без полной деградации. А такое ядро есть — я это вижу и чувствую. Поэтому я могу считать себя в каком-то смысле оптимистом: я не верю в распад России, в гражданскую войну, военный переворот или фашистскую диктатуру. Интуиция подсказывает мне, что будет, скорее всего, нечто иное — тягучее, ползучее, длительное и мучительное выкарабкивание из теперешнего состояния, болезненное существование в условиях весьма авторитарного, хотя и не тоталитарного режима. Потребуется поколение, чтобы преодолеть нашу тяжелую болезнь, вытравить микроб, возникший на нашей же почве, а отнюдь не принесенный откуда-то извне, изжить наследие двойного зла — и того, старого, исконно российского, досоветского, и того, которое принесла

нам большевистская революция. Пока что это наследие тяготеет над нами, как будто бы дьявол никак не хочет выпустить Россию из своих когтей. Власть Коммунистической партии кончилась (как сказал незадолго до этого Солженицын, «часы коммунизма свое отбили»), но советская система еще живет — не в общественном устройстве, а в людях, в их умах, их душах.

Я рад, что родился и прожил жизнь в России, и не променял бы эту страну ни на какую другую. У меня была возможность «переместиться» в Америку, но я ею не воспользовался и не сожалею об этом. Помимо того что Россия — родная страна, здесь я вырос и сформировался, из всей литературы я больше всего люблю русскую, это страна моей культуры — важно еще и другое: здесь интереснее жить, чем где бы то ни было (для меня, по крайней мере). В Америке, разворачивая по утрам «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост», я ловил себя на том, что неизменно, совершенно произвольно, глаза ищут в первую очередь материал о России. И не только потому, что происходящее у нас, по моему убеждению, более важно, чем то, что делается в остальном мире, может иметь более серьезные последствия, но и потому, что это — свое, близкое, знакомое, прямое продолжение всего того, из чего состояла моя жизнь.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

**Я** перечитал написанное и вижу, что книга получилась довольно сумбурная, неровная, разностильная. Во-первых, это, видимо, потому, что, как говорится, стиль — это человек. Во-вторых, потому, что, как я уже упоминал, я не собирался писать автобиографию, излагать ход моей жизни как таковой. Я хотел — на фоне событий, связанных с моей личной судьбой, — какими-то штрихами нарисовать картину жизни в тех эпохах, в которых мне довелось жить: сталинской, постсталинской и постсоветской. Картину, разумеется, далекую от полноты, лишь отрывочно и выборочно отображающую характерные черты каждой из этих эпох. Я не претендую на обобщения, на исторический и социологический анализ.

Кто-то наверняка сочтет, что в этой книге слишком много отступлений в разные стороны, чересчур пространственных рассуждений. Так и есть, но дело в том, что по мере того как я писал, в голову приходили, в связи с теми или иными событиями, разные размышления, хотелось найти этим событиям какие-то объяснения, поделиться мыслями по поводу узловых моментов нашей недавней истории.

Мое отношение к Советской власти совершенно ясно с первых же страниц. Я убежден, что Октябрьская революция была одной из самых страшных катастроф, пережитых человечеством в двадцатом веке, сравнимой с приходом к власти нацистов в Германии. Почти все беды нашего народа, большие и малые, свидетелем которых я был или о которых слышал, узнал от очевидцев либо из недавних публикаций, явились следствием, прямым или

косвенным, захвата власти большевиками в 1917 году. Вместе с тем я отдаю себе отчет в том, что большевизм не свалился с неба и не был импортирован в Россию, а вырос на почве, подготовленной для него всем предшествующим развитием российского общества. Можно ли было этого избежать — об этом остается только гадать.

Я также не собираюсь отрицать, что вижу будущее нашей страны не в конфронтации с Западом, опирающейся на чуждые мне лжепатриотические, мессианские, великодержавные представления о роли России в мире, о ее уникальной исторической миссии. Я никогда не соглашусь с теми, кто проповедует, что русские — совершенно особый народ, для которого закономерности мирового развития, проверенный веками опыт других народов — не указ. Без зарплаты сидеть будем, с голоду помирать, резать и стрелять друг друга каждый день — зато не погрязнем в мещанском болоте, отвергнем не подходящие нашему духу ценности западной демократии, будем гордиться нашей несравненной духовностью, соборностью, коллективизмом, отправимся искать очередную мировую идею. Убежден, что это — путь в никуда. В этом смысле я могу считаться западником, хотя никакой антипатии к Востоку во мне нет и я даже по своему образованию — востоковед.

Я верю в будущее России. Для ее возрождения после тяжелой болезни необходимо пересмотреть и преодолеть многое, очень многое, безбоязненно признать наши слабости и пороки. Если моя книга хоть в какой-то степени сможет побудить читателя поразмышлять на тему о судьбе России и о болевых точках ее общественного организма, я буду считать, что написал ее не напрасно.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора.....	3
Московская коммуналка.....	5
Песни тридцатых годов.....	7
Почему Орджоникидзе не выстрелил сначала в Сталина.....	13
Я выигрываю пари у собственного отца.....	19
Началась война.....	23
Большая московская паника.....	30
Лютая зима. Начало трудовой жизни.....	35
Под землей.....	47
За рулем грузовика.....	55
«Гитлер и Сталин — два обличья одного зла».....	72
Комсомольский вожак.....	82
Джаз, космополиты, «дело врачей».....	89
Смерть Сталина.....	100
«Сталин — наша слава боевая».....	106
Сталинские люди.....	124
Москва тех времен.....	137
Я становлюсь журналистом.....	149
«Все его глупости носят политический характер».....	158
Меня вербуют в КГБ.....	162
ЦК КПСС.....	174
Падение Хрущева.....	185
С лекторской трибуны.....	192

Прага, 1968.....	204
Сталинисты в Грузии — и не только там.....	210
Обуржуазивание советского общества.....	215
Андропов раскрывает подпольную организацию.....	228
Гласность погубила Советскую власть.....	233
Лубянка дает добро.....	243
Осада Белого дома.....	246
Я — русский профессор в Америке.....	257
«Штурм парламента».....	278
Русский национализм и российский патриотизм.....	288
Ирландцы и британцы, украинцы и казахи.....	301
Россия ельцинская.....	320
Все та же Россия?.....	334
Послесловие.....	364

Георгий Ильич Мирский  
Жизнь в трех эпохах

Корректор С. И. Зубкова  
Верстка А. Ю. Зубков  
Оформление обложки М. Verte

Подписано к печати 31.01.2001 г. Формат  
70x100/32. Бумага офсетная №1. Печать  
офсетная. Гарнитура «Петербург». Усл. печ.  
л. 14,95. Уч.-изд. л. 14,2. Тираж 1000 экз.  
Заказ № 992

ЗАО ИТД «Летний сад»  
121069, Москва, ул. Большая Никитская, 46  
Изд. лицензия ИД 03439 от 5.12.2000 г.

Отпечатано в ПФ «Полиграфист»  
160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3

9 785943 810145